



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические записи.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические записи.
Не отправляйте в систему Google автоматические записи любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>





STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES





РАЗСКАЗЫ

АНДРЕЯ ПЕЧЕРСКАГО

(П. И. МЕЛЬНИКОВА)

Издание второе



ИЗДАНИЕ КНИГОПРОТАВЦА-ФИНОГРАФА М. О. ВОЛЬФА

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

МОСКВА.

Большая Морская, № 17. — Печать в М. — Мещинская, № 5.

1882

БИБЛИОТЕКА
ИЗДАТЕЛЬСТВА
СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА

РАЗСКАЗЫ
АНДРЕЯ ПЕЧЕРСКОГО.

Дек. 1882

РАЗСКАЗЫ

АНДРЕЯ ПЕЧЕРСКАГО

(П. И. МЕЛЬНИКОВА)

Издание второе



ИЗДАНИЕ КНИГОПРОДАВЦА-ТИПОГРАФА М. О. ВОЛЬФА

С.-ПЕТЕРБУРГЪ,

МОСКВА,

Гостинный дворъ. №№ 17 и 18

Петровка, домъ Михалкова

1882

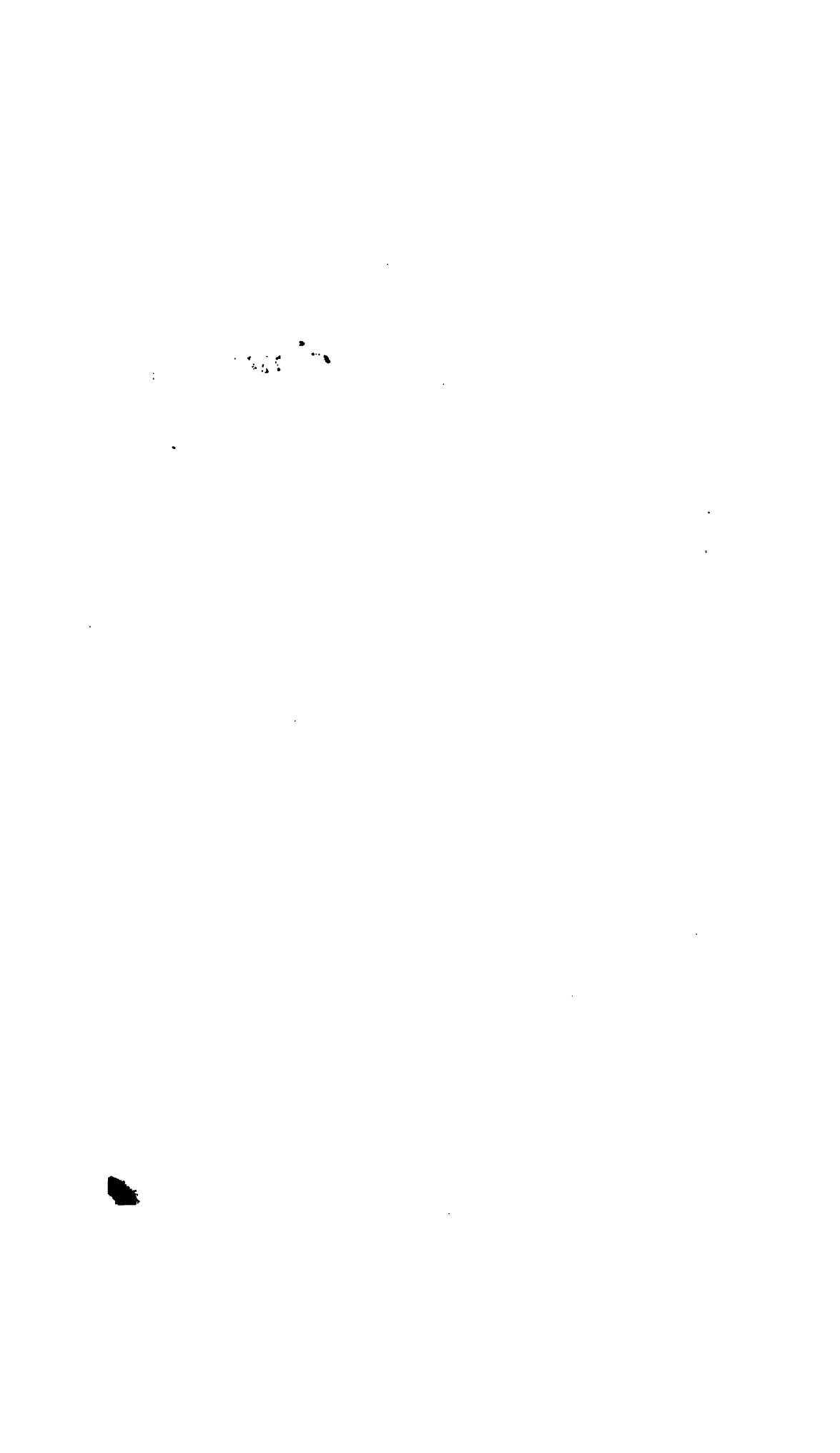
PG3337 .
M45 A15

ОГЛАВЛЕНІЕ.

	<i>стр.</i>
Старые годы	1
Бабушкины розсказни	118
Красильниковы	173
Полужовъ	203
Гриша	239
Дѣдушка Поликарпъ	293
Медвѣжій уголъ	313
Непремѣнный	337
Именинный пирогъ	361
На станціи	385
Въ Чудовѣ	397



СТАРЫЕ ГОДЫ.



БИБЛИОТЕКА
41 ФЕВРАЛЬСКАГО
СТРЕЛКОВАГО ПОЛКА

СТАРЫЕ ГОДЫ.

Довелось мнѣ разъ побывать въ большомъ селѣ Заборьѣ. Стоитъ оно на Волгѣ. Мѣсто тутъ привольное.

Это гнѣздо угасшаго рода князей Заборовскихъ. Теперь оно принадлежитъ разбогатѣвшему откупщику Кирдяпину, родитель же его нѣкогда былъ подносчикомъ въ Разгуляѣ. А Разгуляй — любимѣйшій народомъ кабаекъ въ селѣ Заборьѣ. Стоитъ онъ между пристанью и базаромъ: мѣсто веселое, бойкое.

Мѣстность въ Заборьѣ живописна. Крутой, высокій берегъ Волги тутъ перемежается, образуя обширную, покатую въ рѣкѣ лощину, въ ней построено Заборье. Тамъ до десятка златоглавыхъ церквей, сорокъ либо пятьдесятъ двухъ-этажныхъ каменныхъ домовъ, больше тысячи деревянныхъ городской постройки, обширный господинный дворъ; нѣсколько фабрикъ и заводовъ: всюду кипучая дѣятельность. По волжскому берегу тянется длинный рядъ амбаровъ для складки хлѣба и другихъ товаровъ, у пристани стоитъ не одна сотня барокъ, расшивъ, ладей, паусковъ и другихъ разной величины парусныхъ судовъ. Поодаль, у особой пристани, устроенной въ Кривоборскомъ затонѣ, дымятся пароходы. Въ сторонѣ мель, на ней обсохшая коноводка.

И справа, и слѣва тѣсно застроеннаго и шумно оживленнаго Заборья великанами высятся крутыя горы изъ краснаго мергеля. На одной красуются величественные храмы XVII вѣка, украшенные снаружи стѣнописью, увѣнчанные золотыми шатрами и куполами. Вмѣстѣ съ громадными двухэтажными зданіями, они обнесены зубчатыми бѣлокаменными стѣнами, высокими башнями и бойницами. Ни казанскіе татары, ни Лисовичи, ни сообщники Разина не могли взять тѣхъ твердынь, хоть не разъ пытались овладѣть Заборскимъ монастыремъ, зная о сокровищахъ, въ немъ сохранявшихся. Теперь не то, теперь здѣсь тихое и безмятежное пристанище немногихъ иноковъ, просторно размѣстившихся по уголкамъ громадныхъ келій, гдѣ въ старые годы тѣсно было жить многочисленной братіи и толпамъ слугъ и служебниковъ Заборской обители.

По другую сторону Заборья высятся на горѣ палаты князей Заборовскихъ. Величественный дворецъ, строенный въ прошломъ столѣтіи по плану Растрелли, окруженный полуразвалившимися флигелями и службами, господствуя надъ Волгой и Заборьемъ, угрюмо смотритъ на новую, развившуюся подъ его ногами дѣятельность. Запустѣлый, обветшалый, точно переглядывается онъ съ древними зданіями монастырскими... Ведутъ межъ собой каменные старцы беззвучную бесѣду о суетѣ мірской, что внизу гуломъ тысячи голосовъ и звуковъ даетъ знать о себѣ, о привольѣ мѣста, и о довольствѣ народа. Ведутъ угрюмые старцы бесѣду, а сами будто сокрушаются, что минули старые годы, когда на верху было людно и шумно, а внизу говорить громко не смѣли...

Исправникъ предложилъ мнѣ показать заборскій дво-

рець но не скоро добился ключей. Трое дворовыхъ, представленныхъ для охраненія гнѣзда угасшихъ князей Заборовскихъ, рассчитавъ, что влонамѣренные люди не украдутъ вѣреннаго имъ зданія, отправились на пристань шить кули, чтобъ, заработавъ по пятиалтынному на брата, провести веселый вечерокъ въ Разгуляѣ.

Покамѣсть сотскій ихъ отыскивалъ, мы пошли въ садъ. Садъ огромный, версты на полторы тянется онъ по вѣнцу горы, а по утесамъ спускается до самой Волги. Прямая аллея, обсаженная вѣковыми липами, не пропускающими свѣта Божьяго, походили на какіе-то подземные переходы. Мѣстами, гдѣ стволы деревьевъ и молодыхъ побѣговъ срослись въ сплошную почти массу, чуть не ощупью надо было пробираться по сырмъ грудамъ обвалившейся суши и листьевъ, которыхъ лѣтъ восемьдесятъ не убирали въ запущенномъ саду.

Кой-гдѣ уцѣлѣли каменные постаменты, на нихъ въ старые годы стояли статуи. Извѣстный богачъ пропешаго вѣка, князь Алексѣй Юрьичъ, скупилъ много статуй заграницей и поставилъ ихъ въ своемъ Заборѣ. Куда послѣ дѣвались онѣ, Богъ знаетъ.... Вотъ на одномъ постаментѣ уцѣлѣли буквы *Iov... omnipoten...* На другомъ ясна надпись *Venus et Adonis*.

Повернувъ изъ главной аллеи въ сторону, очутились мы передъ глубокимъ оврагомъ, что, простираясь до самаго волжскаго берега, раздѣляетъ садъ на двѣ части. Смѣлой аркой перекинута была черезъ тотъ оврагъ каменный мостъ, на днѣ шумѣлъ родникъ, скрывавшійся въ сочной густой зелени. За мостомъ каменный павильонъ — это *Parc aux cerfs* Заборья старыхъ годовъ... Давно свалились его двери, давно вышибены изъ оконъ его рамы, вѣтеръ да зимнія вьюги свободно гуляютъ по комнатамъ, гдѣ чего-то не бывало въ старые годы!... Въ

одной комнатѣ уцѣлѣли фрески, и какія фрески! — Не дюженый маляръ ихъ работалъ. Вотъ Венера въ объятіяхъ Марса—хорошо сохранились свѣжія, роскошныя перси и руки богини красоты, досадная улыбка безобразнаго Вулкана до сихъ поръ мерещится мнѣ, только что вспомню павильонъ заборскій... На другой стѣнѣ нагая Леда страстно прижимаетъ лебедя, на третьей свѣженькая нимфа лѣниво отталкиваетъ обхватившаго ее сатира, а на четвертой сладострастно раскинулась юная вакханка и ея

Налитыя нѣгой груди
Чуть прикрытыя плющомъ,
И бѣлые слѣга зубы,
И пурпуровыя губы —
Манять поцѣлуй...

Плафонъ осѣпался, но по сохранившимся остаткамъ замѣтно, что онъ изображалъ торжество Пріапа... Сколько бѣлобрысыхъ Агулекъ и чернявыхъ Матрешекъ перебывало здѣсь въ качествѣ живыхъ нимфъ и вакханокъ.

— Вонъ тамъ былъ другой такой же павильонъ, сказалъ исправникъ, указывая на груду кирпичныхъ осколковъ, выглядывавшихъ изъ лопушника, полыни и чернобыли.

— Развалился?

— Нарочно сломали.

— Зачѣмъ?

— Да видите ли что здѣсь болтаютъ: князь Данило Борисовичъ, годовъ тридцать тому назадъ, пріѣзжалъ въ Заборье, и въ томъ павильонѣ находку, слышь, какую-то нашель, да послѣ того и приказалъ его сломать.

— Что жъ онъ нашель?

— Да болтаетъ народъ... оно можетъ и вздоръ, а все-таки намолвка идетъ, будто въ томъ павильонѣ одна

комната изстари была заложена, да такъ, что и признать ее было не возможно. А князь Данило Борисовичъ, тайно ото всѣхъ, своими руками вскрылъ ее.

— Ну?

— Вѣдь это одна намолвка, Андрей Петровичъ, а правда ли, нѣтъ ли, Господь вѣдаетъ. Кладъ что ли какой-то тамъ нашли, только на стѣнѣ, слышь, гвоздемъ было что-то нацарапано. Какъ только князь Данило Борисовичъ прочиталъ, тотчасъ стѣну своими руками топоромъ зарубилъ, а потомъ и весь павильонъ сломать приказалъ.

— Что жъ такое тамъ было?

— Чего здѣсь въ стары годы не бывало?... Да вы изволили, конечно, читать «Удольфскія тайнства» госпожи Раделифъ?

— Читалъ. А что?

— У насъ по уѣзду старики помѣщики говорятъ, будто госпожа Раделифъ тѣ тайнства съ Заборья списывала. Правду ли, пустяки ль говорятъ, доложить не могу... А болтаютъ.

— Скажите, пожалуйста, не осталось ли стариковъ, что жили въ Заборѣ при князѣ Алексѣѣ Юрьичѣ?

— Гдѣ же? Помилюйте! Вѣдь князь-отъ Алексѣй Юрьичъ лѣтъ сто тому какъ померъ. За пятнадцать лѣтъ до Пугачевщины скончался, считайте сколько тому времени. Сынъ его, князь Борисъ Алексѣичъ, и внукъ, князь Данило Борисовичъ, по долгу здѣсь не живали, а княжна Наталья Даниловна и вовсе здѣсь не бывала. Послѣ нея имѣніе за долги продано, теперь стало Кирдяпинское. Старина и забылась. А долго такъ кое-что поддерживалось.... Вотъ и я еще помню царню здѣсь, музыкантовъ, арапа стараго, да карлика — древній-на-древній былъ. Мало-по-малу переводили все, а какъ вот-

рала розою. Но лицо, все лицо было густо замазано черною краской...

— Это что значитъ? спросилъ я у исправника.

— А Господь ихъ знаетъ, должно-быть не похожа была.

— Однакожь, что у васъ про это толкуютъ?

— Да говорить-то много говорятъ... Сказываютъ, что это первая супруга князя Бориса Алексѣевича. Въ замужствѣ, слышь, не долго находилась, а взята была откуда-то издалѣка. Только-что молодые успѣли, слышь, съехать отцу пріѣхать, князь Борисъ Алексѣевичъ на войну ушелъ, супруга его тосковала, въ полѣ къ нему поѣхала, да на дорогѣ и померла. А скоро послѣ того и самъ князь Алексѣй Юрьичъ померъ. Говорятъ, будто по смерти молодой княгини очень онъ тосковалъ... Пошелъ, слышь, разъ въ портретную одинъ, да и упалъ безъ памяти передъ этимъ портретомъ. А какъ въ чувство пришелъ, велѣлъ замазать лицо. И какъ замазали, на другой же день Богу душу отдалъ. А другіе говорятъ, что хлебнулъ чего то... Съ мышьячкомъ, должно-быть, потому что передъ смертью онъ вѣдь подъ судъ попалъ...

Въ кабинетѣ на стѣнѣ висѣла писанная на пергаментѣ родословная. Похвально поступили господа Кирдяпины, оставивъ чуждый имъ пергаментъ въ запустѣломъ жилищѣ князей Заборовскихъ. Будто живой повѣствователь объ угасшемъ родѣ, онъ здѣсь на своемъ мѣстѣ.

Вотъ у корня родословнаго древа красуются имена Гедмина литовскаго, Монтевида керновскаго, Любарта волынскаго... Вотъ князь Минигайло Зимовитовичъ... Пріѣхалъ онъ въ Москву на службу къ великому князю Василю Дмитріевичу, крещенъ самимъ митрополитомъ Фотіемъ и прозванъ княземъ Заборовскимъ. И пошелъ отъ него рядъ бояръ, воеводъ и думныхъ людей: водили

Заборовскіе московскіе полки на Крымцевъ и другихъ супостатовъ; бывали Заборовскіе въ отвѣтъ ¹⁾ у цесаря римскаго, у короля свѣйскаго, у польскихъ пановъ рады и у Галанскихъ статовъ; сиживали Заборовскіе въ приказахъ московскихъ, бывали Заборовскіе и въ городскихъ воеводахъ, но только въ городахъ первой статьи: въ Великомъ Новѣгородѣ, въ Казани или въ Смоленскѣ... А вотъ сынъ окольничаго, князь Юрій князь Никитичъ Заборовскій, уже бритый, сидитъ оберъ-штеръ-кригсъ-коммиссаромъ въ кригсъ-коммиссаріатской конторѣ военной колегіи... Скончался въ Питербурхѣ-городеѣ послѣ попойки съ голландскими матросами и знатными персонами изъ російскаго пляхетства...

Единственный его сынъ, князь Алексѣй Юрьичъ, большой службы не сослужилъ, а *въ случаѣ* бывалъ. При Петрѣ Великомъ ходу ему не было, потому что въ дѣло не годился, за то ловкій князь послѣ умѣлъ на-верстать и взять свое: въ время подбился къ Мѣншикову, въ время вошелъ въ дружбу съ молодымъ Долгоруковымъ, въ время съѣздили въ Митаву на поклоненіе Бирону, въ время перекинулся къ Миниху, въ время сблизился съ Лестокомъ. И когда правительственныя перемѣны сопровождались казнями и ссылками, благополучіе князя Алексѣя Юрьича оставалось неизмѣннымъ: чины и деревни лѣтѣли къ нему при каждой перемѣнѣ.

Нельзя сказать, чтобы онъ былъ человѣкъ умный: образованіе получилъ плохое, а отъ природы былъ коваренъ, тщеславенъ, въ тому же былъ великій мастеръ лгать и хвастать непомѣрно. При Петрѣ Великомъ приходилось ему сдерживать свой неукротимый нравъ, въ то время могъ онъ давать полную волю одной только стра-

¹⁾ Въ послѣхъ.

ти — бражничанью. Много тогда было важныхъ людей, сбрившихъ бороды, надѣвшихъ нѣмецкіе кафтаны, но оставшихся вѣрными той сторонѣ русской народности, про которую еще равноапостольный Владиміръ сказалъ: *Руси есть веселіе пити*. Но напиваясь, подъ защитой вельможныхъ бражниковъ, князь Алексѣй Юрьичъ велъ себя такъ увертливо, что ни разу не отвѣдалъ родительскаго наставленія отъ петровской дубинки. Не понимая и не сознавая важности дѣла сближенія русскаго общества съ Европой, Заборовскій полюбилъ одноао общество иностранцевъ, въ особенности близокъ былъ съ вѣнскимъ резидентомъ Гогенцоллерномъ, съ голштинскимъ барономъ Стамбкеномъ, съ прусскими баронами Мардефельдами, а они, какъ гласитъ исторія, были горькіе пьяницы ¹⁾.

Никогда князь Алексѣй Юрьичъ не былъ такъ доволенъ судьбой, какъ въ короткое царствованье Петра II. Хотя въ то время было ему ужъ подъ сорокъ, но вошелъ онъ въ тѣсную дружбу съ даровитымъ, обаятельнымъ, но безпутнымъ юношей, княземъ Иваномъ Алексѣичемъ Долгоруковымъ, и былъ съ нимъ всѣ три года его могущества неразлученъ. Князь Заборовскій подъ защитой все-сильнаго кутилы, далъ полную волю своему разгулу. Подъ прикрытиемъ драгунъ, ровно сумасшедшій, скакалъ онъ съ княземъ Иваномъ по московскимъ улицамъ, буйствовалъ днемъ, а по ночамъ нагло врывается въ мирныя семейства честныхъ людей.... Но когда Долгоруковъ девятилѣтней ссылкой и смертью на колесѣ платилъ за грѣхи молодости, ловкій князь Алексѣй Юрьичъ, ругая на чемъ свѣтъ стоитъ павшаго собутыльника, съ прекраснымъ аппетитомъ изволилъ кушать за роскошными обѣдами гер-

¹⁾ Записка Дюка де нріа.

цога Эрнста-Іоанна Курляндскаго. Будучи знатомъ въ лошадяхъ и проводя ночи въ попойкахъ съ братомъ герцога, Карломъ, былъ онъ въ ходу при Биронѣ, достигъ генеральскаго ранга и получилъ кавалерію Александра Невскаго... Но въ 1743 году счастье повернуло къ нему спину: сказано было князю Алексѣю Юрьичу ѣхать въ свои деревни. Такую немилость современники объясняли близкими отношеніями его къ царицѣ всѣхъ баловъ и ассамблей, графинѣ Ягужинской и къ дружбѣ съ первою красавицей Петербурга, Натальей Ѳеодоровной Лопухиной. Подъ шумокъ поговаривали, будто Ягужинская въ числѣ немногихъ принимала князя Заборовскаго во время своего таинственнаго затворничества, будто фавориту Натальи Ѳеодоровны, графу Рейнгольду Левенвольду, князь Алексѣй Юрьичъ проигрывалъ въ фѣро огромныя суммы, будто близокъ онъ былъ съ вѣнскимъ резидентомъ, маркизомъ Боттой, будто разъ на охотѣ арапникомъ отдулъ самаго Разумовскаго. Правда ли, нѣтъ ли — кто теперь разберетъ?...

Когда вѣтранныхъ красавицъ, пріятельницъ князя Заборовскаго, постигла плачевная участь, самъ онъ хоть не совсѣмъ чистъ вышелъ изъ дѣла, но такъ сумѣлъ обдѣлать дѣлишки, что ему только вѣрно было отправиться въ свои вотчины для приведенія въ порядокъ разстроенныхъ дѣлъ. Такимъ образомъ, живъ, здоровъ, невредимъ пріѣхалъ князь Алексѣй Юрьичъ въ свое Заборье, здѣсь онъ началъ строить великолѣпный дворецъ, разводить сады и вести жизнь самую буйную, самую неузвротимую... Въ деревенской глуши, въ забытомъ уголкѣ, никѣмъ и ничѣмъ не удерживаемый, онъ предался той жизни, чтó такъ по сердцу пришлась ему во дни могущества князя Ивана. Не только въ Заборьѣ, — по всей губерніи все ему кланялось, все передъ нимъ раболѣпствовало, а онъ съ каж-

дымъ днемъ больше и больше предавался неудержимымъ порывамъ необузданнаго вѣра и глубоко-испорченнаго сердца... Вскорѣ для князя не стало иной законности, кромѣ собственныхъ прихотей и самоуправства... При такомъ состояніи человѣка до преступленія одинъ шагъ и князь Алексѣй Юрьичъ совершая ихъ, ни мало не помышлялъ, что грѣшитъ передъ Богомъ и передъ людьми. О послѣднихъ-то впрочемъ онъ не заботился, и щедро одѣлая вкѣадами монастыри, строя по церквамъ иконостасы и платя за молебны пригоршнями серебра, твердо уповалъ на Божіе милосердіе... И до того дошелъ князь Заборовскій, что разсказы про его житье-бытье въ наше время кажутся страшною сказкой....

Женатъ былъ князь Алексѣй Юрьичъ на княжнѣ Марѣѣ Петровнѣ, послѣдней въ родѣ князей Тростенскихъ. Своимъ приданымъ увеличила она и безъ того огромное богатство князей Заборовскихъ. Единственный сынъ ихъ, князь Борисъ Алексѣевичъ, крестникъ императрицы Анны Іоанновны, вахмистръ гвардіи въ колыбели, двадцати лѣтъ уѣхалъ изъ Заборья въ Петербургъ искать счастья. Находясь съ полкомъ въ какомъ-то захолустѣ Россіи, влюбился онъ въ дочь небогатаго дворянина Коростина, женился на ней безъ родительскаго благословенія и, за неимѣніемъ наличныхъ денегъ, пріѣхалъ черезъ годъ послѣ свадьбы въ Заборье, кинуться вмѣстѣ съ женой къ стопамъ оскорбленнаго родителя... Ждали страшной грозы, дѣло кончилось благополучно. Молодая княгиня была такъ прекрасна, такъ была образована, такъ умна, что съ перваго свиданія умѣла растопить каменное сердце суроваго свекра... Вскорѣ началась семилѣтняя война; молодой князь Заборовскій поспѣшилъ подъ знамена Апраксина, оставивъ въ Заборѣ молодую жену. Столковавшись

по мужъ, поѣхала она въ нему въ новопокоренный Мемель, но умерла на дорогѣ....

Послѣ войны, вдовый князь Борисъ Алексѣевичъ поселился въ Петербургѣ, женился въ другой разъ и, проживъ до 1803 года по-барски, скончался отъ несваренія въ желудкѣ, послѣ плотнаго ужина въ одной масонской ложѣ. Цѣлую жизнь, будто по заказу, старался онъ разстроить свое состояніе, но дѣдовскія богатства были такъ велики, что онъ не могъ промотать и половины ихъ, оставивъ все таки три тысячи душъ единственному своему сыну и наслѣднику, князю Данилѣ Борисовичу. Этотъ, послѣдній князь въ древнемъ родѣ князей Заборовскихъ, какъ ни старался поправить грѣхи родительскіе, но не могъ возстановить дѣдовскаго состоянія. Впрочемъ, и самъ онъ протираетъ такіе глаза отцовскимъ денежкамъ исправно. Съ Воронцовскимъ корпусомъ во Франціи былъ денегъ, значить, извелъ не мало; въ мистицизмъ, по тогдашнему обычаю, пустился, въ масонскихъ ложахъ да въ хлыстовскомъ кораблѣ Татариновой малую толику денегъ ухлопалъ; дѣлалъ большія пожертвованія на Россійское Библейское Общество. Душъ восемьсотъ спустилъ понемножку. Дочь его, княжна Наталья Даниловна, какъ только скончался родитель ея, отправилась на теплыя воды, потомъ въ Итацію, и двадцать пять лѣтъ такъ весело изволила проживать подъ небомъ Тасса и Петрарки, съ католическими монахами да съ оперными пѣвцами, что когда привезли изъ Рима въ Заборье засмоленный ящикъ съ останками княжны, въ вотчинной кассѣ было двѣнадцать рублей съ полтиной, а долговъ на милліоны. Близкихъ родственниковъ у княжны не было, изъ дальнихъ не оказалось ни въ одномъ столь нѣжныхъ родственныхъ чувствъ въ повойницѣ, чтобъ воспользоваться Заборьемъ, да встать ужъ принять на себя

и долгишки итальянскіе. Кончилось тѣмъ, что Заборье пошло подъ молотокъ. Сынъ поднощика въ Разгуляѣ сталъ владѣльцемъ гнѣзда знаменитаго рода князей Заборовскихъ, а кредиторы княжны получили по тридцати пяти копѣекъ за рубль...

О, Гедимины и Минигайлы! Какъ-то встрѣтили вы послѣднюю благородную отрасль вашего благоцвѣтущаго корени — княжну Наталью Даниловну?... Князь Алексѣй Юрьичъ! Вы-то батюшка, ваше сіятельство, какъ изволили встрѣтить свою правнучку?... Ну, онъ-то, развѣ пожалѣлъ только, что, встрѣтился съ нею не въ здѣшнемъ свѣтѣ. Здѣсь-то бы онъ расправился,...

Лѣтъ черезъ пять послѣ того, какъ былъ я въ Заборѣ, въ одномъ степномъ городѣ на верховьяхъ Дона, по случаю, досталась мнѣ связка бумагъ, принадлежащихъ какому-то господину Благообразову. Онѣ состояли большею частью изъ черновыхъ просьбъ, сочиненіемъ которыхъ, какъ видно, занимался господинъ Благообразовъ. Но представте, каково было мое удивленіе, когда, разбирая кипу, въ заглавіи одной тетради я прочелъ:

СТАРЫЕ ГОДЫ.

Писано по словамъ столѣтняго старца Анисима Прокофьева съ надлежащими объясненіями коллежскимъ секретаремъ Сергѣемъ Андреевымъ сыномъ Валягинымъ 17-го мая 1822 года въ селѣ Заборѣ.

— Записки Валягина!

— Это должно-быть тестя, замѣтилъ, случившійся на ту пору у меня, одинъ старожилъ того городка, — Благообразовъ-отъ на дочери Валягина былъ женатъ.

Вотъ *Записка Валягина.*

Розовый павильонъ.

Вскорѣ по приѣздѣ нашемъ въ Заборье, только что принявъ я въ управленіе вотчину, пошелъ я по утру съ докладомъ къ князю Данилѣ Борисычу. Онъ былъ не въ духѣ.

— Я, говоритъ, сегодня ни на вѣлосъ уснуть не могъ. Что это за вой былъ у насъ на разсвѣтѣ?

— Должно-быть на псарномъ дворѣ собаки звѣря учуяли, докладываю ему.

А князь спрашиваетъ съ неудовольствіемъ:

— Развѣ, говоритъ, у меня есть псарный дворъ?

— Какъ же, говорю, псарня у вашего сіятельства хорошая; собакъ пятьсотъ борзыхъ, да сотни полторы гончихъ. Псарей и доѣзжачихъ при нихъ до сорока чело-
вѣкъ.

— Какъ! закричалъ князь, — шестьсотъ пятьдесятъ собакъ и сорокъ псарей-дармоѣдовъ!... Да вѣдь эти проклятые псы столько хлѣба съѣдаютъ, что имъ на худой конецъ полтора ста бѣдныхъ людей круглый годъ будутъ сыты. Прошу васъ, Сергѣй Андреичъ, чтобъ сегодня же всѣ собаки до единой были перельшаны. Псарей на мѣсячину, кто хочетъ идти на заработки—выдать паспорта. Деньги, что шли на псарню, употребите на образованіе въ Заборѣ отдѣленія Россійскаго Библейскаго Общества.

— Слушаю, ваше сіятельство, сказалъ я, и тотчасъ же отдалъ приказъ вѣшать собакъ.

Черезъ полчаса приходитъ къ князю древній старецъ. Лицо у него все сморщилось; длинные, по плечамъ лежавшіе волосы пожелтѣли, во рту ни единого зуба, а черные глаза такъ и горять. Одѣтъ былъ онъ въ старинный чекмень съ золотымъ галуномъ, опоясанъ чересскимъ поясомъ.

— Я вѣковѣчный холопъ вашего сіятельства, Анисимъ Прокофьевъ, зашамкалъ старикъ, — а былъ, государь мой, первымъ стремяннымъ у вашего дѣдушки, у князя Алексѣя Юрьича.

— Здравствуй, здравствуй, старикъ, садись-ка, усталъ чай, говоритъ ему князь.

— Сидѣть мнѣ передъ вашимъ сіятельствомъ не приходится. А пришелъ я къ вамъ, государь мой, челомъ ударить.

— О чемъ это, Анисимъ Прокофѣичъ?

— Да слышно, ваше сіятельство, что изволили на насъ свой княжескій гнѣвъ положить.

— Я?... Что ты, Прокофѣичъ?... Въ умѣ ли?

— Не мудрое дѣло, ваше сіятельство, и ума лишиться отъ такого безчеловѣчія!... Избить шестьсотъ шестьдесятъ восемь собакъ, ничѣмъ неповинныхъ!... Это дѣло, сударь, не малое!... Вѣдь это все едино, что какъ царь Иродъ неповинныхъ младенцевъ избивалъ!... Чѣмъ бѣдныя собачки провинились передъ вашимъ сіятельствомъ? Вѣдь это не шутка: шестьсотъ шестьдесятъ восемь собакъ задавить!... Надо вѣдь будетъ вашему сіятельству и Богу на страшномъ судищѣ отвѣтъ давать. .

— Полно, старикъ, успокойся, перестань... говоритъ ему князь.

— Чего мнѣ перестать?... Коль я не буду говорить, кто тебѣ скажетъ? гнѣвно вскричалъ старый стремянный. — Да какъ же тому статься, чтобъ всѣхъ собакъ перевѣшать?... Дѣдами, прадѣдами псарня установлена, больше ста годовъ держится, прошла про нее слава по всему, почитай, свѣту, и вдругъ ни съ того, ни съ сего разомъ перевести ее!.... Да отъ такого дѣла, князь Данило Борисычъ, кости твоихъ родителей во гробахъ повернутся, всѣ твои дѣды, прадѣды изъ гробовъ встанутъ, руки на тебя протянутъ, проклятье тебѣ изрекутъ... Знаешь ли ты, государь мой, что псарня-то наша со дней царя Петра Алексѣича нерушимо стоитъ?... За что жъ ее порушить хотите?... Да вѣдь это роду вашему вѣчный поворотъ, всему вашему княжому племени безчестье, не говорю ужъ про то, что на совѣсть свою такое душегубство хотите принять!... Собака-то, батюшка, тоже тварь Божія, а въ писаніи что сказано?... «блаженъ иже и скоты милуетъ.» Идете, ваше сіятельство, сѹпротивъ Божіей заповѣди!.. И вотъ, сударь, ваше сіятельство, надѣлъ я на старости лѣтъ жалованный чемень вашего дѣдушки — двадцать лѣтъ въ сундукъ лежалъ, думалъ я, что придется его только въ могилу надѣть; — вотъ, сударь, одѣлъ я и поясъ черкесскій, а жаловалъ мнѣ этотъ поясъ родитель вашъ въ ту самую пору, какъ, женившись на вашей магушкѣ, княгинѣ Еленѣ Васильевнѣ, привезъ ее въ вотчину и въ первый разъ охоту свою своей княгинѣ изволилъ показывать: никто изъ нашихъ не могъ русака угнать, а сосѣдъ Иванъ Алексѣичъ Рамировъ уже совсѣмъ почти угонялъ, я поскакалъ, угналъ русака и тѣмъ княжѹю честь передъ молодой супругой сохранилъ... Власть ваша, князь Данило Борисычъ, съ мѣста не сойду, покажѣсть милости собакамъ не выпрошу.

— Да чего жъ ты хочешь? спрашиваетъ у него князь.

— А того я хочу, ваше сіятельство, чтобы вы мнѣ прежде голову приказали снять, а потомъ бы ужъ и собакъ вѣшать изволили... Въ этомъ чекменѣ, въ этомъ поясѣ предстану я предъ вашими родителями, дѣдами и прадѣдами, подведу къ нимъ собачекъ, вами задавленныхъ... А они-то, старики-то ваши, яко зѣницу ока ихъ берегли!... Пусть же ваши родители судятся съ вами на страшномъ судѣ за такое злодѣйство... что не хотѣли вы уберечь родительскаго благословенья, пролили кровь неповинную!.. Дѣло мое, государь мой, старое, а порядки у васъ новые, отпустите меня, ваше сіятельство, къ господамъ моимъ: прикажите рубить голову, а тамъ ужъ и собакъ вѣшайте.

Отъ сильнаго волненья у Прокофѣича духъ занялся и ноги подкосились; онъ бы упалъ и расшибся, еслибъ мы съ княземъ его не поддержали. Безъ чувствъ вынесли старика изъ-дома.

Горячее заступничество девяностолѣтняго стремяннаго спасло на время собакъ. Псарный дворъ въ Заборѣ былъ уничтоженъ лишь послѣ смерти князя Данилы Борисыча и Прокофѣича....

Князь полюбилъ старика, часто призывалъ его къ себѣ и разспрашивалъ о старыхъ годахъ. По нѣсколькимъ часамъ, бывало, присаживали они вмѣстѣ.

Разъ, вечеромъ, послѣ долгой бесѣды съ Прокофѣичемъ, послалъ князь за мной, требуя, чтобы я тотчасъ же явился къ нему.

Я нашелъ князя сильно взволнованнымъ.

— Сергѣй Андреичъ, сказалъ онъ, — въ состояніи

ли вы нѣсколько часовъ, вмѣстѣ со мной, проработать ломомъ?

— Какъ проработать ломомъ, ваше сіятельство?

— Пробить каменную стѣну... Видите ли, Прокофѣичъ сейчасъ разсказалъ мнѣ одинъ необыкновенный случай стараго времени... Мнѣ бы хотѣлось узнать: вздоръ болтаетъ старикъ или правду говоритъ... Постороннихъ, особенно своихъ крѣпостныхъ, въ это дѣло мѣшать не годится... Будьте такъ любезны, Сергѣй Андреичъ, не откажите...

Я согласился, далъ слово и спросилъ князя, что жъ такое разсказывалъ ему Прокофѣичъ?

— Э, да все это, можетъ-быть, еще вздоръ.... Прокофѣичъ, кажется, изъ ума сталъ выживать, разсказываетъ вещи несодѣянные... А все-таки хочется удостовѣриться... Завтра, надѣюсь, вы исполните данное слово.

Я повторилъ обѣщаніе, и князь тотчасъ же завелъ рѣчь о хозяйственныхъ дѣлахъ, но занятый другимъ, вовсе не слушалъ словъ моихъ. Наконецъ отпустилъ меня.

— Такъ завтра? сказалъ онъ, подавая руку.

— Слушаю, ваше сіятельство.

Таинственность предстоявшей работы, какое-то необыкновенное событіе старыхъ годовъ, волненіе князя — все это до такой степени распалило мое воображеніе, что я всю ночь заснуть не могъ. Чѣмъ свѣтъ присылаеть за мной князь.

— Пойдемте, сказалъ онъ, когда я вошелъ въ кабинетъ.

Пошелъ за нимъ. Князь отдалъ приказаніе, чтобы никто не смѣлъ входить въ садъ до нашего возвращенія. Пройдя большой садъ, мы перешли мостъ, перекинутый черезъ оврагъ и подошли къ *Розовому павильону*. У входа

въ тотъ павильонъ уже лежали два лома, двѣ кирки, нѣсколько восковыхъ свѣчъ и небольшой красного дерева ящикъ. Князь на разсвѣтѣ самъ ихъ отнесъ туда.

Въ павильонѣ было пять или шесть комнатъ. Пройдя три, князь ударилъ въ глухую стѣну и сказалъ:

— Здѣсь!

Мы принялись за работу; часа черезъ полтора стѣна была пробита. Князь зажегъ свѣчи, и мы пролѣзли въ темную, нахлухо со всѣхъ сторонъ заведенную комнату.

Среди развалившейся и полусгнившей мебели лежалъ человѣческій остовъ...

Князь перекрестился, заплакалъ и тихо проговорилъ: — «упокой Господи душу рабы своей.»

— Старикъ сказалъ правду, прибавилъ онъ немного помолчавъ.

— Что это? спросилъ я, немного оправившись отъ перваго впечатлѣнія.

— Грѣхи старыхъ годовъ, Сергѣй Андреичъ. Послѣ все расскажу, теперь помогите собрать это...

Бережно собрали мы кости и положили ихъ въ ящикъ красного дерева. Князь заперъ его и положилъ ключъ въ карманъ. Когда мы собирали смертные останки, нашли между ними брилліантовья серьги, золотое обручальное кольцо, нѣсколько проволокъ изъ китоваго уса, на которыхъ кой-гдѣ уцѣлѣли лохмотья полуистлѣвшей шелковой матеріи. Серьги и кольцо князь взялъ къ себѣ.

Утомленные трудомъ и сильными впечатлѣніями, вынесли мы ящикъ изъ сада.

— Сейчасъ же собрать человѣкъ полтора съ ломами и топорами, да нарядить пятьдесятъ подводъ, сказалъ князь бурмистру, проходившему черезъ дворъ.

Я зашелъ въ свой флигель умыться и переодѣться. Когда пришелъ къ князю, его не было въ кабинетѣ.

— Гдѣ князь? спросилъ я попавшагося лакея.

— Въ портретную галерею прошли, отвѣчалъ тотъ.

Тамъ запыленный, запачканный, какъ вышелъ изъ павильона, стоялъ князь передъ портретомъ женщины, у которой, по какой-то прихоти пре жнихъ владѣльцевъ, лицо было замазано черной краской. Знакомый ящикъ стоялъ на полу передъ портретомъ. Я взглянулъ на князя. Онъ плакалъ.

И разсказалъ онъ страшную повѣсть стараго времени. Подробнѣе узналъ я ее послѣ отъ Прокофѣича....

Когда рабочіе были собраны, князь приказалъ имъ сломать «Розовый павильонъ» до основанія, а кирпичъ отвезти къ строившейся тогда въ Заборѣ церкви. Когда потолокъ съ павильона былъ снятъ, мы еще разъ вошли въ ту комнату.

На стѣнѣ чѣмъ-то острымъ было надарапано: *1757 года октября 14-го. Прости, мой милый, твоя Варенька пропала отъ жестокости тв...*

— Топорь! вскрикнулъ князь, прочитавъ эти слова.

Подали топоръ. Князь быстро изрубилъ штукатурку.

— Живѣй ломайте, торопилъ онъ рабочихъ, — Скорѣе, скорѣй!

Къ вечеру павильонъ былъ сломанъ.

На другой день, чѣмъ свѣтъ, подали карету. Мы съѣли вдвоемъ съ княземъ и взяли съ собой обернутый въ черное сукно :щикъ.

— Въ монастырь, сказалъ князь.

Тамъ, въ усыпальницѣ князей Заборовскихъ, зарыли мы ящикъ съ костями, а на другой день слушали заупо-

войную обѣдню и нанихиду о упокоеніи души рабы Божіей княгини Варвары.

Черезъ недѣлю князь Данило Борисычъ уѣхалъ въ Петербургъ. Больше мы съ нимъ и не видались. Черезъ три года онъ скончался. Въ духовномъ завѣщаніи не забылъ ни меня, ни Прокофьича.

Молва о таинственной работѣ нашей и о сломѣ павильона быстро разошлась по народу. Толковали, что князь въ «Розовомъ павильонѣ» нашелъ цѣлый ящикъ золота. Чтобъ поддержать этотъ слухъ, онъ самъ послѣ рассказывалъ своимъ знакомымъ, что Прокофьичъ открылъ ему тайникъ, гдѣ княземъ Алексѣемъ Юрьичемъ заложены были нѣкоторые родовыя драгоценности. Мы съ Прокофьичемъ ту же сказку рассказывали. Такъ всѣ и увѣрились.

II.

Прокофьичъ.

— Да, батюшка Сергѣй Андреичъ, говорилъ мнѣ однажды Прокофьичъ, — встарину-то живали не поныѣшнему. Встарину—коли баринъ, такъ и живи баріномъ, а нынче что?... Измельчало все, измалодушествовалось, важности дворянской не стало. Послѣдніе годы міръ стоитъ. Скоро и свѣту конецъ.

Совсѣмъ, сударь, другой свѣтъ нонѣ сталъ. Посмотришь, согласишься, да иной разъ согрѣшишь и поропщешь: зачѣмъ, дескать, Господи, зажилъ я у Тебя на здѣшнемъ свѣтѣ? Давно бы Тебѣ пора велѣть старымъ моимъ востямъ идти на вѣчный покой, не глядѣли бы мои глазыньки на годы новыя... А все-таки, батюшка Сергѣй Андреичъ, милъ вольный свѣтъ, хоть и подумаешь этакъ, а помирать не хочется.

А ужъ такъ измельчало, такъ измельчаю все, что и сказать невозможно. У барина, напримѣръ, не одна тысяча душъ, а во дворѣ какихъ-нибудь десять, пятнадцать человѣкъ—и дворней-то нельзя назвать. Псарня малая, ни музыкантовъ, ни пѣсенниковъ, а ужъ насчетъ барскихъ барынь, шутовъ, карликовъ, араповъ, скороходовъ, нѣмыхъ, калмыковъ, — такъ я думаю, теперь ни у одного барина и въ заводѣ нѣтъ; всѣ стали ровно мелкопомѣст-

ные. Я такъ полагаю, сударь, что теперь врядъ ли гдѣ можно сыскать кучера, чтобъ сумѣлъ карету цугомъ заложить. Всѣ на парочкахъ—ровно мелкаго рангу, аль купцы какіе... А вѣдь и въ законѣ написано, что столбовому барину шестерикомъ ѣздить слѣдуетъ. Да чего ужъ тутъ шестерикомъ? до такой грамоты дошли, что и сказать нельзя: заложать куцу лошаденку въ каку-то чухонску одноболку, сидеть лакей съ бариномъ рядомъ—самъ руки крестомъ, а барину вожжи въ руки. Смотрѣть даже скверно... — Вотъ до какого униженія дошли!... И хоть бы неволя нудила, ну дѣлать нечего, — такъ вѣдь нѣтъ: сами захотѣли.... Просто, сударь, можно сказать — никакого благородства не стало, одинъ Богъ знаетъ, что это значить такое... До чего вѣдь иные дворяне дошли? Торговать пустились, на купчихахъ поженились, конторскія книги сами ведутъ!... Ну, сами вы умный человѣкъ, посудите ради Христа — дворянское ли это дѣло?... Да хоть бы богатство отъ того какое получили; и того нѣтъ — всѣ профуфынились, всякъ долженъ вѣкъ, а платажу нѣтъ какъ нѣтъ... Эхъ, встали бы дѣдушка да прадѣдушки, царство имъ небесное!.. Ужъ свели бы любезныхъ внучковъ на конюшню, да по старому заведенію, такую бы ременную масляницу въ спину-то имъ засыпали, что забыли бы послѣ того дурь-то на себя накидывать.

Хоть бы нашего князя Данилу Борисыча взять! Что ни говорите, бѣденъ онъ, бѣденъ, а все жъ не одна тысяча душъ у него найдется—стало-быть баринъ настоящій. А похожъ ли хоть маненько на бари-па-то? Ну, сами вы скажите—похожъ ли?... Въ Москвѣ въ какомъ-то нивирситетѣ обучался, съ портными да съ сапожниками тамъ на одной скамьѣ, слышь, сидѣлъ,—товарищемъ ихнимъ звѣлся. Ну, возможно ль сапожнику съ княземъ въ това-

рищахъ быть?... Что же вышло? Сапожниковъ да всякихъ другихъ разночинцевъ не облагородилъ, а самъ верругъ нихъ холопства набрался. Хотя бы вотъ тогда прѣжалъ онъ съ вами въ свою вотчину — что дѣлалъ?.. Чѣмъ бы на охоту съѣздить, аль банкетъ сдѣлать, балъ, гулянку какую, — по мужичьимъ избамъ на посидѣлки почалъ таскаться, съ парнями да съ дѣвками мужицкія игры играть стариковъ да старухъ сказки заставлялъ рассказывать да пѣсни пѣть, а самъ на бумагу ихъ записывалъ... Княжеское ли это дѣло?... Старыя книги да образа за большія деньги сталъ покупать. Кто ни скажетъ ему, вотъ, молъ, ваше сіятельство, въ такой-то деревнѣ у такого-то мужика есть рѣдкостная книга — глазенки у него такъ и загорятся, такъ и забѣгаютъ. Въ полночь ли, за-полночь ли — лошадей!.. И поскачетъ, сломя голову, верстъ за тридцать, либо за сорокъ къ мужику за книгой... Курганы почнетъ копать, самъ съ мужиками въ землѣ роется, черепки тамъ попадутся аль жеребейки какіе, онъ ихъ въ хлопчатую бумагу ровно драгоценныя камни, да въ ящики, да въ Питерь. Не видали, знать, тамъ этакой дряни! — Увидалъ разъ нищаго слѣпца, стоитъ слѣпецъ на базарѣ, Лазаря поетъ. — Батюшки свѣты!.. Нашъ князь Данило Борисычъ такъ и взбѣленился, беретъ слѣпца за руки, сажаетъ съ собой въ карету; привезъ домой, прямо его въ кабинетъ, усадилъ обѣдвнца на бархатныхъ вреслахъ, водки ему, вина, обѣдать со своего стола, да и заставилъ стихеры распѣвать. Тотъ обрадовался, да дурацкое свое горло и распустилъ, оретъ себѣ какъ бурлакъ какой, а князь Данило Борисычъ все на бумагу, да на бумагу... Ну хорошее ли это, сударь, дѣло?... Вѣдь грязью играть только руки марать, дѣло это не княжеское..... Три дня тотъ нищій у насъ выжилъ, пилъ, ѣлъ съ княжскаго стола, на пуховой постели, собака, дрыхнулъ, а какъ всѣ сти-

херы перепѣлъ, князь ему двадцать рублей деньгами, одежи всякой, харчей; повозку велѣлъ заложить да отвести до села, гдѣ онъ въ кельенкѣ при церкви живетъ. А самъ-отъ послѣ носитъ со стихерами, «золото, говорить, не-оцѣненное сокровище!» Хорошо сокровище, нечего сказать! Просто сказать, ума лишился и все тутъ.

Нѣтъ, сударь, въ стары годы жили не такъ. Въ старыя годы господа держали себя истинно по барски, та-кую дрянъ, какъ нищій слѣпецъ на-версту къ себѣ не допускали. Знай, дескать, сверчокъ свой шестокъ. Компанію въ ровней водили, другой хоть и шляхетнаго роду да не богатъ, такъ его развѣ только изъ милости въ «знакомцы» принимали, чтобъ надъ нимъ когда потѣшиться аль чтобы въ домѣ было полюднѣе. И долженъ былъ тотъ «знакомецъ» ходить по стрункѣ, а чуть проштрафился, шелепами его на конюшнѣ... Да иначе и не слѣдуетъ: какъ бы на горохъ не морозъ, онъ бы черезъ тынъ переросъ. Такъ вотъ, сударь, какъ въ стары-то годы жили! А теперъ что!.. Тьфу!

Хоть бы, напимѣръ, при князѣ Алѣксѣѣ Юрьичѣ, — здѣсь въ Заборѣ было!... Подлинно, не жизнь, а рай пресвѣтлый. Богатство-то, сударь, какое, изобиліе-то какое было! Одного столоваго серебра сто двадцать пудовъ, въ подвалѣ бочонки съ цѣлковыми стояли, а мѣдныя деньги, что горохъ, въ сусѣки сыпали: нарочно такіе сусѣки въ подвалахъ были надѣланы. Музыкантовъ два хора, на псарнѣ не одна тысяча собакъ, на конюшнѣ пятьсотъ лошадей верховыхъ, да двѣсти ѣзжалыхъ; шутовъ да юродивыхъ десятка полтора при домѣ бывало, oprичъ нѣмыхъ ариповъ, да варликовъ. Шляхетнаго рода знакомцевъ, изъ мелкопомѣстныхъ, человѣкъ по сороку и больше проживало. Мужики ли, бывало, у кого разбѣгутся, деревню ль у кого судомъ оттягаютъ, пропѣтся ли кто изъ помѣ-

щиковъ, промотается ли, всякъ, бывало, въ Заборье на княжіе харчи. Опять барыни приживалки, барышни: этихъ тоже штукъ по тридцати водилось. Ужь именно домъ былъ какъ полная чаша. А самъ-отъ князь какой былъ баринъ! Такой, сударь, важности, что теперь, весь свѣтъ исходи, днемъ съ огнемъ не сыщешь... И все-то прошло, все-то миновалось!... Да, сударь, стары годы были годы золотые, были они, сударь, да и прошли, прошли и не воротятся. Красно лѣто два разъ въ году не живетъ!

А куда какво давно тому времени, какъ въ Заборьѣ-то было житье-бытье раздольное, да привольное! Мнѣ теперь десятый десятокъ идетъ, а въ тѣ пору и тридцати годовъ не было, какъ батюшки-то нашего, князя Алексѣя Юрьича, не стало. А скончаться изволилъ лѣтъ семидесяти безъ малаго... Да я ужъ что за жизнь засталъ? Тогда ужъ князь-отъ въ немилости былъ, въ опалѣ то-есть, а вотъ какъ бывало родитель мой—дай ему Богъ царство небесное, а вамъ добро здоровье—поразскажетъ про тѣ годы, какъ князь-отъ Алексѣй Юрьичъ въ настоящей своей порѣ былъ и въ Питерѣ «во-временіи» находился, а въ Заборьѣ бывалъ только наѣздами, такъ вотъ тогда точно что жизнь была золотая. И умирать не надо было.

А батюшку моего покойника князь Алексѣй Юрьичъ изволилъ жаловать своей княжою милостью. Перво-наперво онъ у него въ доѣзжачихъ находился, а потомъ въ стремянные попалъ, да проштрафился однажды: русака въ островъ упустилъ. Князь Алексѣй Юрьичъ за то на него разгнѣвался и тутъ же, на полѣ, изволилъ его изъ своихъ рукъ выпоротъ, да ужъ какъ распалился, что и на конюшнѣ еще велѣлъ пятьсотъ кошекъ ему влѣпить и даже согналъ его со своихъ княжихъ очей: велѣлъ управляющимъ быть въ низовой вотчинѣ... Однако жъ по-

слѣ того годовѣ этакъ черезъ пятокъ помиловаль—гнѣвъ и опалу изволилъ снять.

Вотъ какъ то дѣло случилось. Князь Алѣксѣй Юрьичъ на охоту по первой порошѣ поѣхаль. Время стояло холодное, на Волгѣ ужъ закраины, только самыя еще что называется стѣкольные, значить ледъ пятакомъ можно еще пробить. Ста полтора русаковъ заполевали, за монастыремъ, на угорѣ приваль сдѣлали. А гора въ томъ мѣстѣ высокая, что стѣна надъ Волгой-то стѣйма стоитъ. Князь Алѣксѣй Юрьичъ весель былъ, радостенъ, потѣшаться изволилъ. Сѣлъ на вѣнцѣ горы верхомъ на бочкѣ съ наливкой, самъ цѣлый ковшикъ изволилъ выеушать, а потомъ всѣхъ тутъ бывшихъ изъ своихъ рукъ поилъ, да разгулявшись и велѣлъ доѣзжачимъ да стремяннымъ рѣзака дѣлать. А чтобъ сдѣлать рѣзака, надо подъ гору торчмя головой летѣть, на яру закраину головой прошибить, да потомъ изъ-подо льда и вынырнуть. Любимая была потѣха у покойника, дай Богъ ему царство небесное! На ту пору никто не сумѣлъ хорошо рѣзака сдѣлать: иной сдуру какъ пенъ въ рѣку хлопнется,— а это ужъ не то, это называется пала, и за то пятнадцать кошекъ въ спину, чтобъ она свое мѣсто знала и впередъ головы не совалась. Другой, не долетѣвши до льда, на горѣ себѣ шею свернетъ, а три дурака хотъ и справили рѣзака, да вынырнуть не сумѣли: пошли осетровъ карать. Осерчалъ князь Алѣксѣй Юрьичъ: «всѣхъ, закричалъ, запорю до смерти!» За мелкопомѣстное шляхетство принялся, имъ приказалъ рѣзака справлять. Тѣ еще хуже: одинъ и прошибъ было головой ледъ, да тоже къ осетрамъ въ гости поѣхаль.

Заплакалъ инда князь Алѣксѣй Юрьичъ, навзрыдъ зарыдалъ:—таково ему стало горько и прискорбно.

— Видно, говорить, послѣдніе мои дни настаютъ,

что нѣтъ у меня молодца, чтобъ рѣзака сумѣлъ справиться!... Всѣ ровно бабы!... А гдѣ, говоритъ, Яшка Безухой?... Вотъ удалецъ-отъ: по три рѣзака бывало сряду дѣлывалъ».

А это онъ про батюшку покойника изволилъ вспомнить. А батюшка покойникъ и въ самомъ дѣлѣ безухій былъ. Лѣво-то ухо ему медвѣдь отгрызъ: разъ, какъ-то князь Алексѣй Юрьичъ изволилъ приказать батюшкѣ съ любимымъ своимъ медвѣдемъ побороться, медвѣтъ видно осерчалъ да ухо батюшкѣ и прочъ, а батюшка покойникъ не вытерпѣлъ, да охотничьимъ ножомъ мишку подъ лопатку и пырнулъ. У того духъ вонъ. Такъ за то, что осмѣлился безъ спросу княжаго медвѣдя положить, князь Алексѣй Юрьичъ приказалъ для памяти батюшкѣ покойнику и другое ухо отрѣзать, и прозвалъ его потомъ Яшкой Безухимъ. А батюшку покойника вовсе не Яковомъ, а Прокофьемъ звали.

— Гдѣ, кричить, Яшка Безухой? Подавай сюда Яшку Безухаго!

Доложили, что Яшка Безухой подъ гнѣвомъ находится пятый годъ, низовой вотчиной управляетъ.

— Давай сюда Яшку Безухаго—онъ у меня на рѣзакѣ не прорѣжется, какъ вы, шельмецы.

Посказали за покойникомъ батюшкой. Ну, !Саратовъ—мѣсто не ближнее: когда батюшку оттуда ко княжому двору привезли, ледъ-отъ такой ужъ сталъ, что будь у покойника свинцовая голова, такъ и тутъ бы ему рѣзака не сдѣлать. Допустили батюшку до свѣтлыхъ очей князя Алексѣя Юрьича.

— Здравствуй, говоритъ, Яшка Безухой!

Батюшка въ ноги; князь его пожаловать, велѣлъ встать.

— Что, говорить, рѣзака завтра съ того угора вальнешь?

— Можемъ постараться, батюшка, ваше сіятельство, надѣючись на милость Божію, да на ваше княжеское счастье, отвѣчалъ покойникъ родитель мой.

— Ладно, говорить, ступай на псарный дворъ. Жалую тебя сворой муругихъ.

А къ утру вьюга. Да такъ поля засыпала, что охота совсѣмъ порѣшилась. Остался рѣзакъ за батюшкой до другаго ледостава. За то ужъ какого же рѣзака на другую-то осень онъ справилъ... И за такую службу его и за великое радѣнье жаловалъ его князь Алексѣй Юрьичъ своей княжеской милостью: изволилъ къ ручкѣ допустить, при своей княжой охотѣ указалъ находиться, красный чекмень съ позументомъ пожаловалъ, на барской барынѣ женилъ, и сказано было ему быть въ первыхъ псаряхъ. И до самой кончины князя Алексѣя Юрьича батюшка у него въ самымъ ближнихъ людяхъ и въ большой милости находился. А какъ я родился, князь Алексѣй Юрьичъ самъ изволилъ меня отъ святой купели воспринимать, а воспріемницей была Степанида птичница, гайдука Самойлы жена. Тоже изъ барскихъ барынъ.

Подросъ я, сударь, у батюшки на псарнѣ, а какъ пріѣхалъ князь сюда совсѣмъ на житье и мнѣ шестнадцать лѣтъ исполнилось, изволилъ онъ и меня своей высокою милостью взыскать. На само Свѣтло Христово Воскресенье, послѣ заутрени, сказалъ свое жалованье: велѣлъ въ комнатныхъ казачкахъ при себѣ быть, ѣсть съ княжаго стола, а матушкѣ покойницѣ давать за меня мѣсячину мукой, крупой, масломъ, да по три алтына въ мѣсяцъ деньгами. Въ грамоту съ прочими казачками меня отдали, драли, сударь, немилосердно, однакожь дя-

чекъ Пафнутій до своего дошелъ: грамота всѣмъ далась, цифирному дѣлу даже маленько навыкли. А когда исполнилось мнѣ двадцать годовъ, стали насъ распредѣлять по наукамъ: кого въ музыканты, кого въ часовщики, кого въ живописцы, кого французскому учиться, чтобъ съ молодымъ княземъ съ Борисомъ Алексѣичемъ въ Парижъ отправить. Меня же, за многую службу матушки покойницы и по ея великой слезной просьбѣ, по собачьей части князь опредѣлить изволилъ.

Было, сударь, мнѣ лѣтъ двадцать съ небольшимъ, какъ сподобилъ и меня Господь передъ свѣтлыми очами князя Алексѣя Юрьича малую службишку справить и тѣмъ его княжескаго жалованья и милости удостоиться. Верстахъ въ двадцати отъ Заборья тамъ, за Ундольскимъ боромъ, сельцо Крутихино есть. Было оно въ тѣ поры отставнаго капрала Солоницына: за увѣчемъ и ранами былъ тотъ капраль отъ службы уволенъ и жилъ въ своемъ Крутихинѣ съ молодой женой... А вывезъ онъ ее изъ Литвы аль изъ Польши, а можетъ статься изъ Хохловъ, доподлинно не знаю,—только красавица была писаная, теперь, думать надо, изойти весь бѣлый свѣтъ, таковой не найдешь. Князю Алексѣю Юрьичу Солоницына приглянулась; сначала хотѣлъ ее честию въ Заборье сванить, однакожь она не поддалась, а мужъ взъершился, воюстъ: «либо, говорить, матушкѣ-государынѣ подамъ челобитную, либо, говорить, самого князя зарублю». Выѣхали однажды по лѣту мы на краснаго звѣря въ Ундольскій боръ, съ десятокъ лисицъ затравили, привалъ возлѣ Крутихина сдѣлали. Выложили передъ княземъ Алексѣемъ Юрьичемъ изъ тороковъ звѣря травленаго, стоимъ, ждемъ слова ласковаго.

А князь Алексѣй Юрьичъ кручиненъ сидитъ, не смотритъ на краснаго звѣря травленаго, смотритъ на сельцо

Крутихино, да такъ, кажется, глазами и хочетъ съѣсть его.

— Что это за лѣсы говорить.— Что это за красный звѣрь? Вотъ какъ бы кто затравилъ мнѣ лисицу крутинскую, тому человѣку я и не знай бы что далъ.

Гиенулъ я, да въ Крутихино. А тамъ барынька на огородѣ въ малинникѣ похаживаетъ, ягодками забавляется. Схватилъ я красоту поперекъ живота, перекинулъ за сѣдло, да назадъ. Прискакалъ, да князю Алексѣю Юрьичу къ ногамъ лисичку и положилъ. «Потѣшайтесь, молъ ваше сіятельство, а мы отъ службы не прочь». Глядимъ, скачетъ капралъ; чуть-чуть на самого князя не наскакалъ... Подлинно вамъ доложить не могу, какъ дѣло было, а только капрала не стало, и Литвяночка стала въ Заборѣ въ флигелѣ жить. Лѣтъ черезъ пять постриглась, игуменьей въ Зимогорскомъ монастырѣ была, и князь Алексѣй Юрьичъ очень украсилъ ей обитель, каменну церковь соорудилъ, земли купилъ, вклады большіе пожаловалъ.

Добрая была барынька, дай ей Богъ царство небесное, милостивая: какъ жила въ Заборѣ, всегда умѣла утолить сердце князя Алексѣя Юрьича. Только что онъ на своихъ ли холопей, на мелкопомѣстное ли шляхетство распалится, всегда бывало уйметъ его. Много за нее Бога молили.

За эту самую службу изволилъ меня князь Алексѣй Юрьичъ безпримѣрно пожаловать. «Коли вѣренъ рабъ, такъ и князь ему радъ», при всѣхъ сказать изволилъ и велѣлъ мнѣ быть при своемъ княжомъ стремени. Чекмень малиновый съ позументами изволилъ пожаловать, полтора рубля деньгами, чарку серебряную, три полупубка мерлушчатыхъ, лисью шубу, да кусокъ сукна нѣмецкаго. А сверхъ того изволилъ женить меня на бар-

свой барынѣ. Однавожь матушка покойница князя укланяла: за молодостью лѣтъ въ брачное дѣло мнѣ вступить было отказано. Милость князя была ко мнѣ великая: за мѣсто женитьбы съ птичнаго двора дѣвкѣ Акулькѣ въ наложницы мнѣ пожаловалъ. Да вѣдь не то, чтобъ я просилъ о томъ, нѣтъ, сударь, самъ пожаловать изволилъ, безъ просьбы.... Послѣ того, года черезъ два, меня на пѣвицѣ женили, на родной сестрѣ Василисы Бурылихи, чтó въ Заборьѣ надо всѣми порядковъ держала. Презлющая баба была эта Василиса, а съ рожн такая, что какъ во снѣ, бывало, приснится, вскочишь да перекрестишься. А у князя Алексѣя Юрьича въ великой была милости, для того, что по дѣвичьимъ ладно дѣла вела. Мнѣ съ женой изъ-за нея куда какъ хорошо было жить.

III.

На ярмонѣхъ.

«Отселѣ, сказано въ запискахъ Валягина, заносу въ сію тетрадь со словъ Анисима Прокофьева и по рассказамъ другихъ стариковъ».

Въ старые годы бывала въ Заборье ярмонка, приходилась она въ лѣтнюю пору. Съѣзжались на ту ярмонку люди торговые со всякими товарами со всякаго царства русскаго, а также изъ другихъ краевъ, всякіе иноземцы бывали, и всѣмъ былъ вольный торгъ на двѣ недѣли. Сказывали купчины, что наша Заборская ярмонка малымъ чѣмъ Макарьевской уступала, а украинскихъ и иныхъ много лучше была. Теперь совсѣмъ порѣшилась.

Была она на землѣ монастырской, оттого всѣ сборы денежныя: таможенный, привальный и отвальный, пятно конское, и австерскія, похомутной и вѣсчая пошлина сполна шли на монастырь. Монастырскую землю заборскія дачи обошли во всѣ стороны, отъ того ярмонка въ рукахъ князя Алексѣя Юрьича состояла. Для порядка наѣзжали изъ Зимогорска комиссары съ драгунами «*для дѣлъ набережныхъ*» и «*для дѣлъ обгъзжихъ*», да ассессоры провинціальныя, — исправниковъ тогда и въ духахъ еще не бывало, — однакожь вся сила была въ князѣ Алексѣѣ Юрьичѣ.

Наступить девятая пятница, — начало ярмонѣхъ. Съ ран-

наго утра въ Заборѣ все закипитъ, ровно въ муравейникѣ: въ парадъ начнутъ собираться, пудриться, одѣваться, коней сѣдлатъ, кареты закладывать. И когда все по чину устроится, пойдетъ къ князю старшій дворецкій съ докладомъ,—а бывалъ въ томъ чинѣ не изъ холопей, а изъ мелкопомѣстнаго шляхетства. Доложитъ онъ, что время на ярмонку ѣхать, и велитъ князь въ ряды строиться. Доложатъ, что построились, выйдетъ на крыльцо во всемъ нарядѣ: въ аломъ бархатномъ кафтанѣ, шитомъ золотомъ, камзолѣ съ серебряными блестками, въ парикѣ по плечамъ, въ трехугольной шляпѣ, въ красной кавалерин и при шпагѣ. За нимъ съ сотню другихъ большихъ господъ, «знакомцевъ» и мелкопомѣстнаго шляхетства и недорослей — всѣ въ шелковыхъ кафтанахъ и въ парикахъ. Потомъ выйдетъ на крыльцо княгиня Марѳа Петровна — въ помпадурѣ изъ серебряной парчи съ алыми разводами, волосы къверху зачесаны и напудрены, наверху корабликъ, а шея, грудь и голова, такъ и горятъ камнями самоцвѣтными. За ней барыни — всѣ въ робронахъ, въ пудрѣ, приживалки въ княгининныхъ платьяхъ, комнатныя дѣвки — въ золотныхъ шугайчикахъ, въ лѣтникахъ и въ собольихъ шапочкахъ.

— Трогай! — крикнетъ, сѣвши въ карету, князь Алексѣй Юрьичъ, и поѣздъ поѣдетъ къ монастырю.

Впереди пятьдесятъ вершниковъ на гнѣдыхъ лошадяхъ, всѣ въ суконныхъ кармазинныхъ чекменахъ, штаны голубые гарнитуровые, пояса серебряные, штилеты желтые, на головахъ парики пудренные, шляпы круглыя съ зелеными перьями.

За вершниками охота поѣдетъ, только безъ собакъ. Псаря и доѣзжачіе региментами: первый региментъ на вороныхъ коняхъ въ кармазинныхъ чекменахъ, другой региментъ на рыжихъ коняхъ въ зеленыхъ чекменахъ,

третій—на сѣрыхъ лошадяхъ въ голубыхъ чекменяхъ. А чекмени у всѣхъ суконные, черезъ плечо шелковыя перевязи, у однихъ бѣлыя, шиты золотомъ, у другихъ пюсовыя, шиты серебромъ. За ними стремянные на гнѣдыхъ коняхъ въ чекменахъ малиновыхъ, въ желтыхъ шапкахъ съ красными перьями, черезъ плечо золотая перевязь, на ней серебряный рогъ.

За охотой мелкопомѣстное шляхетство и знакомцы, верхами, кто въ мундирѣ, кто въ шелковомъ французскомъ кафтанѣ, всѣ въ пудренныхъ парикахъ, а лошади подо всѣми съ княжой конюшни. За шляхетствомъ, мало отступя, самъ князь Алексѣй Юрьичъ въ открытой золотой каретѣ цугомъ, лошади бѣлыя, а хвосты да гривы черные, — нарочно чернили. За каретой четыре гайдука на запяткахъ да шестеро пѣшкомъ, всѣ въ зеленыхъ бархатныхъ кафтанахъ, а кафтаны вокругъ шиты золотомъ, камзолы алаго сукна, рукава алаго бархату съ кондырями малыми, золотой бахромой обшитыми. Шапки на гайдукахъ пюсоваго бархату съ золотыми шнурами и съ бѣлыми перьями. И у каждого гайдука черезъ плечо цѣпь серебряная. За каретой арапы пѣшкомъ въ красныхъ юпкахъ, съ золотыми поясами, на шеѣ у каждого серебряный ошейникъ, на головѣ красна шапка. Потомъ другая золотая карета, тоже цугомъ, въ ней княгиня Марѳа Петровна, вокругъ ея кареты скороходы, на нихъ юпки краснаго золотнаго штофа, а прочее платье бѣлаго штофа серебрянаго, сами въ парикахъ напудренныхъ большихъ, безъ шапокъ. За княгининой каретой каретъ сорокъ простыхъ не золоченыхъ, каждая заложена въ четыре лошади безъ скороходовъ, а только по два лакея въ желтыхъ кафтанахъ на запяткахъ: въ тѣхъ каретахъ большіе господа съ женами и дочерьми, барыни изъ мелкопомѣстнаго шляхетства и вольныя дворянки, что при княжомъ

дворѣ проживали. Потомъ, на княжихъ лошадяхъ, что поплоче, видимо-невидимо мелкопомѣстнаго шляхетства.

Приѣдутъ къ монастырю, у святыхъ воротъ изъ каретъ выйдутъ и въ церковь пѣшкомъ пойдутъ. А какъ службу божественную отпоютъ, съ крестнымъ ходомъ кругомъ монастыря отправятся, да обошедши монастырь, на ярмонку, ради освященія флаговъ. Какъ станутъ воду святить, пальба изъ пушекъ пойдетъ и музыка. Тутъ князь Алексѣй Юрьичъ къ архимандриту ярмоначный флагъ поднесетъ, тотъ святой водой его покропитъ, а князь на столбъ своими руками вздернетъ. — Пушки запалятъ, музыка играетъ, трубы, роги раздадутся, а народъ во все горло: ура! и шапки къ верху. Это значить ярмонка началась, и съ того часу всѣмъ купцамъ торгъ повольный, а смѣй кто допрежь урочнаго часу лавку открыть, запереть князь Алексѣй Юрьичъ того до полусмерти, и товаръ въ Волгу велитъ покидать, либо среди ярмонки сожжетъ его.

Къ архимандриту обѣдать. А на полѣ возлѣ ярмонки столы накроютъ, бочки съ виномъ ради холопей и для чернаго народу выкатятъ. И тутъ не одна тысяча людей на княжой кошъ ѣсть, пьеть, проклажается до поздней ночи. Всѣмъ одинъ приказъ: «пей изъ ковша, а мѣра душа». Рѣдкій годъ человѣкъ двадцать бывало не обопьется. А пьяныхъ подбирать было не велѣно, а коли кто на пьянаго натенулся, перешагни черезъ него, а тронуть пальцемъ не смѣй.

На другой день въ Заборѣ пиръ горой. Соберутся большіе господа и мелкопомѣстные, торговые люди и приказные, всего человѣкъ можетъ съ тысячу, иной годъ и больше. У князя Алексѣя Юрьича таковъ былъ обычай: кто ни пришелъ, не спрашиваютъ, чей да откуда, а садись да пей, а коли ѣсть хочешь, пожалуй и ѣшь,

добра припасено вдосталь.... На полянѣ, позадь дому, столы поставлены, бочки выкачены. Музыка, пѣсни, пальба, гульба день-деньской стономъ стоятъ. Вечеромъ потѣшныя огни да бочки смоляныя, хороводы въ саду. Со всей волости бабъ да дѣвокъ нагонятъ.... Тутъ дѣло извѣстное: чтó въ полѣ горохъ да рѣпка, то въ мірѣ баба да дѣвка, значить, тутъ безъ грѣха невозможно, потому что всяка жива душа калачика хочетъ. Потѣшныя огни какъ потухнуть, князь Алексѣй Юрьичъ съ большими господами въ павильонѣ, а мелкопомѣстное шляхетство въ садочкѣ, на лужочкѣ да по овражкамъ всю ночь до утра прокуражатся.

Да такъ всю ярмонку и прогуляютъ. Каждый Божій день народу видимо-невидимо. И все пьяно. Крикъ, гамъ, пѣсни, драка — дымъ коромысломъ

А на ярмонку ради порядку князь Алексѣй Юрьичъ каждый день изволилъ самъ выѣзжать. Чуть кого въ чемъ замѣтитъ, тутъ ему и расправа. И судъ его былъ всѣмъ пріятенъ, длѣ того, что скоро кончался: тутъ же бывало на мѣстѣ и разборъ, и взысканье, въ дальній ящикъ не любилъ откладывать: все бы у него живой рукой шло. Чернилъ да бумаги бѣда какъ не жаловалъ. За то всѣ торговые люди, чтó на Заборскую ярмонку съѣзжались, какъ отца роднаго любили его, благодѣтелемъ и милостивцемъ звали. И они до бумаги-то не больно охочи. До челобитныхъ-ли да до приказныхъ дѣлъ купцу на ярмонкѣ, когда у всякаго каждый часъ дорогъ?

Не любилъ тѣхъ князь Алексѣй Юрьичъ, кто помимо его по судамъ просилъ. Призоветъ, бывало, такого, шляхетнаго-ли роду, купчину-ли, мужика-ли, ему все едино: первò-на-перво обругаетъ, потомъ изъ своихъ рукъ побить изволить, а послѣ того кошки, плети, аль кашаца березовая, смотря по чину и по званію. А послѣ бани

тотъ человѣкъ долженъ идти къ князю благодарить за науку.

— То-то и есть,—скажетъ тутъ князь, — ты какъ гусь: летаешь высоко, а садиться не умѣешь, вотъ и дождался. Развѣ нѣтъ тебѣ моего суда, что вздумалъ по приказнымъ ходить? Смотри же, впередъ будь умнѣе....

И ничего: еще ручку пожалуетъ поцѣловать и велить того человѣка напоить, накормить до отвала.

Купцамъ на ярмонкѣ такой былъ приказъ: съ богатого сколь хочешь бери, обманивай, обмѣривай, обвѣшивай его сколько душѣ угодно, бѣднаго обидѣть не моги. Разъ позволялъ князь къ себѣ въ Заборье одного московскаго купчину обѣдать: купецъ богатѣющій, каждый годъ привозилъ на ярмонку панскаго и суровскаго товару на многія тысячи: парчи, дородоры, гарнитуръ, глазеты, атласы, левантины, ну и всякія другія матеріи. А товаръ-отъ все прочный былъ: лубокъ лубкомъ; въ нынѣшнее время такихъ матерій и не дѣлаютъ, все стало щепетильнѣе, все измѣлчало, отъ того и самую одежду потоньше стали носить. Пообѣдавши, говоритъ князь Алексѣй Юрьичъ купчинѣ:

— Ты почемъ, Трифонъ Егорычъ, алыі левантинъ продаешь?

— По гривнѣ, ваше сіятельство, продаемъ, и по четыре алтына, смотря по добрѣтѣ.

— А была у тебя вчера въ лавкѣ попадья изъ Большаго Врагу?

— Не могу знать, ваше сіятельство, народу въ день перебываетъ много. Всѣхъ запомнить невозможно.

— Попадья у тебя аршинъ алаго левантину на головку покупала. Почемъ ты ей продалъ?

— Не помню, ваше сіятельство, хоть околотъ на

этомъ мѣстѣ, не помню. Да еще статья, не самъ я и товаръ-отъ ей отпускалъ, изъ молодцовъ кто-нибудь.

— Ну ладно, сказалъ князь Алексѣй Юрьичъ, да и кликнулъ вершника. А вершниковъ съ десятокъ завсегда у крыльца на коняхъ стояло для посылокъ.

Вошелъ вершникъ. Купчина ни живъ, ни мертвъ, думаетъ — на конюшню. Говоритъ вершнику князь Алексѣй Юрьичъ:

— Проводи ты вотъ этого купчину до ярмонки, тамъ онъ дастъ тебѣ кусокъ алаго левантину самого лучшаго. Возьми ты этотъ левантинъ и духомъ отвези его въ Большой Врагъ, отдай отца Дмитрія попадѣ и скажи ей: купецъ-моль московскій Трифонъ Егорычъ Чуркинъ кланяться тебѣ, матушка, велѣлъ и прислалъ, дескать, кусокъ левантину въ подарокъ, за то-де, что вчера онъ съ тебя за аршинъ такого же левантина непомѣрную цѣну взялъ. Такъ и скажи ей. А ты, Трифонъ Егорычъ, за молодцами-то приглядывай, чтобъ они бѣдныхъ людей не обижали, а не то вѣдь я посвойски расправлюсь. Пороть тебя не стану, а въ сидѣльцы къ тебѣ пойду. Такъ смотри же, держи у меня ухо востро.

Недѣли не прошло, спровѣдалъ князь про Чуркина, однопорца какого-то канифасомъ обмѣрялъ. Только услышалъ про это, ту жъ минуту на конь, прискакалъ на ярмонку, прямо къ Чуркину въ лавку.

— А ты, говоритъ, Трифонъ Егорычъ, приказъ мой позабылъ? Экая, братецъ мой, у тебя память-то короткая стала! Нечего дѣлать, надо мнѣ свое княжое слово выполнить, надо къ тебѣ въ сидѣльцы идти. Эй, вы, аршинники, вонъ изъ лавки всѣ до одинаго!

Чуркинъ съ молодцами изъ лавки вонъ, а князь Алексѣй Юрьичъ, ставши за прилавокъ да взявши въ руки аршинъ, крикнулъ на всю ярмонку зычнымъ голосомъ:

— Господа честные, покупатели дорогие! Къ намъ въ лавку поворно просимъ, у насъ всякаго товару припасено вдоволь, есть атласы, канифасы, всякіе дамскіе припасы, чулки, платки, батисты!.. Продаемъ безъ обмѣру, безъ обвѣсу, безо всякаго обману. Сдачи не даемъ, и сами мелкихъ денегъ не беремъ. Отпускаемъ товаръ за свою цѣну, за наличныя деньги, у кого денегъ нѣтъ, тому и въ долгъ можемъ повѣрить: заплатишь спасибо, не заплатишь — Богъ съ тобой.

Навалила въ лавку чуть не цѣлая армонка. А князь за прилавкомъ аршиномъ работаетъ: пять аршинъ чего ни на есть отмѣряетъ да куска два, три почтенія сдѣлаетъ. Такимъ манеромъ часа черезъ три у Чуркина весь товаръ распродать, только наличной выручки оказалось число невеликое.

— Вотъ тебѣ,—сказалъ князь Алексѣй Юрьичъ Чуркину,—выручка, а остальной товаръ въ долгъ проданъ. Ищи, хлопочи, собирай долги, это ужъ твоя забота, а мое дѣло сторона. Да ты у меня смотри, попадью съ однодворцемъ не забывай. Поѣдемъ теперь въ Заборье обѣдать; оно бы, по настоящему, съ тебя магарычи-то слѣдовали, ну, да такъ и быть: пожалуй, ужъ я накормлю. Садись въ карету.

Замаялся Чуркинъ, не лѣзетъ въ карету, стоитъ, дрожитъ какъ зачумленный.

— Не бойсь, хозяинъ, садись,—говоритъ ему князь Алексѣй Юрьичъ.—Ты чай думаешь драть тебя стану, не бойся: сказано, не стану пороть, значитъ и не стану. Захотѣлъ бы плетью поучить, и здѣсь бы спину-то вздулъ. Садись же, хозяинъ!

Сѣлъ Чуркинъ съ княземъ въ карету, поѣхалъ въ Заборье обѣдать. А за обѣдомъ Чуркина на перво мѣсто посадили, и князь Алексѣй Юрьичъ самъ ему при-

служивалъ: за стуломъ у него съ тарелкой стоялъ, *хозяйномъ* все время называлъ. «Я, говорить, у Трифона Егорыча въ услуженіи».

А пороть не поролъ. На прощанье еще жалованьемъ удостоилъ: отъ любимой борзой суки Прозерпиней кобелька да сученку на племя подарилъ.

Съ той поры Чуркинъ на ярмонку ни ногой.

А кто съ княземъ Алексѣемъ Юрьичемъ смѣло да умно поступалъ, того любилъ. Разъ одинъ купчина прогнѣвалъ его: отобѣдавши въ Заборѣ, не пожелалъ съ барскими барынями да съ деревенскими дѣвками въ саду повеселиться, слѣпнымъ дѣломъ отговаривался, получение-де предвидится отъ сибирскихъ купцовъ. Соснувши маленько послѣ обѣда, узналъ князь, что купчина его приказу сдѣлался ослушенъ: тихонько на ярмонку съѣхалъ. — Ну, говорить, чортъ съ нимъ: была бы честь предложена, убытка Богъ избавилъ. Пороть не стану, а до морды доберусь,—не пеняй.

И попались онъ князю на другой день за балаганами, а тутъ песокъ сыпучій, за пескомъ озеро, дно ровное да покатое, отъ берега мелко, а на середкѣ дна не достанешь; зато ни ямъ, ни уступовъ нѣтъ ни единого. Завидѣвши купчину, князь остановился, пальцемъ манить его къ себѣ:—Поди-ка молъ, сюда. Купчина смекнулъ зачѣмъ зоветъ, нейдетъ, да стѣя саженьхъ въ двадцати отъ князя говоритъ ему:

— Нѣтъ, ваше сіятельство, ты самъ ко мнѣ поди, а я не пойду, для того что ни зуботрещинъ твоихъ, ни кошекъ, ни плетей не желаю.

— Ахъ ты аршинникъ этакой! закричалъ князь Алексѣй Юрьичъ. Да къ нему.

А купчина парень не промахъ, задалъ къ озеру тягача, а песокъ тутъ сыпучій, ноги тагъ и вязнутъ.

Князь Алексѣй Юрьичъ въ догонку, распалился весь, запыхался, все бѣжить, сердце-то ужъ очень взяло его. Вязнуть ноги у купчины, вязнуть и у князя. Вотъ купчина догадался: оглянулся назадъ, видитъ, князь шагахъ во ста отъ него. Эхъ, думаетъ, успѣю: сѣлъ, сапоги долой, да босикомъ дальше пустился: бѣжать-то ему такъ вольготнѣе стало. Видитъ князь, купчина умно поступилъ, самъ сѣлъ, тоже сапоги долой да босикомъ дальше. Купчина къ озеру, князь тоже. Забрелъ купчина по горло, а князь по грудь, остановился да перстикомъ купчину и манить.

— Подъ, говорить, ко мнѣ, раздѣлаться съ тобой хочу.

А купчина въ отвѣтъ тоже пальцемъ манить да свое говоритъ:

— Нѣтъ, ваше сіятельство, ты ко мнѣ подъ, а ужъ я не пойду.

— Да вѣдь ты, подлецъ, утонешь?

— Тамъ ужъ чтó Богъ дастъ, а къ тебѣ не пойду.

Перекопались, перекопались, а другъ къ дружку не пошли. Хотъ время стояло жаркое, а оба, стоя въ водѣ, продрогли.

— Ну,—говоритъ князь,—люблю молодца за обычай, ѣдемъ въ Заборье обѣдать, зло твое я забылъ.

— Врешь, ваше сіятельство,—говоритъ купчина,—обманешь, выпорешь.

— Пальцемъ не трону,—отвѣчалъ князь Алексѣй Юрьичъ,—ей-богу пальцемъ не трону.

— Обманешь, ваше сіятельство.

— Ей-богу, не обману, право не обману.

— А ну, перекрестись!

И сталъ князь, стоя въ водѣ, креститься и всѣми святыми себя заклинять, что никакого дурна надъ купчиной

не учинить. Далъ купчина вѣру, поѣхалъ съ княземъ въ Заборье.

Не то чтобы выдрать—пріятелемъ сдѣлалъ его, домъ каменный въ Москвѣ подарилъ. Бывало, что есть — выѣстъ, чего нѣтъ—пополамъ. Двухъ дочерей замужъ повывдалъ; въ посаженныхъ отцахъ у нихъ былъ, сына вывелъ въ чины; послѣ въ Зимогорскѣ вице-губернаторомъ былъ, отъ соли да отъ вина страхъ какъ нажился...

— А вѣдь утопилъ бы ты меня, Кононъ Ѡадеичъ, какъ бы я къ тебѣ тогда подошелъ? скажетъ, бывало, князь.

— А какъ знать чего не знать,—отвѣчаетъ купчина,—что бы Богъ указалъ, то бы я надъ тобой, ваше сіятельство, и сдѣлалъ.

И захохочутъ оба, да послѣ того и почнутъ цѣловаться.

И всегда и во всемъ такъ бывало: кто удалую штуку удереть либо тыкнуть князю прямо въ носъ, не боюсь-де тебя, того жаловалъ и въ чести держалъ. Да вотъ какой случай былъ.

Въ лѣтнюю пору послѣ обѣда, садился, бывало, онъ въ кресла подремать маленько. Кресла ставили на балконѣ, заднія ножки въ комнатѣ, а переднія на балконѣ, такъ на порогѣ и дремлетъ. И тогда по всему Заборью и на Волгѣ на всѣхъ судахъ никто пикнуть не смѣй, не то на конюшню. Флагъ надъ домомъ особый выкидывали, знали бы всѣ, что князь Алексѣй Юрьичъ почивать изволитъ.

Дремлетъ онъ этакъ разъ, а барченокъ изъ мелкопомѣстныхъ знакомцевъ, что изъ милости на кухнѣ проживалъ, тихонько возлѣ дома пробирается. А въ нижнемъ жильѣ, подъ самымъ тѣмъ балкономъ, жили барышни-приживалки, вольныя дворянки, и деревни свои у нихъ

были, да плохонькія, оттого въ Заборьѣ на княжескихъ харчахъ и проживали. Барченокъ подь ѳвна. Говорить не смѣетъ, а турусы на колесахъ барышнямъ подпустить охота, сталъ руками маячить, а самъ ни гугу. Барышнямъ не втерпежъ: поохотать охота, да гроза наверху, не смѣютъ. Машутъ барченку платочками, уйди, дескать, пострѣль, до грѣха. А барченокъ маячилъ, маячилъ, да какъ во все горло заголосить: «*Не одна-то во полъ дороженька*». Заоралъ да и драла. Вершники, что у крыльца стояли, его не запримѣтили, сами тоже вздремнули часъ былъ полуденный. Такъ барченокъ и скрылся.

Пробудился князь. Грозень и мрачень, руки у него такъ и дергають.

— Кто *дороженьку* пѣлъ? спрашиваетъ.

Побѣжали, сломя голову, во всѣ стороны. Ищутъ.

А барченокъ себѣ на умѣ, семью собаками его не сыщешь. Улегся на сѣнникѣ, спитъ тоже будто. Кромѣ барышень никто его не примѣтилъ, а тѣ, извѣстное дѣло, не выдадутъ.

— Кто *дороженьку* пѣлъ? кричитъ князь Алексѣй Юрьичъ.

Бѣгаютъ холопи, не могутъ найти.

— Кто *дороженьку* пѣлъ? кричитъ князь. На крыльцо вышелъ, арапникъ въ рукѣ.

Не знаютъ, что доложить, бѣгаютъ, рыщутъ, дознаться не могутъ.

— Кто *дороженьку* пѣлъ?—на все село кричитъ князь Алексѣй Юрьичъ, — сейчасъ передо мною поставить, не то всѣхъ запорю!

Не могутъ найти. Рычитъ князь, словно медвѣдь на рогатинѣ. Ушелъ въ домъ, зеркала звенять, столы трещать.

Старшій дворецкій и холопи всѣ кланяться стали

Васькѣ пѣсеннику: возьми на себя, виноватаго сыскать не можемъ.

Васька себѣ на умѣ, уперся. «Спина-то, говоритъ, моя, не ваша, да еще чего добраго пожалуй и въ прудъ угодишь.» Не желаетъ.

Стали ему кучиться со слезами: дворецкій, молъ, тебя выручить, а на всякій случай вотъ тебѣ десять рублей деньгами. А десять рублей въ старыя годы деньги были большія.

Почесалъ въ затылкѣ пѣсенникъ: и спины жалъ, и съ деньгами разстаться не охота. «Ну, говоритъ, такъ и быть, идемъ. Только смотри же, коль не изъ своихъ рукъ станеть пороть, такъ вы, черти, полегче.»

А тѣмъ временемъ князь распалился безъ мѣры. «Всему холопству, кричитъ, по тысячѣ кошекъ, все пляхетство плетьми задѣру. Да спросить у барышень, онѣ должны знать... Не скажутъ, юбки подыму, розгачами угощу!»

Страхъ смертный. Пикнуть не смѣетъ никто, дышать боятся.

— Кошекъ! зарычалъ. Зычный голосъ по Заборью раздался, и всяка жива душа затрепетала.

— Ведутъ, ведутъ, кричатъ комнатные казачки, за-видѣвъ дворецкаго, а за нимъ гайдуковъ: волочили они по землѣ по рукамъ по ногамъ связаннаго Ваську пѣсенника.

Сѣлъ князь на софу судъ и расправу чинить. Подвели Ваську. Сами ни живы, ни мертвы.

— Ты *дороженьку* пѣлъ? спросилъ у пѣсенника князь Алексѣй Юрьичъ.

— Виноватъ, ваше сіятельство, отвѣчалъ Васька пѣсенникъ.

Замолкъ князь. Помолчалъ маленько и молвилъ:

— Славный голосъ у тебя... Десять рублей ему да кафтанъ съ повументомъ!

IV.

Имянины.

А имянины справлялъ князь на пятый день Покрова. Пяры бывали великіе; недѣли на двѣ либо на три все окружное шляхетство съѣзжалось въ Заборье, губернаторъ изъ Зимогорска, воеводы провинціальныя, генералъ, что съ драгунскими полками въ Жулебинѣ стоялъ, много и другихъ чиновныхъ. Изъ Москвы наѣзжали, иной разъ изъ Питера. Всякому лестно было князь Алексѣя Юрьича съ днемъ ангела поздравить.

Каждому своя комната, кому побольше, кому поменьше: неслужащему шляхетству, смотря по роду, чиновнымъ, глядя по чину. Губернатору флигель особый, драгунскому генералу съ воеводами другой, по прочимъ флигелямъ большіе господа: кому три горницы, кому двѣ, кому одна, а гдѣ по два, по три гостя въ одной, глядя кто каковъ родомъ. А наѣзжее мелкопомѣстное шляхетство и приказныхъ по крестьянскимъ дворамъ развѣдали, а которыхъ въ застольную, въ ткацкую, въ столярную. Тамъ и спать въ повалку.

Съ вечера наканунѣ имянинъ, всенощну служатъ. Тутъ всѣмъ приказъ: у службы быть неотмѣнно. Князь самъ шестопсалміе читаетъ и синаксарь. Зналъ онъ церковный уставъ не хуже монастырскаго канонарха, къ службѣ Божіей былъ не лѣностенъ, къ дому Господню радѣніе

имѣлъ большое. Сколько по церквамъ иконостасовъ надѣлалъ, сколько серебряныхъ ризъ на иконы выковалъ, сколько колоколовъ вылилъ, въ самомъ Заборѣ три каменные церкви соорудилъ.

Ужина не бывало, чтобъ грѣхомъ до утра не забражничаться, обѣдни не проспять бы. Подавали каждому ѣсть, пить въ своемъ мѣстѣ, а хмѣльнаго ставили число невеликое.

На другой день, послѣ обѣдни, всѣ, бывало, поздравлять пойдутъ. Сядетъ князь Алексѣй Юрьичъ во всемъ нарядѣ и въ кавалеріи на софѣ, въ большой гостиной, по правую руку губернаторъ, по лѣвую—княгиня Марѳа Петровна. Большіе господа, съ ангеломъ князя поздравивши, тоже въ гостиной разсядутся: по одну сторону мужчины, по другую женскій полъ. А сѣдѣли по чинамъ и по роду.

Піита съ виршами придетъ — нарочно такого для праздниковъ держали. Звали Семеномъ Титычемъ, былъ онъ изъ поповскаго роду, а стихотворному дѣлу на Москвѣ бучался. Въ первый же годъ, какъ пріѣхалъ князь Алексѣй Юрьичъ на житье въ Заборье, нанялъ его. Привезли его изъ Москвы вмѣстѣ съ карликомъ — тоже рѣдкостный былъ человѣкъ: ростомъ съ восьмигодоваго мальчишку, не больше. Жилъ піита на всемъ на готовомъ, особая горница ему была, а дѣло только въ томъ и состояло, чтобы къ каждому торжеству вирши написать и пастораль сдѣлать. И каждый разъ, передъ дѣломъ, недѣли на три запирали его ради трезвости на голубятню; бывало какъ только вытрезвять, такъ и пойдеть онъ вирши писать да пастораль строить.

Придетъ Титычъ въ гостиную, тоже напудренный, въ шелковомъ кафтанѣ, почнетъ поздравительныя вирши сказывать. Гости слушаютъ молча. А когда отчитаетъ, по-

дать тѣ вирши князю на бумагѣ, а князь ручку дать ему поцѣловать, денегъ пожалуетъ и велитъ напоить Титыча до положенія ризъ, только бы наблюдали, чтобы Богу душу не отдалъ, для того, что человекъ былъ нужный, а пилъ безъ разсужденія. Въ старые годы пінтовъ было число невеликое, найти было ихъ трудно, отъ того и берегъ князь Титыча. Таковъ былъ приказъ: пінту беречь всякими мѣрами и ради потѣхи вреда ему не чинить.

Разъ одного знакома изъ благороднаго шляхетства такъ взодралъ князь за Титыча, что небу стало жарко. Похрысневъ Иванъ Тихонычъ, — было у него дворовъ тридцать своихъ крестьянъ да разбѣжались, оттого и пошелъ на княжіе харчи — съ Титычемъ былъ пріятель закладный: пили, гуляли собща. Насмотрѣлся Иванъ Тихонычъ, каковы въ Заборѣ забавы. И холопы, и шляхетство такъ промежъ себя забавлялись: кого на медвѣдя насунуть, кому подошвы медомъ намажутъ да дадутъ возлу лизать; козелъ-отъ лижетъ, а человекъ щеко́тно, хохочетъ до тѣхъ поръ, какъ глаза подъ лобъ уйдутъ и дышать еле можетъ. Насмотрѣвшись такихъ потѣхъ, Иванъ Тихонычъ подмѣтилъ разъ друга своего во пьяномъ образѣ лежаща, и шутить съ нимъ шуточку, да и шутку-то небольно обидную: ежа за пазуху ему посадилъ. Вскочилъ пінта, заоралъ благимъ матомъ, спьяну да съ просонокъ не можетъ понять, что такое у него подъ рубахой, возится да колетъ. Ровно угорѣлый на дворъ выбѣжалъ, «караулъ! рѣжутъ!» кричить. На грѣхъ самъ князь тутъ случись; узнавъ причину, много смѣяться изволилъ, а Ивана Тихоныча выпоролъ и цѣлый день ежа за пазухой носить приказалъ. — «Ты, говоритъ, знай съ кѣмъ шутишь: Титычъ, говоритъ, тебѣ не пара: онъ

человѣкъ ученый, а ты свинья». Вотъ какъ ученыхъ людей князь почиталъ.

А какъ въ день княжихъ именинъ Семенъ Титычъ изъ гостиной выйдетъ, неважные господа и знакомцы пойдутъ поздравлять, также и приказный народъ. Подходить по чинамъ, и всякому бывало князь Алексѣй Юрьичъ жалуетъ ручку свою цѣловать. Кто поцѣловалъ, тотъ на галерею, а тамъ отъ водокъ да отъ закусокъ столы ломатся.

Чай станутъ подавать, но только большимъ господамъ. Въ стары-то годы чай бывалъ за диковину, и пить-то его умѣли только большаго рангу господа; мелочь не знала какъ и взяться... Давали иной разъ мелкомѣстному шляхетству аль приказнаго чина людямъ, ради потѣхи, позабавиться бы большимъ гостямъ, глядя какъ тотъ съ непривычки глотку станетъ жечь да рожки корчить. Шутовъ, бывало, призовутъ, поредразнивать барина-то прикажутъ, чай у него отнимать, кипяткомъ его ошпарить. Шуты съ бариномъ подерутся, обварятъ его, на полъ повалятъ да мукой обсыплутъ. А какъ назабавится князь, въ шею всѣхъ и велитъ вытолкать.

Пьютъ, бывало, чай въ гостиной: губернаторъ почнетъ вѣдомости сказывать, что въ курантахъ вычиталъ, аль изъ Питера что ему отписывали. Московскіе гости со своими вѣдомостями. Такъ и толкуютъ часъ, другой времени. Приѣзжалъ частенько на именины генералъ-поручикъ Матвѣй Михайлычъ Ситкинъ, — родня князю-то былъ; при дворѣ больше находился, къ Разумовскому бывалъ вхожъ.

— Слышно, говоритъ онъ однажды; — про тебя, князь Алексѣй, что матушка-государыня хочетъ тебя въ Цесарскую землю къ венгерской королевѣ резидентомъ послать.

— И до меня такія вѣдомости, сіятельнѣйшій князь, доходили, примолвилъ губернаторъ, — а когда Матвѣй Михайлычъ изъ самаго дворца матушки-государыни подлинныя вѣдомости привезъ, значитъ онѣ вѣроятія достойны.

И стали всѣ поздравлять князя Алексѣя Юрьича. А у него лицо такъ и просіяло. Помолчалъ онъ и молвилъ:

— Не ѣду.

— Въ умѣ ль ты, князь, али рехнулся? ужаснулся даже генераль-поручикъ, родня-то.

— Сказано не поѣду, такъ значитъ и не поѣду, молвилъ князь Алексѣй Юрьичъ. Пускай меня матушка-государыня смертию казнить; пускай меня въ дальни сибирски города сошлетъ, а въ Цесарскую землю я ни ногой.

А говорилъ онъ такъ ради того, что зналъ роденьку своего Матвѣя Михайлыча: любилъ генераль краснымъ словомъ рѣчь поукрасить, любилъ и похвастаться передъ людьми: я-де при государынѣ нахожусь, всѣ великія и тайныя дѣла до тонкости знаю.

— Да что ты, что ты? сталъ онъ приставать къ князю. — Есть ли резонъ человѣку отъ фортуны отказываться?

Губернаторъ сталъ допытываться, драгунскій генераль, воевода, изъ большихъ господъ два, три человѣка. Другіе не смѣли.

— Какъ же мнѣ возможно ѣхать въ Цесарскую землю? молвилъ наконецъ князь Алексѣй Юрьичъ. — Безъ меня лысый чортъ всѣхъ русаковъ здѣсь затравить, а объ красномъ звѣрѣ лѣтъ пять послѣ того и помину не будетъ.

А лысымъ чортомъ изволилъ звать Ивана Сергѣича Опарина. Баринъ былъ большой, по сосѣдству съ За-

борьемъ вотчина у него въ двѣ тысячи душъ была, въ старые годы послѣ князя Алексѣя Юрьича по всей губерніи былъ первый человѣкъ.

— Не взыщи, князь Алексѣй, подхватилъ Иванъ Сергѣичъ, — всѣхъ перетравлю. Ты тамъ у венгерской королевы резидируй, а я тебѣ мышенка не поквану.

Смѣяться изволилъ князь. И всѣ большіе господа смѣялись, а въ другихъ комнатахъ и на галлерей знакомцы, шляхетство мелкопомѣстное и приказные тоже на тотъ смѣхъ хохотали, хоть къ чему тотъ смѣхъ—и не вѣдали.

— А ты лучше скажи-ка мнѣ, честный отче: подobaетъ ли намъ вотъ это китайское зелье пить? Грѣхъ тутъ нѣтъ ли? спросилъ князь Алексѣй Юрьичъ.

А это онъ тому же Ивану Сергѣичу молвилъ. Звалъ его лысымъ чортомъ, потому что голова у него была на подобіе рыбьяго пузыря, а честнымъ отче, потому что въ старыхъ уставахъ Опаринъ былъ свѣдущъ. Хоть бо-роду и брилъ, а париковъ не надѣвалъ и табаку не курилъ, поставая въ томъ грѣхъ великій. Всю жизнь пробылъ въ нѣтъхъ ¹⁾, пятидесяти лѣтъ недорослемъ писался, и хоть при Петрѣ Великомъ не разъ былъ за то батогами битъ нещадно, но обычай свой снесъ — на службу въ Питеръ не явился. Спервоначалу и нѣмецкаго платья надѣтъ на себя не хотѣлъ, да супруга обрядила. Былъ женатъ на богатой, супруга на ассамблеяхъ упражнялась, нраву была сварливаго, родня у ней знатная, потому мужу битъ себя не соизволила; и онъ у нея изъ рукъ смотрѣлъ. Хоть черезъ великую силу, бородой и охабнемъ супружеской любви поступился. А родитель Ивана Сергѣича, въ прежни годы, съ князьями Мышец-

¹⁾ *Нѣтлами* назывались не явившіеся на службу дворяне.

ними за одно былъ, у раскольниковъ въ Выгорѣцкомъ скитѣ и жизнь скончалъ.

— Нѣтъ ли, говорить ему князь Алексѣй Юрьичъ,— въ этомъ пойлѣ грѣха? Не опоганили ль мы съ тобой, честный отче, душъ своихъ?

— А что жъ въ чаю поганаго? отвѣчаетъ Иванъ Сергѣичъ — не табачище!... Объ чаѣ и въ Соловецкой челобитной не обозначено, стало быть погани въ немъ нѣтъ никакой.

— А видишь ли, честный отче, вычелъ я въ одной французской книгѣ, что когда въ Хинской землѣ чай собираютъ, такъ языческіе тамошніе жрецы богомерзкое свое служеніе на поляхъ совершаютъ и водой идоложертвенной чай на корню кропятъ. А по уставу идоложертвенное употреблять не подобаетъ. Повѣдай же намъ, честный отче, опоганили мы свои души аль нѣтъ?

— А можетъ-статься, на тотъ чай, что мы у тебя пьемъ, богомерзкая-то вода и не попала? молвилъ Иванъ Сергѣичъ, накрывая чашку. — Вотъ тебѣ и скажъ.

— Охъ ты, отвѣтчикъ! крикнулъ князь Алексѣй Юрьичъ, немножко прогнѣвавшись: — все-то у тебя отвѣты. Сказываютъ, что смолodu ты не мало и раскольниковыхъ отвѣтовъ Неофиту писалъ... Правда что ли? молвилъ князь, подмигнувъ губернатору. — Сколько, лысый чортъ, на твою долю поморскихъ отвѣтовъ пришлось написать? Сочти-ка, да скажи намъ.

— Тебѣ бы, князь Алексѣй, цыплятъ по осени считать, а такого дѣла не ворошить. Не при тебѣ оно писано.

— Смотри, лысый чортъ, ты у меня молчи. Не то господина губернатора и владыку святаго стану просить, чтобъ тебя съ раскольниками въ двойной окладъ запи-

сали. Поцеголяешь ты у меня съ желтымъ козыремъ да со значкомъ на вороту.

Хоть и разгнѣвался маленько князь Алексѣй Юрьичъ, но Иванъ Сергѣичъ баринъ былъ большой, попросту съ нимъ раздѣлаться невозможно, самъ сдачи дастъ, у самого во дворѣ шестьсотъ человѣкъ, а кошки да плети не хуже заборскихъ.

На счастье, подъ самое то слово чихнулъ губернаторъ. Встали и поклонъ отдали. Привсталъ и князь Алексѣй Юрьичъ. И всѣ въ одинъ голосъ сказали:

— Салфетъ вашей милости! ¹⁾

А губернаторъ кланяется да приговариваетъ:

— Красота вашей чести!

На ту пору дверь распахнулась, четыре лакея, каждый въ сажень ростомъ, закуску на подносахъ внесли и на столы поставили. Были тутъ сельди голландскія, сыръ нѣмецкій, икра яикская съ лимономъ, икра стерляжья съ перцомъ, балыкъ донской, колбасы заморскія, семга архангелогородская, ветчина вестфальская, сига въ укусу изъ Питера, грибы отварные, огурцы подновскіе, рыжики вятскіе, пироги подоваго дѣла, оладьи и пряженцы съ яйцами. А въ графинахъ водка золотая, водка анисовая, водка зорная, водка кардамонная, водка тминная, — а всѣ своего завода.

Закусываютъ часть, либо два, покамѣстъ всѣ графинны не опорожняютъ, всѣ тарелки не очистятъ, тогда обѣдать пойдутъ.

А въ столовой, на одномъ концѣ княгиня Марѳа Пет-

¹⁾ При дворѣ говорили *салютъ (salut) вашей милости*, въ провинціи *салютъ* переходили въ *салфетъ*. Въ глухихъ городкахъ салфетъ до сихъ поръ водится.

ровна съ барынями, на другомъ князь Алексѣй Юрьичъ съ большими гостями. Съ правой руки губернатору мѣсто, съ лѣвой — генераль-поручику, за ними прочіе, по роду и по чинамъ. И всякъ свое мѣстознай, выше старшаго не смѣй залѣзать, не то шутамъ велятъ стулъ изъ-подъ того выдернуть, алы прикажутъ лакеямъ кушаньемъ его обносить. Кто помельче, тѣ на галлерей ѣдятъ. Тамъ въ иманины человѣкъ пятьсотъ, либо шестьсотъ, обѣдывало, а въ столовой человѣкъ восемьдесятъ, либо сто — не больше.

Подлѣ князя Алексѣя Юрьича, съ одной стороны, двухгодовалого ручнаго медвѣдя посадятъ, а съ другой юродивый Спира на полу съ чашкой сядетъ: босой, грязный, лохматый, въ одной рубахѣ; въ чашку ему всякаго кушанья князь набросаетъ, и перцу, и горчицы, и вина и квасу, всего туда наладетъ, а Спира ѣстъ съ прибавками. Мишку тоже изъ своихъ рукъ князь кормилъ, а послѣ водкой, бывало, напоитъ его до того, что звѣрь и ходить не можетъ.

Въ столовой на серебрѣ подавали, а для князя, для княгини и для генеральства ставились золотые приборы. За каждымъ стуломъ по два лакея, по угламъ шуты, нѣмцы, карлики и калмыки — всѣ подачекъ ждутъ и промежь себя дерутся да ругаются.

Уху, бывало, въ серебряной лохани подадутъ — стерляди такія, какихъ въ нонѣшніи годы и не ловится: отъ глаза до пера два аршина и больше. Осетры — чудо морское. А тамъ еще задъ быка принесутъ, да ветчины окорока три-четыре, да барановъ штуки три, а куръ, индѣекъ, гусей, утокъ, рябковъ, куропадокъ, зайцевъ — всей этой мелкоты безъ счету. Всѣхъ кушаній перемѣнь тридцать и больше, а послѣ каждой перемѣны чарки въ ходъ. Подавали вина ренскія, аликантское,

эрмитажъ и разныя другія, а больше домашнія наливки и меда ставленные. Въ стары годы и такіе господа, какъ князь Алексѣй Юрьичъ, заморскихъ винъ кушали поне-многу, пили больше водку да наливки домашнія и меда. Дорогія вина только въ праздники подавались, и то не всѣмъ: подавать такія вина на галерею въ заведеніи не было. А шампанское вино да венгерское только и пивали въ именины....

Подъ конецъ обѣда, бывало, стануть заздравную пить. Пили ее въ столовой шампанскимъ, въ галереѣ—вишневымъ медомъ.... Начнутъ князя съ ангеломъ поздравлять, «ура» ему закричатъ, пѣвчіе «многая лѣта» започутъ, музыка грянетъ, трубы затрубятъ, на угорѣ изъ пушекъ палить зачнутъ, шуты вокругъ князя кувыркаются, карлики пищать, нѣмые мычать по своему, большіе господа за столомъ пойдутъ на счастье имениннику посуду бить, а медвѣдь реветъ, на заднія лапы поднявшись.

Встанутъ изъ-за стола, княгиня съ барынями на свою половину пойдеть, князь Алексѣй Юрьичъ съ большими господами въ гостиную. Сядутъ. Оглядится князь, всѣ ли гости усѣлись, лишніхъ нѣтъ ли, помолчить маленько, да глядя на старшаго дворецкаго, вполгѣлоса промолвить ему: «Хлѣбъ нашъ насущный даждь намъ днесь.»

Дворецкій парень былъ наметанный, каждый взглядъ князя понималъ. Тѣмчасъ бывало смеянетъ въ чемъ дѣло. Было у князя въ подвалѣ старое венгерское — вино дорогое, страхъ какое дорогое! Когда еще князь Алексѣй Юрьичъ при государынѣ въ Питерѣ проживалъ, водилъ онъ дружбу съ цесарскимъ резидентомъ, и тотъ цесарскій резидентъ изъ своего королевства бочекъ съ пять того вина ему по дружбѣ вывезъ. Пахло ржанымъ хлѣбомъ, оттого князь и звалъ его хлѣбомъ насущнымъ. А подавали то вино изрѣдка.

Принесутъ гайдуки стопки серебряныя, старшій дворецкій разольетъ хлѣбъ насущный. Возьметъ князь Алексѣй Юрьичъ стопку, привстанетъ, къ губернатору обернется; «будьте здоровы» скажетъ и хлебнетъ хлѣба насущнаго. Потомъ опять привстанетъ, генераль-поручика тѣмъ же манеромъ поздравствуетъ и опять хлебнетъ хлѣба насущнаго. И прочихъ также, все по роду и по чину. А кого князь здравствуетъ, тому и прочіе, и привставая кланяются и хлѣба насущнаго прихлебываютъ. А пѣвчіе поютъ многолѣтіе, въ галлереѣ «ура» кричатъ, на угорѣ изъ пушекъ палятъ, трубы, рога, музыка. И питаются бывало хлѣбомъ насущнымъ когда часъ времени, когда и больше.

— Ну, скажетъ, вставая, князь Алексѣй Юрьичъ:— Богъ наплатъ, никто не видалъ, а кто и видѣлъ, тотъ не обидѣлъ. Не пора ль, господа, къ Храповицкому? И птицѣ вольной, и звѣрю лѣсному, не токмо человѣку разумному, присудилъ Господь отдыхать въ часъ полуденный.

И пойдутъ по своимъ мѣстамъ, а князю Алексѣю Юрьичу на балконѣ кресло ужъ поставлено. И станетъ по Забору тишина. Только храпъ слышно... отдыхаютъ...

Соснувъ маленько, зачнутъ къ вечернему балу снаряжаться, и весь домъ станетъ вверхъ дномъ. Господа, барыни и барышни сидятъ въ пудраматахъ, дѣвушки да камердинеры такъ и спуютъ: кто съ робой, кто съ утюгомъ, кто съ фижмами, кто съ камзоломъ глазетовымъ. Въ одномъ мѣстѣ пряжки къ башмакамъ прилаживаютъ, въ другомъ барышню двѣ дѣвки что есть мочи стягиваютъ, въ третьемъ барыни мушки на лицо себѣ лѣпятъ... Къ семи часамъ всѣ готовы и соберутся въ домъ. А тамъ ужъ восковыхъ свѣчей зажжены тысячи, передъ домомъ

и въ саду плошки, по горѣ смоляныя бочки горятъ, а за Волгой, на томъ берегу, костры разложены.

Выйдетъ князь Алексѣй Юрьичъ съ княгиней Мареой Петровной во всемъ парадѣ, и грянетъ музыка. Полонезъ заиграютъ: губернаторъ, въ зеленомъ кафтанѣ на красномъ стамедѣ, въ аломъ камзолѣ, въ большомъ парикѣ, съ кавалеріей черезъ плечо, къ княгинѣ подлетитъ, реверансы другъ другу сдѣлаютъ и пойдутъ. Послѣ того другіе господа, кто барыню, кто барышню поднимутъ и пойдутъ водить полонезъ по заламъ и галлереймъ, и водятъ не малое время. А барынь поднимаютъ и въ полонезъ водятъ также по роду и по чинамъ. Находившись до-сыта, въ боковую галерею пойдутъ «пастораль» смотрѣть. Тамъ подмостки съ декораціей сдѣланы, и какъ гости войдутъ, музыканты итальянскія кантаты играть зачнутъ, и играютъ, покамѣстъ гости по мѣстамъ разсядутся.

Тутъ занавѣска на подмосткахъ поднимется, сбоку выйдетъ Дуняша, ткача Егора дочь, красавица была первая по Заборью. Волосы наверхъ подобраны, напудрены, цвѣтами изукрашены, на щекахъ мушки налѣплены, сама въ помпадурѣ на фижмахъ; въ рукѣ посохъ пастушечій съ алыми и голубыми лентами. Станетъ князя виршами поздравлять, а писалъ тѣ вирши Семенъ Титычъ. И когда Дуня отчитаетъ, Параша подойдетъ, псаря Данилы дочь. Эта пастушкомъ наряжена: въ пудрѣ, въ штанахъ и въ камзолѣ. И станутъ Параша съ Дунькой виршами про любовь да про овечекъ разговаривать, сядутъ рядкомъ и обнимутся... Недѣли по четыре дѣвокъ, бывало, тѣмъ виршамъ съ голосу Семенъ Титычъ училъ—были неграмотны. Долго, бывало, маются, сердечныя, да какъ разъ пятокъ ихъ для понятія выдерутъ, выучатъ твердо.

Андрюшку поваренка сверху на веревкахъ спускать. Мальчишка былъ бойкій и проворный,—грамотѣ самоуч-

кой обучился. Бога Феба онъ представлялъ, въ аломъ кафтанѣ, въ голубыхъ штанахъ съ золотыми блестками. Въ рукѣ доска прорѣзная, золотой бумагой оклеена, прозывается лирой, веругъ головы у Андрюшки золочены проволоки натканы, въ родѣ сіянія. Съ Андрюшкой девять дѣвокъ на веревкахъ бывало спустать: напудрены всѣ, въ бѣлыхъ робронахъ, у каждой въ рукахъ нужная вещь, у одной скрипка, у другой святочная харя, у третьей зрительна трубка. Подъ музыку стихи пропоютъ, князю вѣнокъ подадутъ, а плели тотъ вѣнокъ въ оранжереѣ изъ лавроваго дерева.

И такой пасторалью всѣ утѣшены бывали. Велитъ иной разъ князь Алексѣй Юрьичъ позвать къ себѣ Семена Титыча, чтобъ изъ своихъ княжихъ рукъ подарокъ ему пожаловать, но никогда его привести было невозможно, каждый разъ не годился и въ своей горницѣ за замкомъ на привязи сидѣлъ. Неспособенъ, царство ему небесное, во хмѣлю бывалъ.

Опять полонезъ заиграютъ, господа въ большую залу пойдутъ. Тутъ Матвѣя Михайлыча—генераль-поручика—маршаломъ сдѣлаютъ, княгиня Марѳа Петровна букетъ цвѣтовъ пожаловать ему изволить. Приколетъ онъ тѣ цвѣты къ кафтану и зачнетъ танцами распорядиться. Сперва минуютъ танцуютъ, кланяются, реверансы дѣлаютъ, къ сердцу руки прижимаютъ, на разлетъ ими отмахиваютъ, а барышни присѣдаютъ, на сторонку перегибаются и вѣрѣ тихонько поднимаютъ. Послѣ минуэта манимаску начнутъ, а тамъ матрадуръ, гавотъ и другіе танцы. Чуть не до полночи, бывало, промаются.

Въ перемежку танцевъ подавали: воду брусничную, грушевку, сливянку, квасъ яблочный, квасъ малиновый, питье миндальное. Заѣдки всякія, бывало, разносили: конфеты, марципаны, цукаты, сахара зеренчатые, варенье

инбирное индѣйскаго дѣла; изъ овощей—виноградъ, яблоки, да разныя овощи полосами: полоса дынная, полоса арбузная, да ананасная полоса невеликая. Дынную да арбузную всѣмъ подають, ананасную не всякому, потому что вещь рѣдкостная, не всякому гостю по губамъ придется.

А въ другихъ комнатахъ столы разставлены, на нихъ въ форо да въ квинтичъ играютъ: червонцы изъ рукъ въ руки такъ и переходять, а выигрываетъ, бывало, всегда больше всѣхъ губернаторъ. Другіе кости мечуть, въ шахматы играютъ—кому что больше съ руки. А межъ игрой пунши да взварцы пьютъ, а лакеи то и дѣло водеу да закуски разносятъ.

Вечерній столъ бывалъ не великій: кушанье въ десять, либо двадцать—не больше, за то напитковъ вдоволь. Пьютъ, другъ отъ дружки не отставая, кто откажется, тому князь прикажетъ вино на голову лить. А какъ послѣ ужина барыни да барышни за княгиней уйдутъ, а потомъ и изъ господъ кто чиномъ помельче аль годами помоложе по своимъ мѣстамъ разойдутся, отправится князь Алексѣй Юрьичъ въ павильонъ, и съ собой гостей человекъ пятнадцать возьметъ. И пойдетъ тамъ кутежъ на всю ночь до утра. Только что войдутъ туда князь Алексѣй Юрьичъ и кафтанъ и камзолъ долой, гости тоже. Сперваначалу кипрскимъ виномъ серебряную дѣдовскую яндову нальютъ, «чарочку» запоютъ и пустятъ яндову въ круговую. Не то попарно, какъ гребцы въ лодкѣ, на полъ усядутся, «*внизъ по матушкѣ по Волгѣ*» затянутъ и орутъ себѣ что есть мочи. А запѣвалой самъ князь Алексѣй Юрьичъ.

— Нѣтъ, скучно такъ, ребята, скажетъ, бывало, богинь, богинь сюда съ Парнаса!

И влетятъ богини: Дуняша, Параша, Настенька, Ма-

шенька, Грушенька, девять сестеръ, что въ пасторали были, да еще сколько нужно на придачу по числу гостей. Всѣ разряжены: которая въ пудрѣ и робронѣ, ровно барышня, которая въ сарафанѣ, а больше такъ, какъ въ павильонахъ на стѣнахъ писано.

Красавицы-то были какія! Хотѣ бы Дуню взять. Бѣленькая, крѣпонькая, черные глазенки въ душу такъ и смотрятъ. Пойдетъ плясать: старикъ растаетъ, на нее глядя! Бубенъ въ руку; вверхъ его надъ головой вскинетъ, обведетъ всѣхъ глазами, топнетъ ножкой да вольной птичкой такъ и запорхаетъ, а сама вся, какъ змѣйка изгибается, отъ сердечной истомы щеки пышутъ, глазки горятъ, а ротикъ раскрытъ у голубушки... Настенька опять — дѣвочка славная, кровь съ молокомъ, голосокъ соловьиный. Войдетъ, въ сарафанѣ алаго бархату, въ кружевныхъ рукавахъ, на головѣ золотая повязка, коса у Настеньки по колѣна, — на кого ни взглянетъ, рублемъ подарить, слово кому скажетъ, мурашки у того по всѣму тѣлу забѣгаютъ... Или Груша опять!... Машенька!... На подборъ были собраны красавицы, а выбирались изъ цѣлой вотчины. Все-то состарѣлось а состарѣвшись, примерло!...

Заря въ небѣ зарумянится, а въ павильонѣ пѣсни, плясъ да попойка. Воеводы, Матвѣй Михайлычъ, драгунскій, Иванъ Сергѣичъ, губернаторъ и другіе большіе господа кто пляшетъ, кто поетъ, кто чару пьетъ, кто съ богиней въ уголку сидитъ... Самъ князь Алексѣй Юрьичъ напоследокъ съ Дуняшей казачка пойдетъ.

— Эй вы, Римляне!... крикнетъ подъ конецъ.—Похищай Сабиняновъ, собаки!

И схватить каждый гость по дѣвочкѣ: кто посильнѣй,

тотъ на плечо красоточку взвалить, а кто въ охапку ее...
А князь Алексѣй Юрьичъ станетъ средъ комнаты, да ту,
что приглянулась, перстикомъ къ себѣ и поманить... И
разойдутся.

Тѣмъ имянины и кончатся.

V.

Въ монастырѣ.

Охоту больше на краснаго звѣря князь Заборовскій любилъ. Обложили медвѣдя, готовъ на край свѣта скакать. Лѣса были большіе, лѣсничихъ въ поминѣ еще не было, оттого не бывало и порубокъ; въ лѣсной гущинѣ всякаго звѣря много водилось. Рѣдкую зиму двухъ десятковъ медвѣдей не поднимали.

Только станеть зима, человѣкъ сорокъ пошлютъ берлоги искать. Опрichъ того, мужики по всей окружности знали, какое жалованье за медвѣдя князь Алексѣй Юрьичъ даетъ, отъ того бывало каждый, кто про медвѣдя ни провѣдаетъ, вѣсти приносить въ нему. А сохрани, бывало, Господи, ежели кто безъ него осмѣлится медвѣдя поднять!— Не родись на свѣтъ тотъ человѣкъ!...

Самъ любилъ мишку повалить. Таковъ приказъ у него былъ: «бей медвѣдя, коли драть тебя станеть, аль подъ себя подберётъ,—до тѣхъ поръ тронуть его не мочи».

Изъ ружья рѣдко бивалъ, не жаловалъ князь ружейной охоты, больше все съ ножомъ да съ рогатиной.— Надобно жъ, говорить бывало, Михайлу Иванычу, господину Топтыгину, передъ смертнымъ часомъ дать позабавиться; что толку пулей его свалить, изъ ружья бей со-

року, бей ворону, а съ мишенькой весело силкой помѣяться!

Сороковаго билъ изъ ружья. Сороковой медвѣдь — дѣло не простое, рѣдкому счастливо сходитъ онъ съ рукъ — любитъ сороковой безъ костяной шапки оставить.

А всего медвѣдей сто, коль не больше, повалилъ князь Алексѣй Юрьичъ въ приволжскихъ краяхъ, и все ножомъ да рогатиной. Не разъ и мишка топталъ его. Разъ бедро чуть не выѣлъ совсѣмъ, въ другой, подобравъ подъ себя, такъ зачалъ ломать, что князь закричалъ неблагимъ матомъ, и какъ медвѣдя порѣшили, такъ князя чуть живаго подняли, и до саней на шубѣ несли. Шесть недѣль хворалъ, думали, жизнь покончить, но Богъ помиловалъ.

Берлогу отыщутъ, звѣря обложатъ. Станетъ князь противъ выхода. Правая рука ремнемъ окручена, ножикъ въ ней, въ лѣвой — рогатина. Въ сторонѣ стануть охотники, кто съ ружьемъ, кто съ рогатиной. Поднимутъ мишку, полѣзетъ косматый старецъ изъ затвора, а снѣгъ-отъ у него надъ головой такъ столбомъ и летить.

И приметъ князь лѣснаго барина по-холопски, рогатиной припретъ его куда слѣдуетъ покрѣпче. Тотъ разозлится да на него, а князь сунетъ ему руку въ раскрытую пасть да тамъ ножомъ и пойдетъ работать. Тутъ-то вотъ любо, бывало, посмотрѣтъ на князя Алексѣя Юрьича — богатырь, прямой богатырь!...

А по осени, какъ въ отѣѣзжее поле соберутся, недѣль по шести бывало, полкуютъ, провинціи по двѣ объѣзжали. Выѣдетъ князь Алексѣй Юрьичъ, какъ солнце пресвѣтлое: четыреста при немъ псарей съ борзыми, ста полтора съ гончими, знакомцевъ да мелкопомѣстныхъ челоувѣкъ во семьдесятъ, а большіе господа — тѣ со своими охотами. Одинъ Иванъ Сергѣичъ Опаринъ пріѣдетъ, бывало, такъ

сворь восемьдесятъ съ собой приведетъ... Народу видим о невидимо. Двинутся, въ рога тотчасъ, и такой трубный гласъ пойдетъ, что просто ума помраченье. А за охотой на подводахъ припасы везутъ, повара тамъ, конюхи, шуты, дѣвки, музыканты, арапы, калмыки и другой народъ всякаго званія!

Дадутъ поле—тотчасъ на привалъ. А у каждого человѣка фляжка съ водкой черезъ плечо, потому къ привалу-то всѣ маленько и на-готовѣ. Разложатъ на полѣ костры, пойдетъ стряпня рукава стряхня, а средъ поля шатерь раскинутъ, возлѣ шатра боченокъ съ водкой, ведеръ въ десять.

— Съ полемъ! — крикнетъ князь Алексѣй Юрьичъ, сядетъ верхомъ на боченокъ, нацѣдитъ ковшъ, выпьетъ сколько душа возьметъ, да изъ того жъ ковша и другихъ почнетъ угощать, а самъ все на боченкѣ верхомъ.

— Съ полемъ, честной отче! — крикнетъ Ивану Сергѣичу. Подойдетъ Иванъ Сергѣичъ, князь ему ковшикъ подастъ.

— Будь здоровъ, князь Алексѣй, съ чады, съ домо-чадцы и со всѣми твоими псами борзыми и гончими — молвитъ Иванъ Сергѣичъ и выпьетъ.

— Цѣлуй меня, лысый чортъ.

И цѣлуются. А князь все на боченкѣ верхомъ. По одному каждого барина къ себѣ подзываетъ, съ полемъ поздравляетъ, изъ ковша водкой поить и съ каждымъ цѣлуется. Послѣ большихъ господъ, мѣлкопомѣстное шляхетство подзываетъ, потомъ знакомцевъ, что у него на харчахъ проживали.

А для подлаго народу въ сторонкѣ сорокоуша готова. Народу не мало, а винцо всякому противно, какъ нищему гривна: по маломъ времени бочку опростають.

Ковры на полянѣ разстелятъ, господа обѣдать на

нихъ усядутся, князь Алексѣй Юрьичъ въ серединѣ. Сначала о полѣ рѣчь ведутъ, каждый собакой своей похваляется, объ лошадяхъ спорятъ, про прежніе случаи рассказываютъ. Одинъ хорошо сморозить, другой лучше того, а какъ князь начнетъ, такъ всѣхъ за поясъ затенетъ... Иначе и быть нельзя; испоконъ вѣку заведено, что самый праведный человѣкъ на охотѣ что ни скажетъ, то совретъ.

— Нѣтъ,— молвилъ князь Алексѣй Юрьичъ,— вотъ у меня лошадь была, такъ ужъ конь. Аргамакъ персидскій, настоящій персидскій. Кабинетъ-министръ Волинскій, когда еще въ Астрахани губернаторомъ былъ, въ презентъ мнѣ прислалъ. Видѣлъ ты у меня его, честный отчетъ?

— А какой же это аргамакъ? Что-то не помню я у тебя, князь Алексѣй, такого.

— Э! нашелъ я спросить кого, точно не знаю, что ты до сѣдыхъ волосъ въ недоросляхъ состоишь и Питера, какъ чортъ ладону боишься.... Такъ вотъ аргамакъ былъ. Каковы были кони у герцога Курляндскаго, и у того такого аргамака не было. Приставалъ не одинъ разъ Курляндчикъ ко мнѣ, подари да подари ему аргамака, а не то бери за него сколько хочешь.

— Что же, продали, князь?—спросилъ Суматовъ, Сергѣй Осипычъ, тоже баринъ большой.

— Эхъ ты, голова съ мозгомъ! Барышникъ что ли я конскій, аль цыганъ какой, что стану лошадьми торговать? Въ Курляндскомъ герцогствѣ тридцать четыре мызы за аргамака мнѣ владѣющій герцогъ давалъ, да я и то не уступилъ. А когда регентомъ сталъ, фельдмаршаломъ хотѣлъ меня за аргамака того сдѣлать,—я не отдалъ.

— Ну ужъ и фельдмаршаломъ! — усмѣхнулся Иванъ Сергѣичъ.

— Да ты молчи, лысый чортъ, коли тебя не спрашиваютъ. Знаешь, что во многоглаголаніи нѣсть спасенія, потому и молчи... Просидѣлъ вѣкъ свой въ деревнѣ, какъ тараканъ за печью, таѣъ тебѣ все въ диковину... Что за невидадь такая фельдмаршалъ?... Не Богъ знаетъ что!... Захотѣлъ бы фельдмаршаломъ быть, двадцать бы разъ былъ. Не хочу да и все.

— Полно-ка ты, князь Алексѣй. Ну, что городишь? Слушать даже тошно.... Ну какъ бы ты сталъ полки-то водить, когда ни въ единой баталіи не былъ?

— Ври да ни завирайся, честный отче!—крикнетъ на то князь Алексѣй Юрьичъ.—Какъ я въ баталіяхъ не бывалъ?.. А Очаковъ-отъ кто взялъ? А при Гданскѣ кто викторію получилъ?.. Не бойсь, Миннихъ, по твоему? Какъ же!.. Взять бы ему безъ меня двѣ воклюшки съ половиной!.. Принялъ только на себя, потому что хитеръ нѣмецъ, вездѣ умѣетъ пролѣзть... А я человѣкъ простой, вязаться съ нимъ не захотѣлъ. Ну, думаю себѣ, Богъ съ тобой, обидѣлъ ты меня, да вѣдь Господь терпѣлъ и намъ повелѣлъ.... И отлились же волку овечьи слезки! теперь проклятый нѣмецъ въ Целымѣ съ ледяными сосульками воюетъ, а мы вотъ гуляемъ да краснаго звѣря травимъ!... Да!

И подвернись на грѣхъ Постромбинъ, Петръ Филипычъ, изъ мѣлопомѣстныхъ. Служилъ въ полкахъ, за ранами уволенъ отъ службы. Вступись онъ за Миниха—подъ командой у него прежде служилъ.

Какъ вскочить князь Алексѣй Юрьичъ, пѣна у рта.

— Ахъ ты шельмецъ!—закричалъ.—Смѣешь ротъ поганный распускать... Эй, вы!.. Вздуть его!

Выпилъ ли черезчуръ Петръ Филипычъ, азартъ ли такой нашелъ на него, только какъ кинется онъ на князя, цапъ за горло, подъ себя, да и ну валять на обѣ корки.

— Смѣешь ты, говорить, честнаго офицера шельмомъ обзывать!.. Похвальбишка ты паскудный!.. Да я самъ, говорить, тебя вздую.

И вздулъ.

А князь:—Полно, полно, Петръ Филипычъ... Больно, вѣдь!... Перестань... Лучше выпьемъ!.. Я вѣдь пошутилъ, ей-богу пошутилъ.

И съ той поры пріятели сдѣлались. Водой не разольешь.

Найдутъ, бывало, на вотчину Петра Алексѣича Муранскаго. Баринъ богатый, домъ полная чаша, но былъ человекъ не веселый, въ болѣзни да въ немощахъ все находился. А съ молоду «скосыремъ» слылъ и, живучи въ Питерѣ, на ассамблеяхъ и банкетахъ такъ шпынялъ ¹⁾ большихъ господъ, барынь и барышень, что всѣ рѣчей его пуще огня и чумы боялись. Съ Минихомъ подъ туркой былъ, подъ Очаковымъ его искалѣчили, не годенъ на службу сталъ и отпросился на покой. Пріѣхалъ въ деревню и ровно переродился. Былъ одинокъ, думали женится, а онъ въ святость пустился: духовныя книги зачалъ читать, и хотъ не монахъ, а жизнь не хуже черноризца повелъ. Много добра творилъ, бѣднымъ при жизни его хорошо было: только все это узналось лишь послѣ кончины его, для того, что милостыню творилъ тайную. И такой былъ мудреный человекъ, что всѣмъ на удивленье! Была псарня, на охоту не ѣздилъ; были музыканты, при немъ не играли; ни пировъ, ни банкетовъ не дѣлалъ; самъ никуда, кромѣ церкви, ни ногой, и холопамъ никакого удовольствія ни дѣлалъ, ни поилъ ихъ, ни бражничалъ съ ними... И что же? И господа, и холопы какъ отца роднаго любили его. Не даромъ князь

¹⁾ Шпынять — подсмѣиваться, острить.

Алексѣй Юрьичъ «чудотворцемъ» его называлъ. А другіе колдуномъ считали Муранскаго.

Къ нему, бывало, охотой двинутся. Таборъ-отъ въ полѣ останется, а князь Алексѣй Юрьичъ съ большими господами, съ шляхетствомъ, съ знакомцами къ Петру Алексѣичу въ Махалиху, а всего поѣдетъ человѣкъ двадцать не больше. Петръ Алексѣичъ приметъ гостей благодушно, выйдетъ изъ дому на костыляхъ и сядетъ съ княземъ рядышкомъ на крылечкѣ. Другіе отдаля—и ни гугу.

— Ну, чудотворецъ, — скажетъ бывало князь Алексѣй Юрьичъ, — мы къ тебѣ заѣхали потрапезовать: припасы свои, нынче вѣдь пятница, опричь луку да квасу у тебя, чай, нѣтъ ничего. Благослови на мясное ястіе и хмѣльное питіе!.. Эй, ты, честный отче!... Лысый чортъ!.. Куда запропастился?

А Иванъ Сергѣичъ чиннымъ шагомъ выступаетъ съ задворка, ровно утка съ боку на бокъ переваливается. Маленькій былъ такой, да пузатенькій.

— Здравствуйте, говоритъ, государь мой, Петръ Алексѣичъ. Какъ васъ Господь Богъ милуетъ? Что ты, князь Алексѣй, меня 'кликалъ? Аль заврался въ чемъ-нибудь, такъ на выручку я тебѣ понадобился?

— Я те заврусь!.. У меня, лысый чортъ, ухо востро держи. Проси-ка вотъ лучше у чудотворца на трапезу благословенья... Эхъ! да вѣдь у меня изъ памяти вонъ, что ты, честный отче, раскола держишься — самъ сегодня ради пятницы, поди, на сухаряхъ пробудешь? Нельзя скороматины — выгорецкіе отцы не благословили.

И пойдутъ перекоряться, а Петръ Алексѣичъ молчитъ, только ухмыляется.

— Пошпынай ты его хорошенько, пошпынай лысаго-то чорта — скажетъ князь Алексѣй Юрьичъ, — вспомни старину,

чудотворецъ!.. Помнишь, какъ, бывало, на банкетахъ у графа Вратиславскаго всѣхъ шпынялъ.

— Полно-ка, миленькій князь,—отвѣтилъ Петръ Алексѣичъ. — Мало ль чего бывало? Чтѣ было голубчикъ, то былью поросло. А обѣдъ вамъ готовъ; ждалъ вѣдь я гостей-то... Еще третьяго дня пали слухи, что ты съ собаками ко мнѣ въ Махалиху ѣдешь. Милости просимъ.

— Ну, вотъ за это спасибо, чудотворецъ. Погребѣ-то вели отпереть, не то вѣдь—народъ у меня озорной, разбойникъ на разбойникѣ. Неровенъ часъ: сами двери вонъ—да безъ угощенья, чтѣ ни есть въ погребу, и выхлѣбають. Не вводи бѣдныхъ во грѣхъ — отдай ключи.

— Охъ, проказникъ, проказникъ, миленькій мой князьничка! — съ усмѣшкой промолвить Петръ Алексѣичъ. — Чтѣ съ тобой дѣлать!.. Пахомычъ!

Подойдетъ ключникъ Пахомычъ.

— Отдай княжимъ людямъ ключи отъ втораго что ли погребѣ. Пускай утѣшаются. Да молви дворецкому: гости, молъ, ѣсть хотять.

Изъ табора нагрянуть и выпьютъ весь погребъ. А въ погребѣ сорокоуша пѣннаго да ренское, наливки да мѣды. А погребовъ у Муранскаго было съ десятокъ.

Посередъ Заборья, въ глубокомъ, поросшемъ широколистнымъ лопушникомъ оврагѣ течетъ въ Волгу рѣчка Вишенка. Лѣтомъ воды въ ней немного, а весной, когда въ верховьяхъ мельничные пруды спустятъ, бурлитъ та рѣчонка не хуже горнаго потока, а если отъ осенняго паводка сорветъ плотины на мельницахъ, тогда ни одного моста на ней не удержится, и на день или на два нѣтъ черезъ нее ни перехода, ни переѣзда.

Разъ, напировавшись у Муранскаго, взявши послѣ того еще поля два либо три, князь Алексѣй Юрьичъ домой возвращался. Гонца напередъ послалъ, было бѣ въ Заборѣ къ ночи сготовлено все для приѣма большихъ господъ, мелкаго шляхетства и знакомцевъ, было бѣ чѣмъ накормить, напоить и гдѣ спать положить псарей, доѣзжачихъ, охотниковъ.

Вѣтеръ такъ и рветъ, косой, холодный дождикъ такъ и хлещетъ, тьма—зги не видно. Подѣзжаютъ къ Вишенкѣ —плотины сорваны, мосты снесены, нѣтъ пути ни конному, ни пѣшему. А за рѣчкой, на угорѣ, привѣтнымъ свѣтомъ блещутъ окна дворца Заборскаго, а на тѣво, надъ полемъ, зарево стоитъ отъ разложенныхъ костровъ. Вкругъ тѣхъ костровъ псарямъ, доѣзжачимъ, охотникамъ пировать сготовлено.

Подѣзжаетъ стремянной, докладываетъ: «нѣтъ переѣзду!...»

— Броду!—крикнулъ князь.

Стали броду искать — трое потонуло. Докладываютъ...

— Броду!..—крикнулъ князь зычнымъ голосомъ.— Не то всѣхъ перепорю до одинаго! И всѣ присмирѣли, лишь вой вѣтра, да шумъ разъяреннаго потока слышны были.

Еще двоихъ водой снесло, а броду нѣтъ.

— Бабы!...—кричитъ князь.—Такъ я же вамъ самъ бродъ сыщу!

И поскакалъ къ Вишенкѣ. Нагоняетъ его Опаринъ, Иванъ Сергѣичъ, говоритъ:

— Ты богатырь, то всѣмъ извѣстно... Ты перескочишь, за тобой и другіе... Кто не потонетъ, тотъ переѣдетъ.. А собаки-то какъ же? Надо вѣдь всѣхъ погубить. Хоть Пальму свою пожалѣй.

А Пальма была любимая сука князя Алексѣя Юрьича — подаренье пріятеля его, Дмитрія Петровича Палецкаго.

— Правду сказалъ, лысый чортъ, — молвилъ князь, остановивъ коня. — Что жъ молчалъ?... Пятеро вѣдь потонуло!... На твоей душѣ грѣхъ, а я тутъ ни при чемъ.

Поворотилъ коня, стегнулъ его изо всей мочи и крикнулъ:

— Въ монастырь!...

А монастырь рядомъ, на угорѣ. Былъ тотъ монастырь строенье князей Заборовскихъ, тутъ они и хоронились; князь Алексѣй Юрьичъ въ немъ епитимомъ былъ, безъ воли его архимандритъ пальцемъ двинуть не могъ. Богатый былъ монастырь: отъ ярмонки большіе доходы имѣлъ, отъ епитима много денегъ и всякаго добра получалъ. Церкви старинныя, каменные, большія, иконостасы золоченой рѣзбы, иконы въ серебряныхъ окладахъ съ драгоценными камнями и жемчугами, колокольня высокая, колоколовъ десятковъ до трехъ, большой въ двѣ тысячи пудъ, ризъ парчевыхъ, газетовыхъ, бархатныхъ, дородоровыхъ множество, погреба полнехоньки винами и запасами, конюшни конями — доброѣзжими, скотный дворъ воровами холмогорскими, птичный — курами, гусями, утками, цесарками.

А порядокъ въ монастырѣ не столько архимандритъ, сколько князь держалъ. Чуть кто изъ братіи задуритъ епитимю его на конюшню. Чиновъ не разбиралъ: будь послушникъ, будь расофоръ, будь соборный старецъ — всякъ ложись, всякъ подѣломъ принимай воздаянье. И было въ Заборскомъ монастырѣ благостроение, и славились старцы его велимъ благочестіемъ.

Только что рѣшилъ князь въ монастырѣ ночлегъ держать, трое вершниковъ поскакали архимандрита повѣстить. Звонъ во всѣ колокола поднялся...

Подѣхали. Святые ворота настежь, келарь, казначей, соборные старцы въ длинныхъ мантияхъ, по два въ рядъ.

По сторонамъ послушники съ фонарями. Взяли келарь съ казначеемъ князя подъ руки, съ пѣніемъ и колокольнымъ звономъ въ соборъ его повели. За нимъ большіе господа, шляхетство, знакомцы. Псарі, доѣзжачіе, охотники по широкимъ монастырскимъ дворамъ костры разложили—отецъ казначей бочку имъ выкатилъ. Грѣются, Христось съ ними, подъ кровомъ святой обители Воздвиженія честнаго и животворящаго креста Господня... А собаки вокругъ нихъ тутъ же отдыхаютъ, чуя монастырскую овсянку. Отецъ экономя первымъ дѣломъ распорядился на счетъ собачьяго ужина... Зналъ старецъ преподобный, сколь милы были псы сердцу вѣтора честнаго обители... Оттого и заботился...

Въ церкви князя встрѣтилъ архимандритъ соборный, въ ризахъ, съ крестомъ и святою водой. Молебень отпѣли, къ иконамъ приложились, въ трапезу пошли. И тамъ далеко за полночь куликали.

Размѣстились гости, гдѣ кому слѣдовало, а князь съ архимандритомъ въ его кельѣ легъ. Наступилъ часъ полуночный, вѣтеръ въ трубѣ воетъ, желѣзными ставнями хлопаетъ, по крышѣ свиститъ. Говоритъ князь шопотомъ:

— Отче архимандритъ!.. Отче архимандритъ!.. Спишь али нѣтъ?..

— Не сплю, ваше сіятельство. А вамъ что требуется?

— Страхъ что-то беретъ!... Что это воетъ?...

— Вѣтеръ, — говоритъ архимандритъ.

— Нѣтъ, отче преподобный, не вѣтеръ это, другое что-нибудь.

— Чему же другому-то быть? отвѣчаетъ архимандритъ. Помилуйте ваше сіятельство! Что это вы?

— Нѣтъ, отче святой, это не вѣтеръ... Слышишь, слышишь?..

— Слышу... Собаки завывли.

— Цыцъ, долгогривый!.. Собаекъ тутъ нашель!... Слышишь?.. Душа Палецкаго воетъ... Зналъ ты Палецкаго Дмитрія Петровича?

— Развѣ могутъ души усопшихъ выть? — молвилъ архимандритъ.

— Этого не говори... Не говори, отче преподобный... Мало ль что на свѣтѣ бываетъ!.. Это Палецкій!.. Онъ воетъ!.. Слышишь? Упокой, Господи, душу усопшаго раба твоего Дмитрія... Страшно, отче святой!... И лампадка-то у тебя тускло горитъ... Зажги свѣчу!..

— Зажгу, пожалуй, — молвилъ архимандритъ. — Да полноте, ваше сіятельство. Какъ это не стыдно и не грѣхъ?

— Толкуй тутъ, а я знаю... Это меня зоветъ Палецкій... Скоро, отче, придется тебѣ хоронить меня.

— Что это вамъ на умъ пришло? — говорятъ архимандритъ. — Конечно, памятованіе о смертномъ концѣ спасительно, да вѣдь и суетвѣріе грѣховно... Ужъ если о смерти помышлять, такъ лучше бы вашему сіятельству о своихъ дѣлахъ подумать.

— А что мои дѣла?.. Какія дѣла?.. Укралъ что ли я у кого?... Позавидовалъ кому?.. Аль мало вкладовъ даю тебѣ на монастырь, подлая твоя душа, безстыжіе поповскіе глаза!... Нѣтъ, братъ, шалишь!.. На этотъ счетъ я спокоенъ, надѣюсь на Божіе милосердіе... А все-таки страшно...

— То-то страшно: страшень-то грѣхъ, а не смерть... Такъ-то, ваше сіятельство, — молвилъ архимандритъ.

— Привязался, жеребьячья порода, съ грѣхами, что банный листъ! И говорить-то съ тобой нельзя. Тотчасъ почнетъ городить чортъ знаетъ что... Давай спать, я и свѣчку потушу.

— Спите съ Богомъ, почивайте, покойной ночи вашему сіятельству, — проговорилъ архимандритъ.

Замолчали, и вѣтеръ маленько стихъ. А князь Алексѣй Юрьичъ все вздыхаетъ, все на постели ворочается. Опять завылъ вѣтеръ.

— Что это все воздыхаете, ваше сіятельство?—спросилъ архимандритъ.

— О смертномъ часѣ, отче святой, воздыхаю!... Слышишь?... Слышишь?... Упокой, Господи, душу раба твоего Димитрія!... Его голосъ!...

— Да это собака завyla.

— Собака?... Да.., да... собака, точно собака... Только постой!... погоди!... Пальма—ея голосъ... А Пальма Палецкаго подаренье... это — она его душу чувствуетъ, ему завываетъ... А это?... Да воскреснетъ Богъ и расточатся врази его!... Это что?... Собака по твоему, собака?

— Вѣтеръ въ трубѣ.

— Вѣтеръ!... Хорошъ вѣтеръ!... Упокой, Господи, душу раба твоего Димитрія!... Хорошій былъ человѣкъ, славный былъ человѣкъ, любилъ я его, душа въ душу мы съ нимъ жили... Еще въ Петербургѣ пріятелями были, у князь Михайлы ознакомились, когда князь Михайло во временій былъ. Обоимъ намъ за одно дѣло и въ деревни велѣно.... Все, бывало, вмѣстѣ съ нимъ... Охъ, Господи!... Страшно, отче святой!..

— Полноте, ваше сіятельство, перестаньте.... Вы бы перекрестились да молитву сотворили. Отъ молитвы и страхъ, и ночное мечтаніе яво дымъ исчезаютъ... Такъ-то.

— Молюсь... молюсь, отче преподобне... Прости, Господи, согрѣшенія мои, вольная и невольная... Опять Пальма!.. Чуетъ, шельма, стараго хозяина!.. Яже словомъ, яже дѣломъ, яже вѣдѣніемъ и невѣдѣніемъ!.. Видишь ли, отче, когда умиралъ Димитрій Петровичъ, царство ему небесное, при немъ я былъ.... И онъ, голубчикъ, взялъ меня за руку, да и говоритъ: «не хорошо, князинея, мы съ

тобой жили на вольномъ свѣтѣ, при смерти вспомнишь меня»... Да съ этимъ словомъ застоналъ, потянулся, глядь—не дышетъ... Охъ, Господи!.. Чу!... Поминаетъ, что смерть подходитъ ко мнѣ... Слышишь, отче?..

— Одно суевѣріе, — сказалъ архимандритъ. — Предназначеніямъ вѣры давать не повелѣно.... Кто имъ вѣритъ—духу тьмы вѣритъ... Пустяками вы себя пугаете.

— У тебя все пустяки!.. Нѣтъ, отче святой, разумѣю азъ, грѣшный, близость кончины: предо мной стоитъ... Слышишь?.. Скоро предамся червямъ на съѣденіе, а душу невѣдомо како устроить Господь.

— Да отчего это вамъ въ голову пришло?

— Мало ль отчего?... И Палецкій воетъ, и Пальма воетъ, и сны такіе вижу... Сказано въ писаніи: «старцы въ соніяхъ видятъ». У пророка Іоила сказано то! А мнѣ седьмой десятокъ, стало-быть я старецъ... Старецъ вѣдь я, старецъ?

— Дѣло не молодое, — молвилъ архимандритъ.

— Такъ видишь ли: «старцы въ соніяхъ видятъ». А чтó я вечеръ во снѣ видѣлъ?... Съ Машкой скотницей вѣнчался... Видѣть во снѣ, что вѣнчаешься—смерть.

— Полноте, грѣховодникъ вы этакой!

— Тебѣ все полно, да полно! Не тебѣ, чернохвостнику, въ гробъ-отъ ложиться.. А это по твоему тоже «полно», что намедни Діанка тринадцатю оценилась? Да еще одного трехпалаго принесла, самъ борзой, щипецъ ровно у гончей, и безъ правила. Это по твоему тоже ничего?

— Не повелѣно, ваше сіятельство...

— Да ты молчи, коль я съ тобою говорю, чортъ ты этакой!... По твоему и это ничего, что нынѣшняго года въ самое мое рожденіе, зеркало въ гостиной у меня лопнуло.

— Слышалъ я, что сами же свѣчу подъ то зеркало подставили.

— Врешь, отче преподобный, ничего ты не смыслишь!... Коли зеркало лопнуло—кончено дѣло. Тутъ ужъ, братъ, какъ не вертись—отъ смерти не отвертѣшься. А тебѣ все ничего.... Ты, пожалуй, скажешь и это ничего, что намедни ко мнѣ воробей въ кабинетъ залетѣлъ... По твоему и это ничего, что на прошлой недѣлѣ насъ ужиналъ сѣло тринадцать?... Отсчиталъ отъ себя тринадцатого—вышелъ Скорняковъ. Знаешь Скорнякова? Въ знакомцахъ у меня проживаетъ—рыжій такой, губа сѣченая.. Думаю, пусть же надъ нимъ, надо псомъ оборвется тринадцатый. Велѣлъ ему пить—жизнь бы свою тутъ же покончилъ собака... Съ полведа вылокалъ, бестія, безъ памяти подъ столъ свалился, ни духу, ни послушанія. Ну, думаю: слава тебѣ Господи — опился. Тринадцатый-то, значить, онъ... Чтѣ жъ ты думаешь?... На другой день поутру глядь, а онъ въ буфетѣ похмѣляется... Такъ меня варомъ и обдало!... Кто жъ, по твоему, тринадцатый-то вышелъ?... А?...

— Великій грѣхъ суетвѣріямъ предаваться,—говорилъ архимандритъ.

— А ты молчи, жеребья порода!... Видишь, къ смертному часу готовлюсь, такъ ты и молчи... Слышишь!... Опять Палецкій!... А вотъ и Пальма его учуяла!... Страшно!.. Помолись обо мнѣ, отче преподобный, не помяни моихъ озлобленій, помолись за меня за грѣшнаго, простили бы Господь прегрѣшенія моя, вольная и невольная... Молись за меня, твое дѣло. Еще году не прошло, большой владѣ тебѣ положилъ, колоколъ вылилъ — значить недаромъ прошу святыхъ молитвъ твоихъ... Духовную писалъ, душеприбавникомъ тебя сдѣлалъ. Самъ знаешь, опричь тебя такого дѣла поручить некому, народъ все

пьяный, забудыжный... Такъ ужъ я тебя... Помру, положи ты меня въ ногахъ у родителя моего, князь Юрья Никитича; сорокъ обѣденъ соборнѣ отслужи за меня, въ синодикѣ запиши въ постѣнной и въ литейной, что бы братія по вся годы молилась за меня безпереводно: А панихиды по мнѣ пѣть: на день преставленія моего, да пятаго октября, на день московскихъ святителей Петра, Алексія, Іоны—ангела моего день,—и служить тѣ панихиды каждый годъ безпереводно... И въ тѣ дни кормъ на братію и веліе утѣшеніе... Такъ и вели записать въ синодикъ, и тѣ бы архимандриты, которые послѣ тебя будутъ, вѣдали и чинили по моему завѣщанью каждый годъ безо всякія порухи. А душу свою тебѣ поручаю. Будь ты на поконъ моей души помянниѣ, умоли ты Господа Бога объ отпущеніи грѣховъ моихъ, будь моимъ ходатаемъ, будь моимъ молитвеникомъ, изведи изъ темницы душу мою...

И заливаясь слезами, повалился въ ноги архимандриту, ноги у него и срачицу цѣлуетъ, а самъ такъ и рыдаетъ.

Архимандритъ утѣшаетъ его, а князь такъ и разливается, плачетъ.

— Получишь ты по духовной большія деньги, сколько получишь, теперь не скажу: не добро хвалиться о дѣлахъ своихъ... Четверть тѣхъ денегъ себѣ возьми, дѣлай на нихъ, что тебѣ Господь на сердце положитъ; другой четвертью распорядись по совѣту съ братією, какъ уставъ велитъ... На соборѣ-то главы позолоти, со всѣмъ вѣдъ облезли; говорилъ я тебѣ, и денегъ давалъ, и бранился съ тобой, а тебѣ все неймется, только и словъ отъ тебя: «лучше на иную потребу деньги изведу»... А Владычицѣ жемчужный убрусъ устрой, жемчугъ княгиня Марѳа Петровна выдастъ, да выдастъ она еще тебѣ пять пудовъ серебрянаго лому, изъ того лому ризы во второй

ярусъ иконостаса устрой. Въ Москвѣ закажи... Зубрилову серебрянику не смѣть заказывать: я еще съ нимъ, съ подлецомъ, покамѣстъ живъ, раздѣляюсь. Отвѣдаетъ, каналья, вкусны ль заборскія кошки бываютъ... Представь ты себѣ, отецъ архимандритъ, на ярмонкѣ смѣлъ онъ, шельмецъ, до моего параднаго выѣзду лавку открыть. Счастливъ, что тотчасъ же уѣхалъ, а то-бъ я ему штуку въ пятьсотъ середь ярмонки-то влѣпилъ бы.

Подъ это слово ставень—хлопъ!

Поблѣднѣлъ князь, задрожалъ!..

— Упокой, Господи, душу раба твоего Дмитрія!... За мной пришелъ. Слышалъ?...

— Ставень хлопнулъ,—отвѣтилъ архимандритъ.

— У тебя все ставень!.. У тебя все... А Пальма-то, Пальма-то такъ и завываетъ!

— Да полноте же, ваше сіятельство!... Какъ это не стыдно?.. Ровно баба деревенская.

— Ругаться, чортъ этакой?.. — во все горло закричалъ князь и кулаки стиснулъ. — Не больно ругайся, промзглая кутя!.. Кулакъ-отъ у меня бабій?... Ну-ка, понюхай.

И поднесъ кулачище къ архимандричьему носу.

— Ложитесь-ка лучше съ Богомъ на покой... Давно ужъ пора,—кротко и спокойно промолвилъ архимандритъ.

— Безъ тебя знаютъ!.. Баба!.. Дамъ я тебѣ бабу, долгогривый чортъ!.. Охъ, Господи помилуй, опять Пальма... Нѣтъ, отче святыи, надо умирать, скоро во гробъ положишь меня, скоро въ склепъ поставятъ меня, темно тамъ.. сыро.. Охъ, Господи помилуй, Господи помилуй!.. Да?.. Вѣдь я не докончилъ тебѣ про духовную-то... Третью четверть денегъ раздай по всей епархіи протопопамъ, попамъ, дьякамъ, пономарямъ и инымъ, сколько

нѣсть. и́счислѣныя по рукамъ. каждому дьяволу про-
тивъ себя возмани. каждому прістѣнку зрѣнѣ дья-
вола положитъ. И скажи ты нѣтъ, и возрази ты нѣтъ,
усердно бы молился Всекликовому Спасу и Пресвятой
Богородицѣ о прощеніи грѣшной души раба Божіа кня-
зя Алексія. испусти бы святѣиши молитвами своими ве-
лія моя прѣдѣленія... Кирчагинскому дьяволу не сѣй
ни копѣйки давати... Вздумалъ на меня въ губернскую
канцелярію замобутну подати?... Поле, слышь у него я
вытопталъ. корову застрѣлы?... Такъ разѣъ хотѣлъ я у него
хлѣбъ-отъ топтати? Виновать разѣъ я, что зайць въ овесъ къ
нему канулса?... Упускать русака-то ради дьяковского овснѣ-
ка?... А корову?... Разѣъ самъ я стрѣлялъ?... Со мной
вонъ сколь всякой сволочи ѣздитъ. усмотришь разѣъ за
всѣми?.. Усмотришь разѣъ?... Нѣтъ, ты скажи, отче
преподобный, можно ль за этими дьяволами усмотрѣть?..
А?... Можно?... Да ты молчи, коли я говорю, губы-то
не распускай: во многоглаголаніи нѣсть спасенія, такъ
ты и молчи. Нечего тебѣ разсказывать: въ духовному
чину завсегда рѣшпектъ имѣю. потому что вы наши пас-
тыри и учителя, теплые съ насъ молитвенники, очи-
щаете насъ оказанныхъ, въ безднѣ грѣховной, ото всякія
мерзости и нечистоты... отъ того даже ни одинъ поно-
марь отродясь въ Заборѣ на конюшнѣ у меня не бы-
валъ... А кирчагинскій помни!... Помни, подымъ кутей-
никъ, овесъ да корову... Еще доберусь до шельмеца!..
Останнюю четверть денегъ изведи на похороны.. Пок-
рова не покупай, въ Парижъ въ двояродному брату,
князь Владиміру, посланы деньги, самой бы наилучшей
ліонской парчи тамъ купилъ. Боюсь только, не спустилъ
бы мои денежки въ фаро. Въ Версали большую игру
ведеть. — Ему, шалопаю, и въ голову не можетъ придти,
что по его милости могу я на тотъ свѣтъ голышомъ

предъ Богомъ предстать... Прошлаго года просилъ его купить сочиненія Вольтера да гобеленовъ въ угольную. До сихъ поръ не шлеть.. Шапку архимандричью устрой себѣ, у княгини Марѣи Петровны жемчуговъ и камней спроси,—давно ей отъ меня приказано... А не княгиню, такъ кап-ральшу крутихинскую спроси, она тоже знаетъ... Да дѣлай шапку-то поразвалистѣй, а то срамъ глядѣть на тебя — въ какихъ шапкахъ ты служишь: ни фасону, ни красоты, нѣтъ ничего... На похороны все шляхетство со-зови, и столповыхъ, и молодыхъ, и мелкопомѣстныхъ; хо-рошенько помянули бы меня за упокой... Бѣлавина Оедь-ку не смѣй только звать... Онъ меня знать не хочетъ, и я его знать не хочу... Эка важна персона!... А тоже сердце имѣетъ!... Поучилъ я его прошлаго года малень-ко, такъ онъ и губу надулъ... Да это бы наплевать, я бы за это и вспороть его могъ. Въ Петербургъ что-то писалъ про меня. До двора дошло; отписывали мнѣ, буд-то по этому дѣлу на куртѣ говорили про меня неми-лостиво. А я вѣдь хоть не въ опалѣ, да и не во вре-мени... Много ль надо меня уходить?... Будь это при второмъ императорѣ, будь при владѣющемъ курлянд-скомъ герцогѣ—я бы Оедьку въ рудникахъ закопалъ — а теперь я что?... Въ подлости нахожусь—не хуже тебя долгогриваго... Отъ того и махнулъ я рукой на Бѣлави-на... Что съ дуракомъ связываться? наплевать да и все тутъ... А вѣдь поучилъ-то его за что?... Ради его же души спасенія... Видишь ли какъ было дѣло: обѣдалъ Оедька у меня въ воскресенье, великимъ постомъ. Самъ знаешь, большіе посты я соблюдаю, уставъ тоже знаю... Подаютъ кушанье какъ слѣдуетъ: вино, елей, злаки и отъ черепокожныхъ. А Оедька Бѣлавинъ, когда подали стерляжьё уху, при всѣхъ и кричитъ мнѣ съ другаго конца стола: «вы, говорить, ваше сіятельство, сами-то

ихъ есть, причетникамъ по рукамъ, каждому дьякону противъ попа половину, каждому причетнику противъ дьякона половину. И закажи ты имъ, и попроси ты ихъ, усердно бы молились Всемиловитому Спасу и Пресвятой Богородицѣ о прощеніи грѣшной души раба Божія князя Алексія, искупили бы святыми молитвами своими велия моя прегрѣшенія... Кирчагинскому дьякону не смѣй ни копейки давать!... Вздумалъ на меня въ губернскую канцелярію челобитну подать?... Поле, слышь у него я вытопталъ, корову застрѣлил!... Такъ развѣ хотѣлъ я у него хлѣбъ-отъ топтать? Виноватъ развѣ я, что заяцъ въ овесъ къ нему кинулся?.. Упускать русака-то ради дьяконскаго овсика?... А корову?... Развѣ самъ я стрѣлялъ?... Со мной вонъ сколь всякой сволочи ѣздитъ, усмотришь развѣ за всѣми?... Усмотришь развѣ?... Нѣтъ, ты скажи, отче преподобный, можно ль за этими дьяволами усмотрѣть?.. А?... Можно?... Да ты молчи, коли я говорю, губы-то не распускай: во многоглаголаніи нѣсть спасенія, такъ ты и молчи. . Нечего тебѣ рассказывать: къ духовному чину завсегда респектъ имѣю, потому что вы наши пастыри и учителя, теплые объ насъ молитвенники, очищаете насъ окаянныхъ, въ безднѣ грѣховной, ото всякія мерзости и нечистоты... отъ того даже ни одинъ пономарь отродясь въ Заборьѣ на конюшнѣ у меня не бывалъ... А кирчагинскій помни!... Помни, подлый кутейникъ, овесъ да корову... Еще доберусь до шельмеца!.. Останнюю четверть денегъ изведи на похороны.. Покрова не покупай, въ Парижъ къ двоюродному брату, князь Владиміру, посланы деньги, самой бы наилучшей ліонской парчи тамъ купилъ. Боюсь только, не спустил бы мои денежки въ фара. Въ Версали большую игру ведетъ.—Ему, шалопаю, и въ голову не можетъ придти, что по его милости могу я на тотъ свѣтъ голышомъ

предъ Богомъ предстать... Прошлаго года просилъ его купить сочиненія Вольтера да гобеленовъ въ угольную. До сихъ поръ не шлеть.. Шапку архимандричью устрой себѣ, у княгини Марѣи Петровны жемчуговъ и камней спроси,—давно ей отъ меня приказано... А не княгиню, такъ кап-ральшу крутихинскую спроси, она тоже знаетъ... Да дѣлай шапку-то поразвалистѣй, а то срамъ глядѣть на тебя — въ какихъ шапкахъ ты служишь: ни фасону, ни красоты, нѣтъ ничего... На похороны все шляхетство со-зови, и столповыхъ, и молодыхъ, и мелкопомѣстныхъ; хо-рошенько помянули бы меня за упокой... Бѣлавина Оедь-ку не смѣй только звать... Онъ меня знать не хочетъ, и я его знать не хочу... Эка важна персона!... А тоже сердце имѣетъ!... Поучилъ я его прошлаго года малень-ко, такъ онъ и губу надулъ... Да это бы наплевать, а бы за это и вспоротъ его могъ. Въ Петербургъ что-то писалъ про меня. До двора дошло; отписывали мнѣ, буд-то по этому дѣлу на куртѣгѣ говорили про меня неми-лостиво. А я вѣдь хоть не въ опалѣ, да и не во вре-мени... Много ль надо меня уходить?... Будь это при второмъ императорѣ, будь при владѣющемъ еурланд-скомъ герцогѣ—я бы Оедьку въ рудникахъ закопалъ — а теперь я что?... Въ подлости нахожусь—не хуже тебя долгогриваго... Отъ того и махнулъ я рукой на Бѣлави-на... Что съ дуракомъ связываться? наплевать да и все тутъ... А вѣдь поучилъ-то его за что?... Ради его же души спасенія... Видишь ли какъ было дѣло: обѣдалъ Оедька у меня въ воскресенье, великимъ постомъ. Самъ знаешь, большіе посты я соблюдаю, уставъ тоже знаю... Подаютъ кушанье какъ слѣдуетъ: вино, елей, злаки и отъ черепокожныхъ. А Оедька Бѣлавинъ, когда подали стерляжью уху, при всѣхъ и кричитъ мнѣ съ другаго конца стола: «вы, говоритъ, ваше сіятельство, сами-то

постовъ не соблюдаете, да и гостей во грѣхъ вводите». — Что заврался? говорю, въ чемъ ты грѣхъ нашелъ? — «А въ этомъ», говоритъ, да на стерлядь и показываетъ. Велѣлъ подать «Уставъ о христіанскомъ житіи», подозвалъ Ѳедьку Бѣлавина, читай, говорю, коли грамотѣ знаешь. А онъ: «Тутъ писано про черепокожныхъ, сирѣчь про устерсы, черепахи, раки и улитки, яже акридами нарицаются». Зло меня взяло, слыша такое ругательство надъ церковью Божіею... Какъ?... Чтобы намъ святыми отцами заповѣдано было снѣдать такую гадость, какъ улитки?... А Ѳедька богомерзкій свое несетъ, говорить: стерлядь—рыба, черепа на ней нѣтъ. — Поревновалъ я по «Уставѣ», взялъ стерлядку съ тарелки да головой-то ему въ рыло. «Что, говорю, есть черепъ, аль нѣтъ?» Кровь пошла — рассадилъ ему рожу-то. Только всего и было... Не дралъ его, не колотилъ, волосомъ даже не тронулъ, объ его же спасеніи поревновалъ, чтобы въ самомъ дѣлѣ, по глупости своей, не вздумалъ христіанскую душу скверной улиткой поганить... Такъ поди жь ты съ нимъ... Въ доносы пустился; дивлюсь еще, какъ *слово и дѣло* не гаркнулъ... Погубить бы могъ, шельмецъ... Плюнулъ я на Ѳедьку, знаться съ дуракомъ не хочу и на поминкахъ моихъ кормить нечестивую утробу его не желаю. Не зови его, отче святой, никакъ не зови... Позовешь, будемъ съ тобой на томъ свѣтѣ передъ истиннымъ Спасомъ судиться. Помни же это... Мнѣ что!... Господь съ нимъ, съ Бѣлавинымъ, меня, маленькаго челоуѣка, обидѣть легко, а каково-то ему на томъ свѣтѣ будетъ... Вотъ что!... Ну, давай спать, старина.

Вѣтеръ затихъ. По маломъ времени и князь, и архимандритъ захрапѣли.

На зарѣ проснулся князь Алексѣй Юрьичъ, говорить архимандриту:

— Надо мнѣ, отче, на тотъ свѣтъ собираться. Надо, какъ ты ни мудри. Только заснулъ я, Палецкій въ оврагѣ стоитъ и Пальма съ нимъ, а въ оврагѣ жупель огненный, сѣрой пахнетъ... Стоитъ Палецкій да меня къ себѣ манить, сердце даже захолонуло.

— Что жь такое? — спросилъ архимандритъ.

— Говорить: «подъ сюда; сколь вору ни воровать, висѣлицы не миновать»... Ужаснулся я, отче, потъ холодный прошибъ меня, проснулся, а онъ воетъ, и Пальма воетъ... Нѣтъ, отче преподобный, вижу, что жить мнѣ не долго; сегодня жь князю Борису пишу, ѣхалъ бы въ Заборье скорѣй, мать бы свою не оставилъ, отца бы предалъ честному погребенью... Шабашъ охотѣ!... Поѣду отъ тебя прямо домой—съ женой проститься, долгъ христіанскій исполнить. Пріѣзжай вечеркомъ исповѣдать меня, причастить... На своихъ пріѣзжай, мои-то кони въ разгонѣ... Свадьбу сегодня у меня справляютъ... Устюшку замужь выдаю. — Знаешь Устюшку-то мою? Маленькая такая, чернявенькая... ухъ, горячая дѣвка какая!. Такъ ужъ ты, отче святыи, на своихъ пріѣзжай, къ непостыдной кончинѣ готовить меня многогрѣшнаго...

— Слушаю, ваше сіятельство, слушаю, безпременно пріѣду, не премину,—говоритъ архимандритъ.—А къ княгинѣ Марѣѣ Петровнѣ поѣзжайте, примиритесь съ нею похристіански: знаю вѣдь я, что вотъ ужъ теперь шестой годъ какъ вы слова съ ней не перемолвили... Замучилась она, бѣдная!

— Что княгиня?... Баба!.. Бабѣ плеть...

— Эхъ, ваше сіятельство!... Чѣмъ бы суетѣріямъ предаваться, да сны растолковывать, лучше бы вамъ настоящимъ дѣломъ о смертномъ часѣ помыслить, укрощать бы себя помаленьку, съ ближними бы мириться.

— Что мнѣ съ ними мириться-то?... Обидѣлъ что ли

я кого?.. Курица, и та на меня не пожалуется!... А страшно, отче преподобне!... Охъ, голова ты моя, головушка!.. Разума напилась, къ чему-то приклонишься?.. Въ монахи пойду.

— Княгиню-то куда же?

— Ну ее въ бѣсу! Мнѣ бы свою-то только душу спасти... А она какъ знаетъ себѣ, чортъ съ ней.

— Ахъ, ваше сіятельство, ваше сіятельство!.. Что съ вами дѣлать? Не знаю что и придумать!

— Что дѣлать! Что дѣлать!... — передразнилъ князь архимандрита. — Ишь какой недогадливый!.. Да долго ль въ самомъ дѣлѣ мнѣ просить молитвъ у тебя?.. Святъ ты человѣкъ предъ Господомъ, доходна твоя молитва до Царя небеснаго?... Помолись же обо мнѣ, пожалуста, сдѣлай милость, помолись хорошенько, замоли грѣхи мои... Страшенъ вѣдь часъ-отъ смертный!... Къ діаволамъ бы во адъ не попасть!.. Ухъ, какъ прискорбна душа!... Спаси ее, отче святой, отъ огня негасимаго...

И заплакалъ, и упалъ къ ногамъ архимандрита... Ноги у него цѣлуетъ, говорить не можетъ отъ душевнаго смиренія, отъ сердечнаго умиленія.

Вдругъ за оградой гончія потянули по зрячему... Грянули рога на звѣря, на краснаго... Какъ вскочить князь!

— «На конь!»—крикнулъ въ окно зычнымъ голосомъ.

И кой-какъ одѣвшись, не простаясь съ архимандритомъ, метнулся на крыльцо, и вскочилъ на лошадь...

Во весь опоръ помчалась за нимъ охота къ оврагу Юрагинскому.

VI.

Княгиня Марѣа Петровна.

Много горя натерпѣлась въ свою жизнь княгиня Марѣа Петровна, мало красныхъ дней на долю ей выпало, — великая была мученица, — царство ей небесное!

Родитель ея, князь Петръ Ивановичъ Тростенскій, у перваго императора въ большой милости былъ. Ѣздилъ за море иностраннымъ наукамъ обучаться, а воротясь на Русь, больше все при государѣ находился. Въ Полтавской баталіи передъ свѣтлыми очами царскими многую храбрость оказалъ, и когда супостата, свейскаго короля, побили, великій государь при всѣхъ генералахъ цѣловалъ князя Тростенскаго и послалъ его на Москву съ отписками о дарованной Богомъ викторіи.

Отпуская въ путь, далъ ему государь письмо къ старому боярину Карголомскому. А тотъ Карголомскій жилъ по старымъ обычаямъ. — И съ бородой не пожелалъ было разстаться, но когда царь указалъ, волкомъ взвылъ, а бороды себя лишилъ. За то въ другомъ во всемъ крѣпко старинки держался. Былъ у него сынъ да подъ Нарвой убили его, послѣ него осталась у старика Карголомскаго внучка. Ни за нимъ, ни передъ нимъ никого больше не было. А вотчинъ и въ дому богатства—тьма тьмущая.

Отдаетъ великій государь письмо князю Тростенскому, самъ такой приказъ ему сказываетъ:

— Будучи на Москвѣ, изволь отдать письмо Карголомскому, и что въ томъ письмѣ писано, изволь, съ своей стороны, чинить по нашему указу. Въ наглядѣ не будешь... Да поцѣловавши князя въ лобъ, примолвилъ:— Съ Богомъ.

Приѣхавши на Москву, подалъ князь Петръ Ивановичъ царское письмо Карголомскому. Прочиталъ старикъ, охнулъ, затрясся, потъ на лбу у него выступилъ. Положивъ три земныхъ поклона передъ Спасовымъ образомъ, сказалъ князю Тростенскому:

— Воля государева, а мы всѣ его да Божьи.

А въ государевѣ письмѣ было писано:

«Понеже господинъ майоръ князь Тростенскій въ европейскихъ христіанскихъ государствахъ наукѣ воинскихъ дѣлъ довольно обучался и у высокихъ potentatovъ при нашихъ резидентахъ не малое время находился, нынѣ же во время преславной, Богомъ дарованной намъ надъ свейскимъ королемъ викторіи великую храбрость предъ нашими очами показалъ, того ради изволь выдать за него въ замужство свою внуку, и тѣмъ дѣломъ прощу поспѣшить. А дѣло то и васъ всѣхъ поручаю въ милость Всевышняго».

Горька пришлась свадьба старику Карголомскому: видѣлъ онъ, что нареченный его внучекъ — какъ есть нѣмецъ-нѣмцемъ, только званіе одно русское. Да ничего не подѣлаешь: царь указалъ. Даже горя-то не съ кѣмъ было размыкать старику... О такомъ дѣлѣ съ кѣмъ говорить?... Пришлось одному на старости лѣтъ тяжкую думушку думать. Не вытерпѣлъ долго старикъ — померъ.

Молодые жили душа въ душу. Великій государь и

родные, глядя на нихъ, не могли нарадоваться. Черезъ годъ послѣ Полтавской баталіи даровалъ имъ Господь княжну Марю Петровну. Конца не было радостямъ. Самъ государь княжну изволилъ отъ святой купели принимать, и когда стала она подростать, все бывало нѣтъ-нѣтъ, а у отца и навѣдается, чему крестница обучается, и каково ей наука дается. Ливонскую нѣмѣу самъ поставилъ ходить за ней, плѣннаго шведа пожаловалъ для обученія княжны всякой наукѣ и на чужестранныхъ языкахъ говорить, французъ для танцевъ самъ князь отъ себя наймовалъ. Приѣдетъ, бывало, великій государь къ князю Тростенскому, — а ѣзжалъ къ нему нерѣдко, — анисовой спросить, кренделемъ закусить и велить княжну къ себѣ привести, почнетъ ее разспрашивать, чему даренный шведъ выучилъ, по чужестранному заговорить съ ней, менуэтъ заставить проплясать, а потомъ поцѣлуетъ въ лобъ да примолвитъ: «Рости крестница, да ума купи, вырастешь большая — мое будетъ дѣло жениха сыскать». Не сподобилъ царя Господь при себѣ пристроить крестницу; пятнадцати годочковъ княжнѣ не минуло, какъ взялъ къ себѣ Богъ перваго императора.

По восьмому годочку осталась княжна послѣ матери, а родитель черезъ полгода послѣ великаго государя жизнь скончалъ. Оставалась княжна сиротиночкой, кровныхъ, близкихъ родныхъ нѣтъ никого, одна что хмѣлинка безъ тычинки, и нѣтъ руки доброй, ласковой, поддержать бы сиротство да малость ея... За опекой дѣло не стало — сирота богатая, не объѣстъ... Взяла княжну тетка ея внучатная — княгиня Байтерекова. Стала съ ней княжна во дворецъ на куртаги ѣздить, на ассамблеи къ свѣтлѣйшему Меншикову, къ графу Головкину, къ князю Куракину, а къ инымъ знатымъ персонамъ на балы, на банкеты и съ визитою. И не было въ Питерѣ подобныхъ

красавицъ и разумницъ, какъ княжна Марѳа Петровна Тростенская.

Въ коемъ дому невѣста богатая, въ томъ дому женихи что комары на болотѣ толкуются. Такъ въ старыя годы бывало, такъ повелось и въ нынѣшніи дни... У княжны отбою отъ жениховъ не было, а были тѣ женихи изъ самыхъ знатныхъ родовъ, а которые не родословны, аль родовъ захудалыхъ, тѣ знатныя чины при дворѣ или въ гвардіи имѣли. Однако, княжна хоть и молоденька была, но честь свою наблюдала крѣпко, многіе ею «заразились», а она благосклонности никому не показала.

Девьеровъ сынъ, Петръ Антоничъ, былъ счастливѣй другихъ. На куртагахъ княжну на любовь склонилъ, черезъ тетку Байтерекову присватался, черезъ отца своего доложилъ государынѣ... Передъ обрученіемъ Екатерина Алексѣевна изволила княжну иконою благословить, а свадьбу велѣла отложить, пока не пошлетъ ей Господь облегченія.—Была государыня нездорова, а крестницу перваго императора сама хотѣла замужъ отдать и тѣмъ обѣщанье Петра Великаго выполнить.

Ждутъ женихъ съ невѣстой мѣсяць, ждутъ другой, третій, царицѣ все хуже да хуже. Болѣзнь становилась престостоякая, стали тихомолкомъ поговаривать, врядъ ли подниметь царицу Господь. А кому отходя сего свѣта земное царство откажетъ, не вѣдалъ никто. И печальны всѣ были... Не до пировъ, не до свадебъ... Государыня едва духъ переводила, какъ женихова отца, графа Девьера, взяли подъ карауль... Домъ его опечатали, къ княгинѣ Байтерековой драгунскій капитанъ пріѣзжалъ: всѣ вещи княжны Тростенской пересмотрѣлъ, какія письма отъ жениха къ ней были, всѣ отобралъ, а самой впредъ до указу нигуда не велѣлъ изъ дома выѣзжать.

Передъ вѣшнымъ Николой, дня за три, по Питеру бѣготня пошла: знатныя персоны въ каретахъ скачутъ, приказный людъ на своихъ на двоихъ бѣжить, всѣ во дворцу. Солдаты туда-жъ маршируютъ, простой народъ валить кучами... Что такое?... Царицы не стало, бѣгутъ узнать, кто на Русское царство сѣлъ, кому надо присягу давать. Услыхавши ту вѣсть, княжна на полъ такъ и покатилась... Вечеру сказали: женихова отца внучомъ бить, чести, чиновъ, имѣнья лишить и послать въ Сибирь, а жениха въ дальнюю деревню вмѣстѣ съ его матерью. И родную сестру не пожалѣлъ свѣтлѣйшій Меншиковъ.

И проститься жениху съ невѣстой не дали. Хотѣла было княжна съ другомъ своимъ въ несчастье ѣхать, да тетка Байтерекова и многія знатныя персоны ее отговорили.

Годъ прошелъ; новый царь со всѣмъ дворомъ въ Москву переѣхалъ. Байтерекова съ племянницей туда же... Тамъ приглянись княжна князю Заборовскому. Человѣкъ былъ ужъ не молодой, лѣтъ подъ сорокъ, вдовецъ хоть и бездѣтный. Княжна и слышать про него не хотѣла. А князь Алексѣй Юрьичъ съ государевымъ фаворитомъ, князь Иваномъ Алексѣичемъ Долгоруковымъ, въ ближней дружбѣ находился... Сталъ ему докучать про невѣсту, фаворитъ доложилъ государю.. И сказано было княжнѣ: «крестный твой отецъ, первый императоръ, далъ тебѣ обѣщанье, когда въ возрастъ придешь, жениха сыскать, но не исполнилъ того обѣщанія, волею Божіею отъ временнаго царствія въ вѣчное отыде, того ради великій государь, его императорское величество, памятуя обѣщаніе дѣда своего, указалъ тебѣ, княжнѣ Марѣ Петровой дочери Тростенскаго, быть замужемъ за княземъ Алексѣемъ князь Юрьевичемъ Заборовскимъ».

Только что стала зима, на Москвѣ торжества и пиры

пошли. Самъ государь съ сестрой фаворита обручался, фаворитъ съ Шереметевой, князь Заборовскій съ княжной Тростенской. Ровно зналъ князь Алексѣй Юрьичъ, что скоро перемѣна послѣдуетъ: только Святки мпнули, и свадьбы играть стало невозбранно, онъ повѣнчался съ княжной.

Невеселая свадьба была; шла невѣста подъ вѣнецъ, что на смертную казнь, блѣднѣй полотна въ церковь стояла, едва на ногахъ держалась. Фаворитъ въ дружкахъ былъ... Опоздалъ онъ, и вошелъ въ церковь сумрачный. Съ кѣмъ не пошепчется—у каждаго праздничное лицо горестнымъ станетъ; шепнулъ словечко новобрачному, и тотъ насупился. И стала свадьба грустнѣй похоронъ. И пира свадебнаго не было: по скорости гости разѣхались, тужа и горюя, а о чемъ — не говорить нието. На утро спознала Москва, — второй императоръ при смерти.

Княгиня Марѣа Петровна и до свадьбы, и послѣ свадьбы ходила словно въ воду опущенная; новобрачный тоже день ото дня больше да больше кручинился... Про великаго государя вѣсти не добрыя: все тяжелѣй становилось ему. А была въ ту пору «семибоярщина». Съ семью верховными боярами и съ фаворитомъ князь Заборовскій заодно находился, и каждый Божій день во дворецъ къ больному царю ѣзжалъ. Только что великій государь преставился, пропалъ князь Алексѣй Юрьичъ, найти не могутъ дѣвался куда. Ни молодой княгинѣ, ни въ дому ничего неизвѣстно: пропалъ безъ вѣсти да все тутъ. Мѣсяца черезъ два на Москвѣ объявился: съ Бирономъ вмѣстѣ изъ Митавы пріѣхалъ.

У курляндца все время въ чести пребывалъ, сама царица Анна Ивановна великимъ жалованьемъ его жаловала. Отъ того и княгиня Марѣа Петровна при дворѣ

безотмѣнно находилась, и даже когда, бывало, самъ-отъ князь отпросится отъ службы въ Заборье гулять, княгиню Марѳу Петровну государыня съ мужемъ отпускать не изволила, каждый разъ указъ объявляла быть ей при себѣ. Сына родила княгиня Марѳа Петровна, князь Бориса Алексѣича. Государыня изволила его отъ купели принять и въ конную гвардію вахмистромъ пожаловать.

Мало радостей видала дѣла княгиня Марѳа Петровна. Горькая доля выпала ей, доставалось супружество скорбное. Князь крутенецъ былъ, каждый день въ домѣ содомъ и гоморъ. — А пріѣдетъ хмѣленъ да распалится не въ мѣру, и кулакамъ волю дастъ... Княгиня тихая была, безотвѣтная; только, бывало, поплачетъ.

Съ перваго же году сталъ князь отъ жены погуливать: ливонскія дѣвки у него на сторонѣ жили да мамзель изъ французенокъ. По скорости и въ домѣ завелись барскія барыни. И тутъ никому княгиня не жаловалась, съ одной подушкой горевала.

Покамѣстъ въ Питерѣ жили, княгиня частенько ѣздила во дворецъ и въ дома знатныхъ персонъ. Весело ль было ей, нѣтъ ли, про то никому неизвѣстно. Только живучи въ Питерѣ, она ровно маковъ цвѣтъ цвѣла...

Получивши прощенье, пріѣхалъ въ Петербургъ Девьеровъ сынъ. Свидѣлись... И съ того часу въ конецъ разлютовался князь на жену свою. Зачахла она, и локонны носить перестала... Князь рѣдко и говорить съ нею сталъ, съ каждымъ днемъ лютѣи да лютѣи становился... Пока сынъ подрасталъ, княгиня съ нимъ больше время проводила. Хоть учителей изъ французовъ и пѣмцевъ представлено было къ маленькому князю вдоволь, однако жъ княгиня Марѳа Петровна сама больше учила его и много за то отъ князя терпѣла: боялся онъ, чтобъ бабой княгиня сына не сдѣлала... Отпустивши его ужъ изъ За-

борья въ Питеръ на царскую службу, стала княгиня ровно свѣча таять, и съ той поры жила какъ затворница. Только ее и видали, что въ именины да въ большіе праздники, когда, по мужнину приказу, во всемъ парадѣ къ гостямъ выходила... И тутъ, бывало, мало кто отъ нея слово услышитъ, все, бывало, молчить. Сидя почти что безвыходно въ своей горницѣ, книги читала, Богу молилась, церковные воздухи да пелены шила. Гостей, бывало, найдетъ множество, господа и барыни съ барышнями пляшутъ до полночи, а княгиня молится. Тамъ тузюка гремитъ, танцы водятъ, шумное пиршество идетъ, а княгиня на колѣняхъ передъ образомъ... Сколько разъ и спать приходилось ложиться ей не ужинавши: дѣвки вокругъ нея были верченныя—бросать, бывало, княгиню одну и пойдутъ глазѣть какъ господа въ танцахъ забавляются... Начала княгиня глазами болѣть, книги читать стало ей невозможно.

Жилъ у князя на хлѣбахъ изъ мелкопомѣстнаго шляхетства Кондратій Сергѣичъ Бѣлоусовъ. Деревню у него сосѣдъ оттягалъ, онъ и пошелъ на княжіе харчи. Человѣкъ не молодой, совсѣмъ Богомъ убитый: еле душа въ немъ держалась, кроткій былъ и смиренный, вина капли въ ротъ не биралъ, во святомъ писаніи силу зналъ, все, бывало, надъ божественными книгами сидитъ и ни единой службы Господней не пропустить, прежде попа въ церковь придетъ, послѣ всѣхъ выйдетъ. И велѣла ему княгиня Марѣя Петровна при себѣ быть, сама читать не могла, его заставляла.

Выѣхалъ князь на охоту, съ самаго выѣзда все не задавалось ему. За околицей попъ на встрѣчу; только что успѣлъ съ попомъ расправиться, лошадь понесла, чуть до смерти не убила, русаковъ почти всѣхъ протравили, Пальма ногу перешибла. Распалился князь Алексѣй Юрьичъ: много арапникомъ работалъ, но сердца не

утолилѣ. Воротился подъ вечеръ домой мраченъ, грозенъ, ровно туча громовая.

Письмо подають. Взглянулъ, зарычалъ аки левъ.. Зеркала да окна звенятъ, двери да столы трещатъ. Никто не пойметъ, на кого гнѣвъ простираетъ. Всѣ по угламъ да молитву творять....

— Княгиню сюда! — закричалъ.

Докладываетъ гайдукъ Дормедонтъ: княгиня съ верху сойдти не могутъ, больны, въ постели лежатъ. Едва вымолвилъ тѣ слова Дормедонтъ, палъ аки снопъ... Пяти зубовъ потомъ не досчитался.

Самъ вломился къ княгинѣ. Кондратій Сергѣичъ возлѣ постели сидитъ, житіе великомученицы Варвары княгинѣ читаетъ.

— А! — зарычалъ князь. — И сына до того развратила, что на шлюхѣ женился, и сама съ любовниками полуночничаетъ!...

И далъ волю гнѣву...

На другой день Кондратій Сергѣичъ безъ вѣсти пропалъ, а княгиня Марѳа Петровна на столѣ лежала.

Пышныя были похороны: три архимандрита, священниковъ человѣкъ сто. Хотя княгиню Марѳу Петровну и мало кто зналъ, а всѣ по ней плакали. А князь стоѧ у гроба хоть бы слезинку выронилъ, только похудѣлъ за послѣдніе дни, да часто вздрагивалъ. Шесть недѣль нищую братію въ Заборѣ кормили, каждую субботу деньги имъ по рукамъ раздавали, на человѣка по денежкѣ.

Въ сорочины весь обѣдъ съ Заборскимъ архимандритомъ князь бесѣду велъ отъ писанія. Толковали какъ душу спасать, какъ должно Христовъ законъ исполнять.

— Вотъ хоть бы покойницу мою княгинюшку взять, — со смиреньемъ и слезами говорилъ князь Алексѣй Юрьичъ, — ужъ истинно уготовала себѣ мѣсто свѣтло, мѣсто

злачно, мѣсто покойно въ селеніи праведныхъ... Что за доброта была, что за покорность!.. Да, отцы святіи, нелицемѣрно могу сказать, передалъ я Господу на пречистыя руки Его велию праведницу... Не подѣломъ наградилъ меня Царь небесный столь многоцѣннымъ сокровищемъ. Всему нашему роду красой была, аки лоза плодovitая: въ моемъ дому процвѣтала, всѣмъ была изукрашена: смиреніемъ, послушаніемъ, молчаніемъ доброуміемъ, пощеніемъ, нищелюбіемъ, нескверноложіемъ... Единая у меня радость была!... Охъ, Господи, Господи!.. У жь каково мнѣ, отцы святіи, прискорбно, ужь каково-то мнѣ горько, и повѣдать вамъ не могу... Какъ я безъ княгинюшки останную-то жизнь стану мыкать?... Кто домъ мой изобиліемъ наполнить?... Кто за меня Бога умолитъ?

Утѣшаютъ князя архимандриты и попы словами душеполезными, а онъ сидитъ, вручинится, да такъ и разливается, плачетъ.

— Нѣтъ,—говорить,—отцы преподобные, прискорбна душа моя даже до смерти! Не могу долѣе жить въ семъ прелестномъ мірѣ, давно алчу тихаго пристанища отъ бурь житейскихъ... Прими ты меня въ число своей братіи, отче святой, не отринь слезнаго моленья: причти мя къ малому стаду избранныхъ, облеку во ангельскій образъ. — Такъ говорилъ архимандриту монастыря Заборскаго.

— Намѣреніе благое, сіятельнѣйшій князь, но дѣло Божіе должно творить съ разсужденіемъ,—отвѣчалъ архимандритъ.

— Чего еще разсуждать-то?... Въ накладѣ не останешься: сорокъ тысячъ вkladу... Мало — такъ сто, мало — такъ двѣсти! Копить мнѣ некому.

— Сынъ у васъ есть, — замѣтилъ другой архимандритъ....

— Князь-отъ Борька?... Да коль хочетъ онъ, шельмецъ, живымъ быть, такъ не смѣй ко мнѣ на глаза казаться!... И меня погубилъ, злодѣй, и матери своей смерть причинилъ!... Осрамилъ злодѣй нашу княжью фамилію!.. Честь нашу потерялъ, всему роду князей Заборовскихъ безчестье нанесъ!... Безъ спросу, безъ родительскаго благословенья на мелкой шляхтянкѣ женился!... Да ей бы, канальѣ, за великую честь было у меня за свиньями ходить!... Убилъ шельмецъ скареднымъ дѣломъ мою княгинюшку!... Какъ услышала, сердечная, про князь Борькино злодѣйство, такъ и покатила, тутъ же съ ней кровавой ударъ и приключился...

И громко, навзрыдъ зарыдалъ князь Алексѣй Юрьичъ, понизивъ головой на край стола.

— Въ несчастіи смиряться должно, ваше сіятельство, — замѣтилъ одинъ архимандритъ...

— Не передъ княземъ ли Борькой смиряться мнѣ?... — вскрикнулъ князь Алексѣй Юрьичъ, быстро закинувъ назадъ голову и гнѣвно засверкавъ очами. — Хоть ты и архимандритъ, а выходишь дуракъ, да и тотъ дуракъ, кто тебя болвана архимандритомъ-то сдѣлалъ!.. Мнѣ передъ щенкомъ, передъ сквернымъ поросенкомъ, князь Борькой смириться!... Нѣтъ, братъ, мирно съѣсть!... Ты, кутейникъ, ты не можешь понять, что такое значить шляхетская честь!... Да еще не просто шляхетская, а княжеская... Мы Гедеминово рожденъ!... Этого въ пустую башку твою не влѣзетъ, хоть ты и въ Кіевѣ обучался!.. Всѣ вы едино — одна жеребачья порода!... Не понять вамъ чести дворянской!... Смерды вы, въ подлости рождены, въ подлости и помрете, хоть патріархами сдѣлай васъ!... Передъ княземъ Борькой смиряться мнѣ!... Эхъ

что выдумалъ, долгогривый космачъ!... Я еще его въ бараній рогъ согну, покажу, какъ отца уважать надо... Полушки мѣдной шельмецу не оставляю... Самъ женюсь, я еще, славу Богу, крѣпокъ. Другія дѣти будутъ; имъ все предоставлю... А князь Борька съ своей подлой шляхтянкой бродитъ себѣ подъ окномъ, кормись Христовымъ именемъ... За невѣстами у меня дѣло не станетъ: каждая барышня пойдетъ съ удовольствіемъ. Не пойдетъ, чортъ съ ней, — на скотницѣ Машѣ женюсь!...

Подъ эти слова стали «тризну» ¹⁾ пить. Архидіаконъ Заборовскаго монастыря «во блаженномъ успеніи» возгласилъ, пѣвчіе «отчину память» запѣли. Всѣ встали изъ-за стола и зачали во святъ уголъ креститься. Князь Алексѣй Юрьичъ снопомъ повалился передъ образами и такъ зарыдалъ, что, глядя на него, всѣ заплакали. Насилу архимандриты поднять его съ полу могли.

На другой день много поролъ, и всѣхъ почти изъ своихъ рукъ. На кого ни взглянетъ, за каждымъ вину найдетъ. Шляхетнымъ знакомцамъ пришлось не втерпеть, — бѣжать изъ Заборья собирались. Въ такомъ гнѣвѣ съ недѣлю времени былъ. Полютовалъ, полютовалъ, на медвѣдя поѣхалъ. И съ того часу, какъ свалилъ онъ мишку ножомъ да рогатиной, и гнѣвъ, и горе какъ рукой сняло...

Старѣтъ сталъ, и грусть чаще да чаще на него находила. Сядетъ, бывало, въ полѣ верхомъ на боченокъ, зачнетъ, какъ водится, изъ ковша съ охотой здравствоваться — вдругъ помутится, и ковшикъ изъ рукъ вонъ. По полю смѣхъ, шумъ, гамъ — тутъ мигомъ все стихнетъ. Побудетъ этакъ мало времени — опять просіяетъ князь.

¹⁾ На похоронныхъ обѣдахъ сливаютъ вмѣстѣ виноградное вино, ромъ, пиво, медъ, и пьютъ въ концѣ стола. Это называется *тризною*.

Напугалъ я васъ, скажетъ. Эхъ, братцы, скоро умирать придется!.. Прощай, прощай вольный свѣтъ... Прости, прощай житье мое удалое...

Да вдругъ и гаркнетъ:

Пей, гуляй, перва рота,
Втора рота на работу....

Тысяча голосовъ подхватить. И зачнутъ плясъ, крикъ, попойка до темной ночи...

VII.

Княгиня Варвара Михайловна.

Черезъ годъ послѣ, кончины княгини Марѣи Петровны, привезли въ Заборье письмо отъ князя Борисъ Алексѣича. Прочиталъ его князь Алексѣй Юрьичъ, призвалъ старшаго дворецкаго и бурмистра, и далъ имъ такой приказъ:

— Завтра князь Борька съ своей поскудной шляхтянкой въ Заборье прїѣдетъ. Никто бъ передъ ними шапки не ломалъ, попадется что на встрѣчу, лай имъ всякую брань. Ко мнѣ допустите, а коней не откладывать. Прочу скаредовъ, да тѣмъ же моментомъ назадъ прогоню. Слышите?

— Слушаемъ, ваше сіятельство.

— Смотрите жь у меня! Ухо востро....

Чего не натерпѣлись князь Борисъ Алексѣичъ съ княгиней, ѣхавши по Заборью! Онъ голову повѣся, молча сидѣлъ, княгиня со слезами на глазахъ, кротко, привѣтно всѣмъ улыбалась. На привѣты ея встрѣчные ругали ее ругательски. Мальчишекъ сотни полторы съ села согнали: бѣгутъ за молодыми господами, «у-у!» кричатъ, языки имъ высовываютъ.

Князь въ залѣ—арапникъ въ ругѣ, глаза какъ у вола горять, голова ходенѣмъ ходить, а самъ всѣмъ тѣломъ

трясется... Тайнымъ образомъ на всякъ случай священника съ задняго крыльца провели: можетъ, исповѣдать кого надо будетъ.

Вошли молодые. Гнѣвно и грозно кинулся къ нимъ князь Алексѣй Юрьичъ... Да взглянувъ на сноху, такъ и остамѣлъ... Арапникъ изъ рукъ выпалъ, лицо лаской-радостью просіяло.

Молодые въ ноги. Не допустилъ сноху князь въ землю пасть, одной рукой обнялъ ее, другой за подбородокъ взялъ.

— Да ты у меня плутовка!—сказалъ ей ласково.—Глянь-ка какая пригожая!.. Поцѣлуй меня, доченька, познакоимся... Здравствуй, князь Борисъ,—молвилъ и сыну, ласково его обнимая.—Тебя бы за уши надо подрать, ну да ужъ Богъ съ тобой... Что было—не смѣть вспоминать!...

Всѣ диву дались. И то надо сказать, что княгиня Варвара Михайловна такая была красавица, что дикаго звѣря взглядомъ бы своимъ усмирила.

Зашумѣли въ Заборьѣ, что пчелки въ ульѣ. Всѣмъ былъ тотъ день великаго праздника радостнѣй. Какіе балы послѣ того пошли, какіе пиры! Никогда такихъ не бывало въ Заборьѣ. И тѣ пиры не на прежнюю статью: ни медвѣдя, ни юродивыхъ, ни шутовъ за обѣдомъ; шума, гама не слышно; а когда одинъ изъ большихъ господъ заговорилъ было про ночной кутежъ въ Розовомъ павильонѣ, князь Алексѣй Юрьичъ такъ на него посмотрѣлъ, что тотъ хотѣлъ что-то сказать, да голосу не хватило.

А все было дѣломъ княгини Варвары Михайловны. Бывало скажетъ только: «полноте, батюшка-князь, такъ не годится»—и онъ все по ея слову. Миновались расправы на конюшнѣ—кошки велѣлъ въ кучу собрать и сжечь при себѣ... Барскихъ барынь замужъ повывалъ, изъ мелкопомѣстнаго шляхетства, которые оченно до водки охочи были и во хмѣлю неспокойны, по другимъ деревнямъ на житье разослалъ. Въ домѣ чистота завелась, во всемъ порядокъ.

Даже на охотѣ не по прежнему стало. Полно на боченокъ садится, полно пить черезъ край; выпьетъ, бывало, чарку другую, другимъ дастъ хлѣбнуть, а безъ мѣры пить не велить. «Не хорошо, говоритъ, неравно доченька узнаетъ, сердчатъ станетъ».

И князя Борисъ Алексѣича полюбилъ, все на его руки сдать: и домъ, и вотчины. — «Я, говоритъ, старъ становлюсь; пора мнѣ и на покоѣ пожить. Ты, князь Борисъ, съ доченькой заправляйте дѣлами, а меня, старика, покойте да кормите. Не мнѣ надо, поживу съ вами годочекъ, другой, внушка дождусь, и пойду въ монастырь Богу молиться, да къ смертному часу готовиться».

Сына родила княгиня Варвара Михайловна. Сколько было радости! У всѣхъ на душѣ такъ легко, какъ будто Свѣтло Воскресенье вдругорядъ пришло, а князь Алексѣю Юрьичу ровно двадцать годовъ съ костей скинуло. Возлѣ княгининой спальни девятѣро сутокъ высидѣлъ, все наблюдалъ, чтобъ кто не испугалъ ее. Носить бывало внушка покомнатамъ, да тихонько колыбельныя пѣсенки ему напѣваетъ. Чуть пискнетъ младенецъ, тотчасъ бережно его въ дѣтскую, и тамъ сидеть дѣдушка у колыбельки, качаетъ внушка. Въ крестины всей дворнѣ по цѣлковому рублю да по суконному кафтану пожаловалъ, двѣсти отпускныхъ выдалъ, барскихъ барынь, которыя замужъ не угодили, со двора долой. Павильоны досками велѣлъ забить, не было бѣ туда ни входу, ни выходу... Одну Дуняшку оставилъ, и то тайкомъ отъ княгини Варвары Михайловны.

Шести недѣль не прожилъ маленькій князь. Съ такого горя князь Алексѣй Юрьичъ въ постелю слегъ, два дня маковой росинки во рту у него не бывало, слова ни съ кѣмъ не вымолвилъ. Мало-по-малу княгиня же Варвара Михайловна его утѣшила. Сама, бывало, плачетъ по сынкѣ,

а свекра утѣшаетъ, французскія пѣсенки ему сквозь слезы тихонько поетъ...

Году не длилось такое житье. Вѣдомость пришла, что прусскій король подымается, надо войнѣ быть. Князь Борисъ Алексѣичъ въ полкахъ служилъ, на войну ему слѣдовало. Сталъ собираться, княгиня съ мужемъ ѣхать захотѣла, да старый князь слезно молилъ сноху, не покидала бъ его въ одиночествѣ, представлялъ ей резоны, не женскому-де полу при войскѣ быть; молодой князь женѣ тожъ говорилъ. Послушалась княгиня Варвара Михайловна — осталась на горе въ Заборьѣ.

Слезное, умильное было прощанье!... Послѣ молебна «въ путь шествующихъ», благословилъ сына князь Алексѣй Юрьичъ святою иконой, обнялъ его много поучалъ: сражался бы храбро, себя не щадишь бы въ бою, а судить Господь животъ положить — радостно пролилъ бы кровь и принялъ свѣтлый небесный вѣнецъ. — «Объ женѣ, князь говорилъ, ты не кручинься; будетъ сѣ и тепло, и покойно....» А когда княгиня Варвара Михайловна съ мужемъ стала прощаться, господа, шляхетные знакомцы и дворянъ навзрыдъ зарыдали... Смотрѣть безъ слезъ не могли, какъ обвилась она, сердечная, вокругъ мужа и безъ словъ, безъ дыханья повисла на шеѣ. Такъ безъ чувствъ и снесли ее въ постелю. Перекрестилъ тамъ жену князь Борисъ Алексѣичъ, поцѣловалъ и въ карету сѣлъ.

По отѣздѣ заборовская жизнь еще тише пошла, отъ того что княгиня много грустила. Приѣздъ бывалъ не великій, праздниковъ, обѣдовъ не стало. Князь Алексѣй Юрьичъ не отходилъ отъ снохи, всячески ее успокоилъ, всячески утѣшалъ. Письма стали доходить отъ молодаго князя; про баталіи писалъ, писалъ, что дальше въ Прусскую землю идти ему не велѣно, указано оставаться при

полкахъ въ городѣ Мемелѣ. Княгиня веселѣй стала, а она весела — и все весело. Опять стали гости въ Заборьѣ собираться; опять пошли обѣды да праздники. И все было добро, хорошо, тихо и стройно.

Позавидовалъ врагъ рода человѣческаго. Подсадовалъ треклятый, глядя на новые порядки въ Заборьѣ. И вложилъ въ стихшую душу князь Алексѣй Юрьича помысль грѣховный, распалилъ стараго сластолюбца бѣсовскою страстью... Сталъ князь сноху на нечистую любовь склонять. Въ ужасъ княгиня пришла, услыхавши отъ свекра гнусныя рѣчи... Хотѣла образумить, да гдѣ ужъ тутъ!.. Вывелъ окаянный князя на стару дорогу...

— А! еретица!.. Честью не хочешь, такъ я тебѣ покажу!..

И велѣлъ кликнуть Уляшку съ Василисой: бабищи здоровенныя, презлющія.

— Ну-ка,—говорить.—По старинѣ!...

Закрутили бабы княгинѣ руки назадъ и тихимъ обычаемъ пошли по своимъ мѣстамъ. А князь гаркнулъ въ окошко:

— Рога!

Въ двѣсти роговъ затрубили, собачій вой поднялся и за тѣмъ содомомъ ничего не было слышно...

И пошла, поѣхала гульба прежняя, начались попойки деннонощныя, опять визгъ да пляску подняли барскія барыни, опять стало въ домѣ кабакъ-кабакомъ... По прежнему шумно, разгульно въ Заборьѣ... И кошки да плети по прежнему въ честь вошли.

А про княгиню Варвару Михайловну слышно одно: больна да больна. Никто ее не видитъ, никто не слышитъ — ровно въ воду канула. Болтали, къ мужу-де въ Мемель просилась да свекоръ не пустилъ отъ того-де и захворала.

Былъ въ княжеской дворѣхъ отпѣтый головорѣзъ Гришка Шатунъ. Смолоду десять годовъ въ бѣгахъ находился; сказывали, въ Муромскомъ лѣсу, у Кузьмы Рощина въ шайкѣ онъ жилъ. Когда разбойника Рощина словили, Шатунъ воротился въ Заборье охотой... И князь Алексѣй Юрьичъ мало-по-малу его возлюбилъ, приблизилъ къ себѣ и зналъ черезъ него все что гдѣ ни дѣлается. Терпѣть не могли Шатуна, ровно нечистой силы боялись его.

Перехватилъ, окаянный, письмо, что княгиня къ мужу послала. Прочиталъ старый князь и насупился. Цѣлый день взадъ да впередъ ходилъ онъ по комнатамъ, самъ руки назадъ, думу думаетъ да посвистываетъ. Ночи темнѣй — не смѣетъ никто и взглянуть на него...

Изъ Зимогорска отъ губернаторскаго секретаря письмо подаютъ. Пишетъ секретарь держалъ бы князь ухо востро; губернаторъ де съ воеводой хотъ и пріятеля вашего сіятельства, да забыли хлѣбъ-соль: получивши жалобу княгини Варвары Михайловны, розыскъ въ Заборьѣ вздумали дѣлать.

Опять молча, одинъ одишешенекъ цѣлый день ходилъ князь по комнатамъ дворца своего. Не ѣлъ, не пилъ, все думу какую-то думалъ... Вечеромъ Гришку позвалъ. Держалъ его у себя чуть не до свѣту.

На другой день приказъ — снаряжать въ дорогу княгиню Варвару Михайловну. Отпускалъ къ мужу въ Мель. Осеннимъ вечеромъ — а было темно, хотъ глазъ уколи — карету подали. Княгиня просталась со всѣми, подошелъ старый князь — вся затряслась, чуть не упала.

— Съ Богомъ, съ Богомъ, говоритъ онъ, — прощай сношенька... Сажайте княгиню въ карету.

Посадили. Сзади сѣли Уляшка съ Василисой, на козлахъ Шатунъ.

Ночью князь въ саду пробылъ немалое время.... Своими руками Розовый павильонъ заперъ и влючь въ Волгу бросилъ. Всѣ двери въ садъ заколотили, и былъ отданъ приказъ близко къ нему не подходить.

Въ ту же ночь безъ вѣсти пропала Никифора конюха дочь. Чудное дѣло!... Недѣли четыре дѣвку лихomanка трепала — жизни никто въ ней ни чаялъ, и вдругъ сбѣжала... Съ той поры объ Аришеѣ ни слуху, ни духу.... Много чудились, а зря языкъ распускать никто не посмѣлъ...

Проводивши княгиню, Гришка Шатунъ съ обѣими бабами домой воротился. Докладываетъ княгиня-де Варвара Михайловна на дорогѣ разнемоглась, приказала остановиться въ такомъ-то городѣ за лекаремъ послала; лекарь былъ у нея, да помочь ужъ было нельзя, черезъ трое сутокъ княгиня преставилась. Письмо князю подаль отъ воеводы того города, отъ лекаря, что лечилъ, отъ попа, что хоронилъ. Взялъ письма князь, и не читавши сунулъ въ карманъ.

По кончинѣ князя Алексѣя Юрьича, Василиса каялась, что княгиню Варвару Михайловну, только что изъ Заборья они выѣхали, задней дорогой подвезли къ Розовому павильону, а на мѣсто ея посадили въ карету больную Аришку. Когда же дорогой Аришеѣ смерть приключилась, замѣсто княгини ее схоронили.

Гришки съ Ульяшкой скоро не стало. На другой, либо на третій день послѣ того, какъ они воротились, послалъ ихъ князь по какому-то дѣлу за Волгу. Осень была, по рѣкѣ «сало» пошло. Поѣхалъ Шатунъ съ Ульяшкой, стало ихъ затирать, лодчонка плохая — пошла ко дну... Когда закричали въ Заборьѣ, наши-де тонуть, на вѣнцѣ горы сталъ недвижимъ князь Алексѣй Юрьичъ, руки за спину заложивши. Вѣтеръ шляпу сорвалъ, а онъ

стоитъ, глазъ не сводить; зорко глядитъ на людскую погибель, сѣдые волосы вѣтеръ таеъ и развѣваетъ... Пошли ко дну, перекрестился, и тотчасъ домой...

Василиса наканунѣ того дня сбѣжала. Разлютовался князь. «Подавай Василису живую или мертвую». Докладываютъ: пошла къ свату въ сосѣднюю деревню, захмѣлѣла, легла спать въ овинѣ, овинѣ сгорѣлъ и Василиса въ немъ... Строгіе розыски дѣлалъ, самъ на овинное пожарище ѣздилъ, обгорѣлыя восточки тростью пошевыралъ. Увѣрился, стихъ.—А тѣ обгорѣлыя кости были не Василисины, а нѣкоего забѣглаго шатуна, что шелъ въ Заборье на княжіе харчи. Шелъ на волю да на пьяное житье, попалъ въ овинѣ, а оттуда въ жизнь вѣковѣчную... И то дѣло Василисинъ деверь состряпалъ. Былъ онъ на ту пору великъ человекъ у князь Алексѣя Юрьича.

Концы въ воду, басни въ кустъ, утѣшаетъ себя князь. Двадцать розысковъ наѣзжай—ничего не розыщутъ.

Запили, загуляли — чуть не всѣ погребѣ опростали. Двѣ недѣли всѣ пьяны были безъ просыпу. А изъ города вѣсти за вѣстями—розыскъ ѣдетъ, а князю и горюшка нѣту — гуляетъ!... Большихъ господъ на ту пору ужъ не было, и мелкое шляхетство стало рѣдѣть, знакомцы и тѣ каждую ночь по два, да по три человека зачалибѣгать. Иные, помня княжую хлѣбъ-соль, докладывали ему, поберегся бы маленько, ходять-де слухи, розыскъ въ Заборье готовятъ.. У князя одинъ отвѣтъ: «Это будетъ когда чортъ умереть, а онъ еще и не хварывалъ. Приѣдетъ губернаторъ—милости просимъ: плети готовы».. А шляхетство все тягу, да тягу. Пришлось подвонецъ князю съ одними холопами бражничать. Начто пѣта—и тотъ сбѣжалъ.

Середь залы боченки съ виномъ. И пьютъ, и льютъ,

да тутъ же и спать вповаљу. Дѣвки—въ чемъ мать на свѣтъ родила, волосы раскосмативши, по всему дому скачутъ да срамныя пѣсни поютъ. А князь невытѣтый, небритый, нечесаный, въ одной рубахѣ, на коврѣ середь залы возлѣ боченка сидитъ, да только покрикиваетъ: «Эй вы, черти, веселѣ!... Головы не вѣшай, хозяина не печаль!...»

Что денегъ онъ тогда безъ пути разбросалъ... Дѣвкамъ пригоршнями жемчугъ дѣлилъ, серьги, перстни, фермуары брилліантовые, матеріи всякія раздаривалъ, бархаты...

Разъ подь утро узнаютъ: розыскъ наѣхалъ... Стихла гульба.

— По мѣстамъ! сказалъ князь:—были бы плети на готовѣ.—Я ихъ розыщу!

Приходитъ майоръ, съ нимъ двое чиновныхъ. Князь въ гостинной во всѣмъ парадѣ: въ пудрѣ, въ бархатномъ кафтанѣ, въ кавалеріи. Вошли тѣ, а онъ чуть привсталъ и на стулья имъ не показываетъ, говорить: «зачѣмъ пожаловать изволили?»

— Велѣно намъ строжайшій розыскъ о твоихъ скандальныхъ поступкахъ съ покойной княгиней Варварой Михайловной сдѣлать.

— Что-о?—крикнулъ князь и ногами затопалъ.— Да какъ ты смѣлъ, паценокъ, холопскій свой носъ ко мнѣ совать?... Не знаешь, развѣ, кто я?.. Отъ кого присланъ?... Отъ воеводы шельмеца, аль отъ губернатора мошенника?.. И они у меня въ передѣлѣ побываютъ... А тебя!.. Плетей!..

— Уймись,—говоритъ майоръ.—Со мной шеадронъ драгунъ, а присланъ я не отъ воеводы, а изъ тайной канцеляріи, по именному ея императорскаго величества указу...

Только вымолвилъ онъ это слово, всѣмъ тѣломъ затрясся князь. Схватился за голову, да одно слово твердить: «охъ, пропаль... охъ, пропаль!»

Подошелъ къ майору смирнехонько, божится, что знать ничего не знаетъ и ни въ чемъ не виновать, что еслибъ жива была княгиня Варвара Михайловна, сама бы невинность его доказала.

— Покойница княгиня о твоихъ богомерзкихъ дѣлахъ своей рукой ея императорскому величеству челобитную писала. Гляди!

И показалъ княгинино челобитье.

— Прозѣваль, значить, Шатунъ!..—прошепталъ князь.—Счастливъ, что на свѣтѣ нѣтъ тебя.

— Въ силу даннаго намъ указа,—говорить майоръ:—во все время розыска быть тебѣ, князь Алексѣй князь Юрьевъ сынъ Заборскій, въ своемъ домѣ подъ жестокимъ карауломъ. Для того и драгуны ко всѣмъ дверямъ приставлены. Выходу отсель тебѣ нѣтъ.

Голосу у князя не хватаетъ.

Столы раскладываютъ, бумаги кладутъ, за столъ садятся, ничего князь не видитъ: стоитъ глаза въ уголъ уставивши, одно твердить: «Охъ, пропаль, охъ, пропаль!...»

А майоръ розыскъ зачинаетъ. Говорить:

— Князь Алексѣй князь Юрьевъ сынъ Заборскій По именному ея императорскаго величества указу изъ тайной канцеляріи изволь намъ по пунктамъ показать доподлинную и самую доточную правду по взведенному на тебя богомерзкому и скаредному дѣлу...

— Не погуби!.. Смилуйся! Будьте отцы родные, не погубите старика!.. Ни впредь, ни послѣ не буду... Будьте милостивы!...

И повалился князь въ ноги майору.

Великъ былъ человѣкъ, архимандритовъ въ глаза дураками ругалъ, до губернатора съ плетями добратся хотѣлъ, а какъ грянулъ царскій гнѣвъ—майору въ ножки поклонился.

— Не погубите!...—твердитъ. — Въ монастырь пойду, въ затворъ затворюсь, схиму надѣну... Не погубите, милостивцы!.. Золотомъ осыплю... Что ни есть въ дому, все ваше, все берите, меня только не губите...

— Встань,—говоритъ майоръ.—Не стыдно ль тебѣ? Вѣдь ты дворянинъ, князь.

— Какой я дворянинъ!... Что мое княжество!... Холопъ я твой вѣковѣчный: какъ же мнѣ тебѣ не клаться?... Милости вѣдь прошу. Теперь ты великъ человѣкъ, все въ твоихъ рукахъ, не погуби!... Двадцать тысячъ рублей сейчасъ выдамъ, только бы все въ мою пользу пошло.

— Полно бездѣльные рѣчи нести, давай отвѣтъ въ силу даннаго намъ указа.

Поднялся князь на ноги, скрѣпилъ себя, грозно нахмурился, и глухо отвѣтилъ:

— Знать ничего не знаю, вѣдать не вѣдаю.

— Смотри, не пришлось бы намъ ту комнату застѣнкомъ сдѣлать. Не хочешь добромъ подлинной правды сказать—другія средства найдемъ: кнутъ не ангелъ—души не вынетъ, а правду скажетъ.

Опустился на кресло князь, побагровѣлъ весь, глаза закатились, еле духъ переводить.

— Ой, пропасть!... твердитъ. — Ой, не снесу!...

Посмотрѣлъ на него майоръ... Остановилъ розыскъ до другаго дня.

Къ князю никого не допускаютъ. Ходитъ одинъ-одинешенекъ по запустѣлому дому, волосы рветъ на себѣ, воетъ въ источникъ голоса.

Идетъ по портретной галлерей, взглянулъ на портретъ княгини Варвары Михайловны,—и сталъ какъ вкопанный...

Чудится ему, что лицо княгини ожило, и она со скорбью, съ укоромъ головкой качаетъ ему...

Грянулся ѓ полъ... Языкъ отнялся, движенья не стало.

Подняли, въ постель уложили. Что-то маячить, но понять невозможно, а глаза такъ и горятъ. Майоръ посмотрѣлъ, за лекаремъ послалъ, людей допустилъ.

Кинулъ лекарь руду. Маленько полегчало. Хотя конечно, а сталъ кой-что говорить. Дворецкаго подозвалъ.

— Замажь,—говорить,—лицо на портретѣ княгини Варвары Михайловны. Сію же минуту замажь.

Замазали. Докладываютъ.

— Ладно, молвилъ.—Не скажу теперь майору.

Думали, бредить, взглянули—духу нѣтъ...

Такъ розыску и не было.

Сельцо Ляхово.
1856.

БИБЛИОТЕКА
АЛЕКСАНДРОВСКАГО
СТРЕЛКОВАГО ПОЛКА

9. 10. 11. 12. 13.

БАБУШКИНЫ РОЗКАЗНИ.



БАБУШКИНЫ РОЗСКАЗНИ.



Бабушка Прасковья Петровна Печерская кончила жизнь далеко за сотню годовъ отъ роду. На старости лѣтъ хватила старушка грѣха на душу — молодилась. Бывало бабушкѣ все восьмой десятокъ въ доходѣ. Лѣтъ двадцать пять доходилъ,—такъ и не дошелъ.

Бабушка Прасковья Петровна на самомъ-то дѣлѣ была мнѣ прапрабабушкой, да мы всѣ ее бабушкой звали. И это старушкѣ нравилось.

Спросишь бывало:—въ которомъ году родились вы, бабушка?

— А вотъ ужъ гóда-то, попомъ соевогъ, и не упомяну, отвѣтитъ.—Да ты считай:—покойница матушка принесла меня въ самый тотъ день, какъ на Охтѣ попа жгли. Привозилъ того попа въ Петербургъ князь Дундукъ, а князь Дундукъ въ тó пору былъ еще некрещенный, и тотъ попъ былъ у него самый набольшій: по нашему архіерей, по-ихнему, по-калмыцки, Чурлама. Онъ въ Петербургѣ возьми да и помри, а по калмыцкому закону мертвого попа надо жечь. Ну и сожгли. Весь Петербургъ тогда на Охту высыпалъ:—всякому лестно было поглядѣть, какъ поповъ жгутъ. И батюшка съ матушкой, дай Богъ имъ царство небесное,¹ ѣздили. Матушку-то въ на-

родѣ и помяли: какъ пріѣхала домой, такъ меня и принесла.... Такъ-то, Андрюша!... Ты зналъ ли, голубчикъ, что я недоносокъ?

— Бабушка! да вѣдь этому больше ста лѣтъ. ¹⁾

— Полно-ка ты, — заворчитъ бабушка, — молодъ еще надо мной смѣяться!.. Сто лѣтъ!.. Эхъ, что сморозилъ!.. Перекрести лобъ-отъ, опомнись... Семьдесятъ восемь, либо семьдесятъ семь—это можетъ статься, а ты ужъ гляди-ка что махнулъ!... Сто годовъ!... Прошу покорно!...

И пойдетъ, бывало, ворчать бабушка, но не надолго: добрая была старушка и меня очень любила. Съ малолѣтства былъ я ея баловнемъ. Меня бывало такъ и звали: бабушкинъ внучекъ да бабушкинъ внучекъ. И она очень это любила.

Глуха подъ старость стала и видѣла плохо, но память сохранила рѣдею. И, какъ часто бываетъ съ людьми преклонныхъ лѣтъ, хорошо помнила только время молодости. Какъ начнетъ бывало свои разсказы про времена елизаветинскія да екатерининскія—все до подробности разскажетъ, а французскаго погрому не помнила, хоть и вывели ее изъ Москвы за пять часовъ до вступленія Наполеона, и она, врестась и глухо рыдая, всю ночь проглядѣла изъ подмосковной на страшное зарево славнаго пожара.

— Какъ же это вы забыли, бабушка, какъ Наполеонъ-отъ въ Москву приходилъ?—спросишь бывало ее.

— Нѣтъ, милый Андрюша, не припомню. Не припомню, родной... И долго жила на Москвѣ, а такого не помню... Да кто онъ такой былъ? По прозвищу изъ чужестранцевъ должно быть?

¹⁾ Сожженіе Чурламы было въ маѣ 1736 года.

— Французъ, бабушка.

— Французъ!.. Нѣтъ, моя радость, такого не помню. И хвастать не хочу.— Много вѣдь Французовъ-то тогда на Москвѣ проживало... Да онъ кто таковъ? Танцовщикъ аль гувернеръ, можетъ статья?

— Императоръ, бабушка.

— Императоръ!?... Какъ такъ императоръ?... Какой?

— Императоръ французовъ, бабушка.

— Перестань, Андрей!.. Грѣхъ надъ бабушкой смѣяться. Господь счастье отниметь.. Смотри-ка, что вздумалъ. Нашелъ у французовъ императора!... А еще учишься!... Нехорошо... Императоровъ, mon cousin, во всемъ свѣтѣ только двое — нашъ да еще римскій; салтанъ турецкій тоже въ рангѣ императора состоитъ, только не совсѣмъ, для того, что некрещеный. А у Французовъ, mon cousin, — король, *roi de France et de Navarre*. . Да... Какъ нынѣшняго-то зовутъ? *Louis seize* все еще царствуетъ аль дофинъ воцарился?

— Эхъ, бабушка, чего хватились! Да теперь ужъ лѣтъ пятьдесятъ, какъ Людовику голову срубили.

— Жалѣю, очень жалѣю. Безподобный былъ король, и къ намъ всегда былъ расположенъ. Mon cousin, князь Свибловъ, при нашемъ резидентѣ въ Парижѣ находился и рассказывалъ про *Louis seize* очень много хорошаго «*Il ne parle jamais de notre impératrice—говаривалъ mon cousin,—due dans les termes du plus profond respect et de la plus haute estime*». По тому и жалѣю его.— Только вѣдь онъ былъ такой миролюбивый; съ кѣмъ же это. онъ воевалъ? Съ гишпанскимъ, полагаю.

— Ни съ кѣмъ, бабушка, не воевалъ.

— *Il est tué* — ты сказалъ.

— *Tué-то, tué*. Да не на войнѣ, а на эшафотѣ.

— Послушай, Андрей! Ты, должно быть, мартинистъ.. Нехорошо, милый, очень плохо! Ужъ ты съ Лопухинымъ не знаешься ли?.. Смотри, mon cousin, не опечаливай бабушку: мало ль что можетъ случиться! Долго ль къ Шешковскому въ лапы попасть?.. А у него, mon pigeonneau, еще милость Божія, какъ только посѣкутъ — это еще ничего, примочилъ арникой и вся недолга, — а не ровень часъ... хуже бываетъ... Нѣтъ, Андрюша, береги ты себя, и бабушку не огорчи!.. И объ чужестранныхъ короляхъ всегда говори съ уваженіемъ.. И какія вѣдь ты, въ самомъ дѣлѣ, несодѣянные вещи говоришь и король-отъ на эшафотѣ и французскій-то императоръ въ Москву пріѣзжалъ... Стыдно, mon cousin, безпримѣрно какъ стыдно... Постой... постой, Андрюша!.. Вспомнила, вспомнила... Ты перепуталъ, радость моя!.. Точно, былъ на Москвѣ императоръ, только не французскій, а римскій: — Жозефомъ звали. — Видала его, голубчикъ, видала... На балѣ у главнокомандующаго видѣла, въ Нескучномъ — у графа Алексѣя Григорьевича Орлова, въ Кусковѣ — у Шереметева на праздникѣ.... Какъ теперь на него гляжу: черты такіа тонкія, нѣжныя. — Только онъ сохранялъ самое строгое incognito и завсегда въ трактирахъ да на постоянныхъ дворахъ приставалъ. А когда у государыни въ Царскомъ Селѣ находился, проживалъ въ банѣ. Надъ баней-то государыня трактирную вывѣску велѣла повѣсить. Онъ и повѣрилъ да такъ и прожилъ все время въ банѣ и тѣмъ свое incognito сохранилъ... Графомъ Фалькенштейномъ прозывался, а ты и прозвище-то ему какое-то несообразное придумалъ... Наполеонъ! Что такое Наполеонъ?... Такихъ святыхъ и у католиковъ нѣтъ, не то, что у насъ, православныхъ.... Собачья кличка какая-то!.. Плохо моѣ дружбѣ!.. Будь умникъ, mon dilou,

такихъ словъ не говори, особливо при чужихъ людяхъ... осудятъ... Нехорошо.... Да....

Много испытала въ своей жизни покойница бабушка. До замужества жила въ Петербургѣ, а выходила замужъ не очень стара:—лѣтъ четырнадцати. Была при дворѣ Елизаветы Петровны и Екатерины второй, жила въ Москвѣ во время чумной заразы, въ Казани передъ пугачевскимъ разгромомъ, въ Нижнемъ, въ Архангельскѣ, въ Ярославлѣ, въ Кіевѣ и опять по нѣскольку разъ въ Москвѣ и Петербургѣ. Много видѣла, много слышала, больше того испытала ... Что грѣха таить — съ молодую бабушка пошаливала.... Да какая жъ молодая, свѣтская женщина въ тотъ вѣкъ не пошаливала?... Время было такое... А вотъ что странно: каждая женщина въ старыя ли годы, въ нынѣшнемъ ли вѣку, ежели съ молодую пошаливаетъ, подъ старость непременно въ ханжество пустится, молебнами да постами молодые грѣшки поправить бы... За бабушкой не водилось этого. Печать восемнадцатаго вѣка неизгладимо сохранилась на ней до самой кончины... Бывало, съ грустью, со слезами на тусклыхъ очахъ глядитъ на свою изсохшую, желтую руку, вспоминая то время, когда напудренная молодежь любовалась ея прекрасной, пухленькой, бѣлоснѣжной ручкой... Лѣтъ съ пятидесяти въ зеркало перестала смотрѣться.. Страшно стало постарѣвшей красавицѣ взглянуть на себя... Но никогда ни мало не ханжила.—Напротивъ, отъ нея отъ первой узналъ я про Вольтерову *Le sermon des cinquante*, про Фоблаза, про *La guerre des dieux*.

Впрочемъ, въ послѣдніе годы жизни своей бабушка каждый день до обмороковъ замаливалась. Сотни по полторы, по двѣ земныхъ поклоновъ по вечерамъ на сонъ грядущій вала... Разыгрывалось тогда въ лоттерею голливудское имѣнье, бабушка взяла три билета, и ей очень

хотѣлось выиграть Воротынецъ. Объ этомъ-то она и молилась, да такъ усердно, что каждый разъ, бывало, ее безъ чувствъ въ постель уложить... Лоттерея была разыграна, бабушкѣ вынулись пустые, но она вѣрить тому не хотѣла и по прежнему молилась до обмороковъ о богатомъ Воротынцѣ, объ его садахъ, пристаняхъ картинныхъ галлерейхъ и другихъ богатствахъ диковиннаго имѣнія.

Много воды утекло съ тѣхъ поръ, какъ пришлось мнѣ бросить горсть сыраго, желтаго песку на бархатный гробъ нѣжно любившей меня старушки... Я былъ очень еще молодъ, когда, бывало, сидя у изразцовой лежанки, гдѣ любила грѣть свои косточки покойница бабушка, слушалъ рассказы ея про старые годы. Не могъ тогда оцѣнить ихъ: мимо ушей они пролетали, другіе тотчасъ забывались.

Но теперь, когда стихли порывы легкомысленной молодости, и сѣдина начинается въ бородѣ пробиваться, добрая бабушка, съ ея сказаньями, воскресаетъ въ памяти, и люди восемнадцатаго вѣка встаютъ передо мной, какъ образы какой-то знакомой, хоть и не прожитой жизни. Блескъ протекшей эпохи ослѣпительно бьетъ въ глаза... Все такъ величаво, такъ пышно, широко и обаятельно...

Но этотъ блескъ — случайный, внѣшній.

Поднимая заповѣдную, пышную завѣсу, за которую, отъ пытливыхъ взоровъ грядущихъ поколѣній, хоронится восемнадцатый вѣкъ, видишь душевную пустоту, царствующую надъ вѣтренымъ поколѣніемъ, что прыгая, танцуя, шутя и смѣясь, съ триолетомъ буриме на устахъ, врасплохъ застигнутое смертью, неожиданно для него и нежданно вдругъ очутилось въ сырыхъ и темныхъ могилахъ... Когда оживаютъ въ памяти рассказы милой бабушки и возстаютъ передъ душевными очами образы давно почившихъ дѣдовъ, слышатся: и наглый крикъ временщиковъ, и

таинственный лепет юродивыхъ, и подобострастные рѣчи блюдолизовъ, и голосъ вѣчно живущей правды изъ-подъ дурацкихъ колпаковъ. Слышатся: амурный шепотъ пети-метровъ и метрессъ, громкія, сочныя лобзанья дворовыхъ красавицъ, ревъ медвѣдей, глухіе удары арапника, вой собакъ и сладостныя созвучья итальянской музыки. Чудятся баснословные праздники: ледяной дворецъ Анны Ивановны, маскарадъ на московскихъ улицахъ, екатерининскій карусель, потемкинскій балъ, плаванье по Волгѣ съ переводомъ Мармонтеля, блестящая поѣздка въ Тавриду...

Все ликовало въ тотъ вѣкъ!... И какъ было не ликовать? То былъ вѣкъ богатырей, вѣкъ, когда юная Россія поборола двухъ королей полководцевъ, двѣ первостепенныя державы низвела на степень второклассныхъ, а третью — подѣлила съ сосѣдями... Полтава, Берлинъ и Чесма, Минихъ въ Турціи, Суворовъ на Альпахъ, Орловъ въ Архипелагѣ и геніальный, неподражаемый, великолѣпный князь Тавриды, создающій Новую Россію изъ ничего!... Что за величавые образы, что за блескъ, что за слава!...

Но съ этимъ блескомъ, съ этой славой объ руку идутъ высокоумное полуобразование, раболѣпство, слитое воедино съ наглымъ чванствомъ, корыстныя заботы о карманѣ, наглая неправда и грубое презрѣніе къ простонародью...

Но миръ вамъ, дѣды! Спите покойно до трубы архангельской, спите до дня оправданія!.. Не посмѣмся надъ вашими могилами, какъ смѣялись вы надъ своими боролатами дѣдами!...

I.

Сергѣй Михайловичъ.

Куда какъ просто жила мы въ старину-то, Андрюша. Сравненія нѣтъ никакого съ нынѣшними поведеніями.... Затѣйное было времячко, раздольное да привольное.

Не ломали твои дѣдушки дворянскія головы надъ всякими науками, зато выхراпку какую задавали по ночамъ да пообѣдавши!.. Немного думали, *mon pigeonneaux*, зато много кушали, и оттого здоровы и долголѣтны бывали.

А теперь пошли люди щедущіе и живутъ не подолгу. А отчего? Мало ѣдятъ, много думаютъ.... Да.... Вѣдь крѣпкая-то дума кровь портитъ, *mon coeur*... Да...

А какіе здоровенные люди въ наше-то время бывали! Генераль-аншефа Михайлу Васильича Пильнева взять... Помнишь въ Ярославлѣ государевымъ намѣстникомъ былъ?.. Онъ тебя очень ласкать изволилъ... Какъ, бывало, ни пріѣдетъ къ намъ, тебя на колѣнки посадить и жалованну табатерку съ алмазами дастъ поиграть..... А ты ее одинъ разъ и расковалъ.... Папенька твой за это намѣстнику сѣраго аргамака подвелъ, а тебя высѣлъ... Нѣтъ, стой, *mon coeur*, — перепутала я, это папеньку твоего за табатерку-то высѣли... Такъ... Точно такъ — Петрушу, не тебя: ты еще тогда не родился.... Такъ вотъ Михайло-то Васильичъ..... Истинно былъ человекъ, можно чести

приписать. Быкъ, сударь мой, быкомъ... Иначе какъ на софѣ не сѣдился, а ежели въ бальной залѣ случится ему сѣсть, такъ на трехъ стульяхъ—меньше нельзя... Породистъ ужъ очень былъ... А когда померъ, гробовщикъ такъ и ахнулъ. «Этого барина, говорить, въ одномъ гробѣ не похоронишь». Косяки въ намѣстничьемъ домѣ изъ дверей выламывали, гробъ-отъ чтобъ возможно было вынести... А нынче что за люди?... Мозглякъ на мозглякъ,—смотреть даже непріятно.

А ужъ простота какая была, Андрюша!... По чести сказать, ужасъ какая простота!... Хоть бы того же Михайлу Васильича взять! Въ лѣтнюю пору бывало сбегутся молодые, иной разъ старички, да всю ноченьку на пролетъ и прокуликаютъ. А пили въ стары годы, тоцъ соеиг, безпримѣрно — не по нынѣшнему. — Пропивши ночь, подъ утро съ пѣснями да съ музыкой по улицамъ — да прямо въ Рубленый-Городъ. Тамъ у Ильи Пророка передъ намѣстничьимъ домомъ стануть, да какой-нибудь полонезъ и грянуть. Разбудятъ, конечно, Михайлу Васильича, онъ безъ парика, въ одномъ шлафрокъ на балконъ и выйдетъ.

— Чтовы, пострѣлы,—крикнетъ,—съ пьяныхъ-то глазъ у меня весь Ярославль перебулгачили? Аль подъ караулъ захотѣли?

А тѣ ему:

Мы тебя любимъ сердечно,
Будь ты намѣстникомъ вѣчно!
Наши зажегъ ты сердца —
Мы въ тебѣ видимъ отца!

И велитъ Михайло Васильичъ ключнику наливовъ корзину-другую на площадь вынести... И самъ выйдетъ къ гулякамъ, усядется съ ними на краю горы, что надъ Которостью, да до поздняго утра и прогуляютъ.

Вотъ вѣдь и намѣстникъ былъ, и генералъ-аншефъ, а изрядными людьми не брезговалъ, какъ теперь поповичъ какой-нибудь въ люди выскочивши... *Parvenu*, знаешь этакой, высочка изъ подлости... Ухъ, какой безподобный былъ человекъ Михайло Васильичъ!... Ужестъ!... Попробуй-ка нынче, *mon bijou*, такъ сдѣлать — въ самомъ дѣлѣ, пожалуй, подъ караулъ угодишь... Какъ можно сравнить старые годы съ нынѣшними!... Гораздо было проще.

Опять Сергѣя Михайлыча взять — Чурилина. Безпри-мѣрный былъ человекъ, даромъ что изъ солдатскихъ дѣтей. Штатскій дѣйствительный совѣтникъ, отставной красногорскій губернаторъ, анненская лента черезъ плечо — пер-сона значить не маловажная. Взявши абшидъ, доживалъ свой вѣкъ у насъ въ Зимогорскѣ... Покойникъ твой дѣ-душка съ драгунами тогда въ Зимогорскѣ на винтеръ-квартирахъ стоялъ, тамъ и жизнь-то свою скончалъ, въ синодальномъ Благовѣщенскомъ монастырѣ и погребенъ... Я ужъ вдовѣла, у Ванюши жила, когда Сергѣй-отъ Ми-хайлычъ въ Зимогорскъ на житье переѣхалъ... Изрядный былъ господинъ, отмѣннаго ума, всѣ уважали его и боя-лись. У кого дѣло какое случится — ссора ль домашняя, другое ли что — первымъ долгомъ къ Сергѣю Михайлычу. И совѣтъ дать, и помирить, а ежели кто виноватъ и по-журить, да, глядя по винѣ и по человеку, инаго и тро-сточкой... Всякое дѣло устроить умѣлъ... И за то Сергѣя Михайлыча всѣ какъ роднаго отца любили, «дѣдушкой» зва-ли, а онъ всѣмъ говорилъ «ты» и каждаго «собакой» звалъ не изъ брани, а любя. Всѣ ручку у него цѣловали, и дамы, даже *et demoiselles*, а онъ руку цѣловалъ только у прео-священнаго, съ попами въ губы цѣловался. Безъ спроса Сергѣя Михайлыча ни единой дворянской свадьбы не бы-вало, сынъ ли у кого родится, дочь ли — имени младенцу отецъ съ матерью наречь не смѣли, спрашивали какое

будетъ угодно Сергѣю Михайлычу. И всѣхъ самъ крестилъ. — Любилъ крестить; дай Богъ ему царство небесное. — Бывало, и у дворянъ, и у купцовъ, и у поповъ — у всѣхъ въ кумовьяхъ.

И что жъ ты думаешь, топ коеиг, какая изъ этого неприятность вышла... Подросли крестники да крестницы, хватъ—анъ по всей Зимогорской губерніи ни одной дворянской свадьбы сыграть невозможно: всѣ въ духовномъ родствѣ, всѣ одного крестнаго отца дѣти. Теперь, слыхала я, такого закона ужъ нѣтъ, а тогда очень строго было... Ну, извѣстно, которые и повлюблялись другъ въ дружку, а вѣнчаться не могутъ. Досталось же тогда крестному батюшкѣ на орѣхи! Такія поминки сердечному Сергѣю Михайлычу загибали, что не одинъ, чать, разъ икнулось ему на томъ свѣтѣ. Дѣлать нечего: стали невѣсть изъ другихъ губерній брать, а барышень въ Москву для замужества возили. Съ десятокъ, однакожь, до того крестными братцами заразились, что съ горя да съ печали въ монастырь пошли... Дуры онѣ были, топ pigeonneaux... По моему разсужденію сущія дуры!.. Не могли развѣ просто любиться?.. Не правда ль, топ bijou?... А одинъ изъ крестниковъ съ любви али съ горя, а я думаю отъ того, что въ головѣ сквозная пустота была, въ Волгѣ утопился, другой изъ мушкетона застрѣлился... Вотъ что значить крестить-то безъ пути, Андриуша!.. Поэтому я и не крещу никого... Сохрани Господи!..

А все-таки Сергѣй Михайлычъ отмѣнный былъ человекъ. Такихъ людей, радость моя, въ нынѣшнее время сыскать невозможно. Въ старину-то вѣдь, топ petit, люди бывали безпримѣрно лучше, чѣмъ теперь... Какъ можно!... Что теперь!... Важности нѣтъ. Ужестъ какъ неловко всѣ выдѣланы, и такъ темны въ свѣтѣ, такая у всѣхъ тѣснота въ головѣ, что просто умора... Ужестъ,

просто ужесть!... Разночинцами какими-то всѣ глядятъ... Право!... Безпримѣрно, какъ смѣшны!...

Не такъ, топ соеур, въ наше время живали. Бывало ни одинъ дворянинъ лицомъ въ грязь себя не ударить, всякъ свою честь бережетъ строго и съ подлой сволочью якшаться ни за что бывало не станетъ, а теперь... Охъ, охъ, охъ, охъ!... Нынче баринъ изъ знатнаго, родословнаго рода съ мѣщаниномъ, аль съ кутейникомъ на одной ногѣ себя ставить — онъ, дескать, ученый. Да коли онъ ученый, такъ ученость его пушай при немъ и остается, никто у него ее не отниметь, — да въ дворянскій-то кругъ ему подло-рожденному за чѣмъ лѣзть?... Мѣсто что ли ему тамъ?... Повѣрь ты мнѣ, топ соеур, ежели какой чело-вѣкъ рожденъ въ подлости, будь у него ума палата, съ неба звѣзды хватай, все-таки dans la société des gentilshommes быть ему не слѣдуетъ. Дворянство тѣмъ роняется, топ cher, l'aristocratie se tombe... Ты это пойми, топ pigeonneaux... Нельзя же, топ ami, объ этомъ не подумать. На этомъ все держится.

— Бабушка, да вѣдь сами вы говорите, что Сергѣй-отъ Михайлычъ, изъ солдатскихъ дѣтей былъ... Какъ же вы у него ручку-то цѣловали?..

— Ахъ, Андрюша, Андрюша! Какъ ты этого, дружокъ мой, сообразить не можешь?... Тутъ совсѣмъ иное... Сергѣй Михайлычъ — штатскій дѣйствительный совѣтникъ, отставной губернаторъ, анненская лента черезъ плечо, двѣ тысячи душъ. — Тутъ ужъ une autre position dans le monde. Мало ли что! И Меншиковъ оладьями торговалъ, и Шафировъ въ лавкѣ сидѣлъ, и Разумовскій на клиросѣ пѣлъ, однакожъ, какими вельможами стали... Тутъ, топ cher, милость Божія, а больше того — la faveur de la cour... Кто взысканъ и вознесенъ, къ тому, въ какой бы подлости онъ ни родился, хоть бы отъ самаго послѣдняго

холопа,— подлость лънуть не можетъ... Навсегда омытъ такой человѣкъ отъ первороднаго грѣха подлости рожденія... Да... Сергѣй Михайлычъ роду хотя былъ не шляхетнаго, однакожь, въ люди вышелъ, на службѣ разбогатѣлъ, выгодно женился, дослужился до генеральства... А все умомъ.— Отмѣнно умный былъ человѣкъ: во всякомъ сильномъ человѣкѣ умѣлъ сыскать себѣ милостивца. Сначала самъ ручки у всѣхъ цѣловалъ, потомъ у него стали цѣловать... Вотъ это и называется умъ... Да, топ соеуг, это настоящій умъ, не такой, что у нынѣшнихъ умниковъ проявился... Посмотришь теперь: самъ-отъ мѣдной полухи не стоитъ, а рыло къ верху гнетъ по рублевому... Плеточкой бы ихъ, топ ретіт, по старинному, либо кпутикомъ... На истинную дорогу безпремѣнно бы вышли. А то смотрѣтъ даже непріятно.

А сталъ Сергѣй Михайлычъ въ люди выходить послѣ женитьбы. А женился въ пугачевское замѣшательство, онъ въ ту пору былъ въ Чернорѣцкѣ воеводой.... Когда злодѣи на его городъ нагрянули, задалъ онъ, сердечный, тягу... Въ лѣсу схоронился и царску казну съ собой захватилъ, опричь мѣдныхъ гривенъ да пятаковъ сибирскаго дѣла—большущія были монеты—изъ гривны-то порядочную кострюлечку можно было сдѣлать... А нынче—по неволѣ вздохнешь да поропщешь иной разъ—и денегъ-то такихъ не стало — перевелись... Все-то измельчало, все-то, топ соеуг, измалодушествовалось... Прежніе-то люди какіе здоровенные были—пни дубовые, а нонѣшни—хлысты вербовые... Да... Ну такъ вотъ Сергѣй-отъ Михайлычъ тяжелу-то казну съ собой и не взялъ — захватить-то ее было не подъ силу, серебряную казну зарылъ въ землю, и въ лѣсу отъ сущихъ злодѣевъ отсидѣлся, А не уйти изъ города ему было никакъ невозможно. для того, чтъ сила у него была невеликая, да и небольно

надежная, а у государственного злодѣя ратной силы было видимо невидимо. Пугачъ въ Чернорѣцѣхъ не долго канальствовалъ, царицына сила по пятамъ за нимъ шла, для того и наострилъ онъ лыжи за Волгу. Только-что изъ Чернорѣцка злодѣй вышелъ, Сергѣй Михайлычъ въ городъ... Сызнова на воеводство сѣлъ, чтобъ, знаешь, настоящіе порядки вести... Тутъ его сердечнаго плетьюми взодрали.

— Какъ такъ, бабушка?

— Да такъ, топ соеиг, выдрали да и все тутъ... По ошибкѣ... Такое сумятное время было.—То ли еще по ошибкѣ-то случается, топ enfant!... А съ Сергѣемъ Михайлычемъ видишь ли какъ это приключилось. Только что онъ на воеводство-то сызнова сѣлъ, глядь, анъ съ Караульной горы конница, да все казаки. Переполохъ въ городу поднялся, думаютъ, Пугачъ воротился, бѣгутъ, кто куда, сломя голову, Сергѣй Михайлычъ въ огорождъ, да въ горохѣ и схоронился. Однакожь, его отыскали и къ казацкому начальнику сердечнаго приволокли. А начальникъ-отъ еле на конѣ держится—пьянехонекъ. Спрашиваетъ Сергѣя Михайлыча:

— Кому служишь?

А Сергѣй Михайлычъ поглядѣлъ, поглядѣлъ на его пьяную рожу, думаетъ себѣ—«гусь-отъ не кто другой, какъ пугачевецъ. Дай, надую шельмеца, а то еще съ пьяныхъ-то глазъ повѣситъ пожалуй». Да и брякнулъ:

— Служу, великому государю Петру Ѳеодоровичу.

Только что молвилъ онъ это слово, на кобылу его да въ плети. Ста полтора вкатили да въ тюрьму посадили. А тотъ казацкій начальникъ вовсе былъ не пугачевецъ, а царицынъ—изъ Михельсоновыхъ полковъ. И какъ онъ къ утру-то проспался да узналъ, что во хмѣлю царицына воеводу выпоролъ; пошелъ къ нему въ тюрьму

alléguer pour excuse... А это онъ роднаго дядю плетьми-то вздулъ.. Слово за слово, разговорились... и вышло, что казацкой-отъ начальникъ племянникомъ роднымъ Сергѣю Михайлычу доводился... Да...

За то послѣ, когда Сергѣй Михайлычъ при уголовныхъ дѣлахъ находился и когда губернаторомъ былъ, какъ ни подадутъ, приговоръ о кнутѣ, аль о плетяхъ, завсегда на половинеу сбавить, да тому, кто подаетъ, безпремѣнно примолвить: «тебѣ, собака, легко, приговоръ-отъ перомъ на бумагѣ писать, а какъ станутъ его на спинѣ кнутомъ подписывать, такъ не тебѣ небо-то съ овчинку покажется. Ты, собака, не можешь понимать, что такое кнутъ да плети, а я, по милости роднаго племянничка, отвѣдалъ каково они вкусны... Не роди на свѣтъ мать сыра земля!»

Послѣ того, какъ его высѣкли, женился онъ по скорости. Пали ему слухи, что недалеко отъ Чернорѣцка, въ селѣ Княжухѣ, молодая вдова бѣдствуетъ, Марья Семеновна Жилина, а родомъ Болтинныхъ была. Мужа-то у нея злодѣи повѣсили въ ихнемъ селѣ Енгальчевѣ, а сама она съ четверыми дѣтьми, малъ-мала-меньше, въ овинѣ какъ-то ухоронилась. Жилинская вотчина была не малая — дворовъ подъ тысячу, а жить Марьѣ Семеновнѣ негдѣ: барскій-отъ домъ Пугачъ спалилъ, а у мужиковъ жить побаивалась. Оченно были они тогда не спокойны.. Сергѣй Михайлычъ послалъ къ ней для береженья капрала съ солдатами, и звалъ ее на житье въ городъ. Приѣхала Марья Семеновна не въ газетахъ, не въ бархатахъ, а въ бабьей понявѣ да въ вичѣхъ, дѣтки-то Захаръ Михайлычъ, Дмитрій Михайлычъ, Сергѣй Михайлычъ да еще, кажись Петръ Михайлычъ—всѣ въ пестрядиныхъ рубашонкахъ. Отвелъ воевода Марьѣ Семеновнѣ съ дѣтьми квартиру самую лучшую, одѣлъ ее съ ребятишками, поилъ, кормилъ

на свой коштъ, покуда не затихло замѣшательство. А потомъ — женился на ней и зажилъ бариномъ. У нея и достатки хорошіе, и родство хорошее; а у него мѣсто доходное, стало быть и можно было жить складно.

Взявши абшить, Сергѣй Михайлычъ сталъ въ Зимогорскѣ жить. Тогда ужъ онъ вдовѣлъ. Жилъ одинъ, а въ домѣ всегда было людно... Каждый Божій день открытый столъ для званныхъ и незванныхъ и какой есть часть, какая минута — безъ гостей Сергѣй Михайлычъ не обходился. Очень его любили... и побаивались. И нельзя было его не любить, нельзя и не бояться, — въ Петербургѣ рука была сильна — съ самими Орловыми смолоду въ пріятельствѣ былъ. Прежде чѣмъ фортуна они себѣ сдѣлали, по трактирамъ съ ними вуликалъ да на кулачныхъ бояхъ забавлялся.

Домъ у Сергѣя Михайлыча въ Зимогорскѣ ужестъ какой большой былъ, ровно дворецъ какой... Какъ, бишь, улица-то прозывается?... Да ты долженъ помнигъ, Андрюша... Тутъ еще неподалеку архіерейскій домъ, у Тихона чудотворца въ приходѣ помнится мнѣ.

— Да вѣдь я, бабушка, въ Зимогорскѣ-то никогда и не бывалъ.

— Что ты дурачишься, *mon petit*... Какъ это ты въ Зимогорскѣ не бывалъ?... А забылъ какъ у Сергѣя Михайлыча на именинахъ либо на его рожденіи, хорошенько не запомню теперь, ты съ Лизанькой Соболевой вальсъ-казакъ танцевалъ да изъ озорства робу ей разорвалъ? Тебя, раба Божія тутъ же въ угольную свези да и высѣли.... Что?... Этого видно не помнишь?

— Да когда жъ это было, бабушка?... Что вы?

— Давно, *mon cousin*... Полагаю, не въ томъ ли году, какъ графъ Калиостро въ Петербургъ пріѣзжалъ.

— Да вѣдь этому больше пятидесяти лѣтъ, бабушка, а мнѣ и двадцати нѣтъ...

— И въ самомъ дѣлѣ, *mon pigeonneau*, — удивилась бабушка. — Правду ты сказалъ... Такъ знаешь ли что?

— Что, бабушка?

— Это твоего папеньку высѣкли, Петрушку.... Такъ, точно; вспомнила я теперь — доподлинно Петрушу... Какая однакожь память-то у меня стала, дружокъ, — все-то я забываю... А, кажись бы, какіе еще мои годы?.. Про что, бишь, я говорила, Андрюша?

— Про Сергѣя Михайлыча, бабушка.

— Да, про Сергѣя Михайлыча. Безподобный былъ мужична, — во всемъ изрядный господинъ. Старехонекъ былъ, а любилъ съ дамами поферлякурничать, — не ставилъ того во грѣхъ, царство ему небесное!.. Ужестъ какіе, бывало, гнилые взгляды кидаетъ да томные вздохи пускаетъ... Право, еслибъ маленько былъ помоложе, каждый бы изъ нашей сестры, до кого ни доведись, можно бы было съ нимъ до смерти залюбиться.... По чести, всѣ мы были до Сергѣя Михайлыча охотницы... *Je vous assure*, даромъ, что сѣдой, а *les grands succès* между нами имѣлъ... И какъ славенъ былъ, когда бывало зачнетъ съ дамами дурачиться... Ухъ! какъ славенъ!.. Безпримѣрно... Съ *les demoiselles* не любилъ — визгу, говорить, отъ нихъ очень много — все, бывало, съ дамами, съ замужними... Изъ нашей сестры каждая тотчасъ готова была падать и задурачиться съ нимъ до безумія.... Старенецъ только былъ: бывало и толку всего, что языкомъ поболтаетъ, да развѣ, развѣ когда рукамъ волю дастъ... Ухъ какъ, бывало, любилъ онъ нашу сестру, *tête-à-tête* конечно, *de tater, de toucher, sonder*.... Ахъ, какъ было утѣшно!... Помнишь — *mon coeur*?.. И на чужіе амуры любилъ посмотрѣть и много помогать...

Ахъ, какъ любилъ, покойникъ, объ амурахъ возировать ¹⁾, ахъ, какъ любилъ!... Бывало, не токма у мужчинъ, у дамъ у каждой до единой переспросить — кто съ кѣмъ «махается», какимъ вѣромъ, какъ и куда прелестная нимфа свой вѣрь держать ²⁾.... Будь молодая, будь старая, въ дѣвкахъ сиди, замужь выдь — ему все одно.... Игумению увидить и ту разспросить, съ кѣмъ и какъ.... Dans la haute société всѣ благородныя интрижки зналъ до тонкости.... Очень это было занято Сергѣю Михайлычу.

А радушный какой былъ, гостепріимный. Лѣтнимъ вечеркомъ, бывало, выпавшись послѣ обѣда, надѣнетъ бѣлый камчатный плафрокъ, звѣзду къ нему пришпилить, кавалерственную ленту черезъ плечо, да за ворота на улицу и выйдетъ. Тамъ на лавочкѣ, что у калитки, усядется.... И тросточка при немъ, никогда съ ней не разлучался, потому что на всякомъ мѣстѣ приводилось поучить того, кто въ умѣ развязенъ ³⁾. Самъ знаешь, топ соеиг, дураку и въ алтарѣ не велѣно спускать.

Идетъ, бывало, по улицѣ кто-нибудь de la noblesse, променадъ, понимаешь ты, дѣлаетъ. Еще издали Сергѣю Михайлычу решиектъ, потомъ шляпу подъ мышку и подойдетъ къ нему. Сергѣй Михайлычъ весело, привѣтно комплиментъ ему скажетъ:

— Здорово, собака!... Сядемъ рядомъ, потолкуемъ ладкомъ.

¹⁾ Causerz.

²⁾ *Махаться съ кѣмъ* въ XVIII стол. употреблялось вмѣсто нынѣшняго *волочиться за кѣмъ*. Переводъ s'éventer—обмахиваться вѣромъ. Вѣрь какъ и мушки, пригипленные на лицо, играли важную роль въ волочитствахъ нашихъ прадѣдовъ и прабабушекъ. Куда пригиплена мушка, какъ и куда махнула красавица вѣромъ—это была цѣлая наука.

³⁾ Глушій.

Тотъ разумѣется въ ручкѣ, и рядышкомъ съ Сергѣемъ Михайлычемъ на лавочкѣ усядется... Самъ посуди, *mon plaisir*, до кого не доведись — всякому честь съ генераломъ бокъ-о-бокъ посидѣть!... Хотя бъ и не долгое время — а все-таки честь. Малочиновные дворяне и недоросли нарочно по угламъ улицы изъ своихъ холопей вершниковъ ставили — и только тѣ вершники завидать, бывало, Сергѣя Михайлыча у калиточки, тотчасъ сломя голову въ своимъ господамъ и скачутъ. Сѣлъ, дескать. Тѣ въ перегоньшки къ Тихону чудотворцу въ приходъ. За угломъ изъ каретъ выйдутъ, да пѣшечкомъ, будто для ради променада, въ генеральской калиточкѣ и пробираются... А другъ друга для того упреждали, чтобы прежде чиновныхъ поспѣть и хоть одинъ бы моментъ съ Сергѣй Михайлычемъ рядышкомъ посидѣть. Случалось, *mon coeur*, что за угломъ-то и до кулаковъ дѣло доходило, потому что каждому желательно было первому у Сергѣя Михайлыча ручку поцѣловать. А на глазахъ у него браниться не смѣли: бывало, и тросточкой...

Кто сядетъ рядкомъ съ Сергѣемъ Михайлычемъ, тому онъ, вынувши изъ кармана табатерочку, понюхать поднесетъ. Гость возьметъ съ благодарностью понюшечку *violée*. Въ наше время, *mon pigeonneau*, всѣ люди *de la société* безпремѣнно нюхали; иной ежели табакъ очень ужъ противенъ, ѣдучи въ гости нарочно кружевную манишку и манжеты табакомъ посыпалъ, а сидючи въ гостяхъ то и дѣло, бывало, въ рукахъ табатерку вертитъ, чтобъ зазору отъ другихъ не принять — онъ-де не нюхаетъ.. — И дамы нюхали, *et demoiselles* при табатерочкахъ ходили. Маленькія такія табатерочки у нихъ были, *voiture de l'amour* прозывались, для того что изъ нихъ безпримѣрно какъ способно было аматѣрамъ *les billets*

doix передавать. А нынче и табатерки, mon enfant, переводятся — на курево бросились всё... Не хорошо!..

Снабдивши себя генеральскимъ віолэ, пойдетъ дворянчикъ Сергѣю Михайлычу комплиментировать съ должной политикой и съ отмѣннымъ учтивствомъ.

— Удостойте, дескать, сказать, ваше превосходительство, въ какой позиціи драгоцѣнное ваше здоровье находить изволите?

— Ничего, молвить Сергѣй Михайлычъ, — живемъ да хлѣбъ жуемъ твоими святыми молитвами. А ты, собака, какъ себя перевертываешь?

— Досконально доложу вашему превосходительству, что такая ваша атенція раскрываетъ всё мои сентименты и объявляетъ нелестную преданность къ персонѣ вашего превосходительства.

— Загаланилъ, пустилъ въ ходъ мельницу!... Полно-ка ты, собака, пѣ-пусту чепухи у меня не мели, а изволь по всей откровенности рассказывать, съ кѣмъ махаешься, на кого гнилые взгляды кидаешь?

Не успѣетъ дворянчикъ Сергѣю Михайлычу про свои амурныя цѣпи путемъ доложить, какъ изъ-за угла другой господчикъ вывернется, починовнѣе. Подойдетъ въ калиточкѣ, отдастъ респектъ Сергѣю Михайлычу, ручку у него поцѣлуетъ, Сергѣй Михайлычъ и скажетъ ему:

— Здорово, собака, здорово... Садись поближе... А ты долой, по тому резону, что этотъ постарше тебя. И велить первому сѣсть на тротуарную надолбу, либо холопамъ прикажетъ стулъ ему изъ хоромъ принести.

Такимъ манеромъ одинъ по одному да весь le grand monde зимогорскій въ калиточкѣ Сергѣя Михайлыча, бывало, и соберется: старые, молодые, женатые, холостые, дамы, барышни — всё тутъ. И драгунскій генералъ, и комендантъ, и намѣстникъ съ намѣстничихой, заслышавъ,

что у Сергѣя Михайлыча гости на улицѣ, всѣ туда же. Иной разъ по сосѣдству и владыка пѣшечкомъ придетъ, очень былъ друженъ онъ съ Сергѣемъ-то Михайлычемъ. Изъ дома всѣ стулья, всѣ канапе повытаскаютъ, а по угламъ улицы полиція, — подлымъ людямъ ѣзду воспрещаетъ по той причинѣ, что *la haute société* забавляется.

Горячее вынесутъ, подаютъ что кому на потребу: пуншъ, взварцы, глинтвейны, а дамскому полу — чай, оршадъ, фрукты, заѣдки и всякія закуски... Втихомолочку, *mon pigeonneau*, потчивали нашу сестру и наливочкой, только не при людяхъ, а въ заднихъ горницахъ, либо въ кладовой... Марья Михайловна — арапка крещеная — тѣмъ дѣломъ у Сергѣя Михайлыча заправляла. Славная дѣвка была, даромъ что раба... Ежели погода тихая, на тротуарахъ столы поставятъ, за карты сядутъ. Кто постепеннѣй да поскупѣе — въ ломберъ, въ ламушъ, въ тентере, а кто помоложе да потороватѣе — въ фараонъ ¹⁾, въ квинтичъ и въ рокамболь. Дамы *et demoiselles* въ наше время тоже охотницы были въ картишки-то перекинуться, иныя фараонъ даже метали... А молоденькія дѣвицы — больше въ марьяжъ, въ тресетъ, въ басетъ, да въ никитишны.

Разгуляются очень, велитъ Сергѣй Михайлычъ музыкантамъ играть да архіерейскимъ пѣвчимъ пѣть. Тогда въ Зимогорскѣ публичный театръ ужъ былъ: князь Копавской, тамошній помѣщикъ, цѣлу деревню во сто дворовъ въ актеры поворотилъ, музыкѣ обучилъ ихъ, танцамъ и всему другому. Пятнадцать лѣтъ бился съ сиволапами, а на своемъ поставилъ таки: всякія пьесы му-

¹⁾ Банкъ.

жики да дѣвки стали у него безподобно разыгрывать... Музыканты у Сергѣя Михайлыча бывали театральные, князя Кошавскаго: аріи и рондо въ сласть разыгрывали — изъ «Дидоны», изъ «Рѣдкой Вещи» изъ «Діанина Древа», а пѣвчіе духовные канты, бывало, поютъ да хохлацкія пѣсни.. Самъ владыко, съ пуншикомъ въ рукахъ, иной разъ бывало имъ подтягиваетъ... Ужестъ, какъ было весело!.. И то, случалось, что на улицѣ-то полонезъ почнутъ водить да менуэты танцовать. Хоть не больно гладко, да не бѣда — весело-то за то какъ, смѣху-то что!.. Ахъ, какъ утѣшно жила мы въ старые годы, топ соеиг... Безпримѣрно, какъ утѣшно!.. Можно чести приписать. ужъ истинно можно...

Ужину, бывало, подадутъ, тоже на вольномъ воздухѣ. На дворѣ у Сергѣя Михайлыча, возлѣ кухни, нарочно для этого случая палатку разбивали. Поужинавши, это постарше, въ палаткѣ останутся и пьютъ тамъ мертвую вплоть до утра, а молодые въ садъ, съ дамами да съ барышнями променады пойдутъ дѣлать. Садище у Сергѣя Михайлыча десятинахъ на пяти былъ — отдѣланъ неза-тѣйно, за то для утѣхъ и веселья очень былъ способенъ: аллеи темныя, деревья высокія, шпалеры изъ акаціи да изъ сирени густыя, а за шпалерами куртины съ вишеньемъ, съ малинникомъ да съ сиродиной... Бывало, послѣ ужина парочки по саду разбредутся... Тамъ шепчутся, тутъ вздыхаютъ, да то и дѣло чмокъ да чмокъ, чмокъ да чмокъ.... Всего бывало, топ pigeonneaux!... Ухъ, чего не бывало, топ соеиг!.... И все-то прошло, все-то миновалось!...

А дамы тогдашнія и барышни не того калибра были, что нынѣшнія. Что нынѣче? Дрянъ! Очень ужъ не въ мѣру лебедки разсентиментальничались. Такими innocentes хотятъ себя казать, что смотрѣть даже гадео... А все при-

творство одно, лицемѣріе... Ей-богу. — Не вѣрю я имъ, *mon* *soeur*, и ты не вѣрь — это онѣ такъ только — дурь одну на себя накладываютъ. Вся эта ихняя *modestie*, вся эта ихняя *rudicité* — одна только умора, — онѣ одинъ только вздоръ посадили себѣ въ голову. По-вѣрь, *mon* *petit*, что никакая женщина безъ мужчины дня одного прожить не можетъ... Совсѣмъ напрасно онѣ жеманятся и кажутъ себя *inaccessibles*.... Мы это понимали, и отъ того въ наше время все было просто, къ натурѣ ближе.... А теперь?... Не переродились же онѣ, наши же внуки, — отъ насъ же родились!.. Притворство одно, лицемѣріе!... То же самое творятъ, что и мы въ свои годы, втихомолочку только.. А это по моему ужъ гадко... *N'est-ce pas, mon* *petit*?... Опять теперь эта *la sensibilité* — одинъ вздоръ, *mon* *petit*, безотмѣнно одинъ вздоръ. Ну, на что это похоже? иная словно по кровномъ покойникѣ разрюмится, какъ ходя по лугу цвѣточекъ помнетъ аль бабочку раздавить.... Фу, ты пропасть, какіе сентименты!... Да насъ, бывало, мужчины-то самихъ мiali да давили, а вѣдь не плакали же мы.... А это что за мода такая?.... Одно только безуміе, *mon* *petit*... Объ чемъ, бишь, я говорила, Андрюша?

— Объ вашемъ кумирѣ, бабушка, объ Сергѣй Михайлычѣ.

— *Oui, mon* *cher, c'est* *vrai*... Certainement *il* *était* *notre* *idole*, *il* *était* *idole* *de* *nos* *âmes*.... Ухъ, какой безподобный былъ!...

— Однако, скажите, бабушка, неужели всѣ до единого передъ нимъ такъ низкопоклонничали?..

— Ахъ, *mon* *soeur*, какъ ты говоришь!... Тебя даже слушать непріятно.... Ты мартинистъ — я это вижу.... Ахъ, Андрюша, Андрюша — не опечаль бабушку-старуху!... Долго ли, *mon* *petit*, къ Шешковскому угодить?... Низко-

поклонство, говоришь.... Да развѣ можно такъ называть это.... уваженіе, это.... это... высокопочитаніе, это.... *cette consideration et deférence, que nous avons à Сергѣй Михайлычъ*.... Стыдно, *mon petit*, нехорошо... Ты то не забудь, что Сергѣй Михайлычъ былъ штатскій дѣйствительный совѣтникъ, а вѣдь это не *quelque chose des vétilles, mon soeur*. — Тогда же генералы-то не то, что теперь — въ диковинку бывали.... А главное, то вспомни, *mon bijou*, что Сергѣй Михайлычъ большую фортуну имѣлъ и у него при самомъ дворѣ были сильные милостивцы.... Самъ князь Григорій Александрычъ съ руки ему былъ; не разъ изъ Молдавіи за солеными огурцами адъютантовъ къ нему присылалъ!.... А ты—низкопоклонство!.. Стыдись, радость моя!...

— Да какъ же, бабушка? И ручку-то у него, точно у архіерея, цѣловали, и палкой-то онъ всякаго билъ...

— А за то, *mon cher*, кромѣ пользы ничего нельзя было и получить отъ Сергѣя Михайлыча. Вездѣ у него были благопріятели, все могъ сдѣлать, что только душѣ его угодно. Къ мѣстечку ль доходному кого пристроить, тяжба ль у кого, подѣ судъ ли кто угодить — всякаго Сергѣй Михайлычъ выручить, изъ глубины морской сухимъ вытащить, умѣй только подойти къ нему. Надежнѣй его заступы и быть не могло; захочетъ, говорю — со дна моря вытащить... Ему, бывало, стоитъ только перомъ черкануть — все въ твое удовольствіе будетъ. Въ коллегіяхъ ли дѣло, въ сенатѣ ли — ему все равно, потому что вездѣ рука... А ужъ, бывало, кто подѣ гнѣвъ къ нему попадетъ, тотъ лучше ложись да помирай... Бывали случаи...

— Какіе жъ это случаи, бабушка?

— Какихъ не было, радость моя! Всѣхъ бывало, *mon soeur*... И всегда такъ выходило, что кто ни взду-

маеть супротивничать Сергѣю Михайлычу, къ нему же потомъ съ повинной придетъ, у него же заступы да милостей станетъ просить. Человѣкъ былъ—сила. Да помнишь, я думаю, какъ онъ смирилъ Боровкова Ивана Никитича, когда тотъ за наслѣдствомъ Настасьи Петровны въ Зимогорскъ прїѣзжалъ?...

— Какъ же мнѣ помнить, бабушка? Я тогда еще не родился.

— Точно, точно, родной — правду ты говоришь. Да, правду. — Такъ видишь ли, *mon petit*? Боровковъ и самъ не мелкой руки дворянинъ: четыреста дворовъ крестьянъ у него, вѣкъ свой въ Питерѣ жилъ, ко двору прїѣзды имѣлъ, даже по воскресеньямъ на куртагахъ бывалъ.. А какъ вздумалъ не уважить Сергѣя Михайлыча, такъ онъ его въ бараній рогъ согнулъ... Иванъ Никитичъ послѣ того ползалъ, ползалъ передъ нимъ, прощенье просивши...

А зла не помнилъ; добрый былъ человѣкъ, незлобивый... Боровкову всѣ вины отдалъ и все къ его удовольствію сдѣлалъ... Да... Кромѣ должнаго, Сергѣй Михайлычъ ничею отъ другихъ не требовалъ: отдай ему аттенцію да поцѣлуй ручку, такъ онъ удавиться готовъ за тебя.

— Что жъ такое съ Боровковымъ-то онъ сдѣлалъ?..

— А видишь ли, радость моя, Боровковъ Иванъ Никитичъ роднымъ племянникомъ доводился кеславской помѣщицѣ, вдовѣ премьеръ-маіора, Настасьѣ Петровнѣ Соколовой... Да постой, Андрюша, — я лучше тебѣ про Настасью-то Петровну про самое расскажу... *C'était la femme remarquable, mon cousin*. Много говорить о себѣ заставила... Только вотъ что, не пора ли тебѣ баньки, ангелъ мой?.. И у меня глаза что-то слипаются... Лучше завтра про Настеньку-то я расскажу тебѣ... А теперь

поди-ка съ Богомъ — усни со Христомъ, mon enfant...
Дай-ка я тебя перекрещу... Христосъ съ тобой, пріятный
сонъ!.. А мнѣ еще помолиться надо... Молчи ты у меня,
Андрюша, — будешь богатъ, mon soeur — вымолю тебѣ
Воротынецъ.

II.

Настеньца Боровцова.

— Бабушка!

— Что, голубчикъ?

— А что жь вчерашнее-то общаніе?..

— Какое общанье, mon petit?

— А про Настасью-то Петровну рассказать.

— Про Настеньку-то? Да развѣ я тебѣ общала, Анд-
рюша?

— А развѣ вы забыли, бабушка?

— Не помню, голубчикъ. Хоть убей — не помню.
Память-то у меня, не знаю съ чего, какая-то стала ко-
роткая. Отъ чего бы это, mon petit?...

— Отъ старости, бабушка.

— Полно-ка ты.... Озорникъ этакой... Все бы надъ
бабушкой ему потѣшаться.... Молодъ еще — материно
молоко на губахъ не обсохло.... Отъ старости!.... Развѣ
годы мои великіе?... Шестидесятъ восемь либо шесть-
десятъ семь — развѣ это большіе годы?... Вотъ бабушка
моя покойница, княгиня Марья Юрьевна Свиблова, цар-
ство ей небесное, жила — такъ ужъ можно сказать,
что жила.... Большіе годы имѣла!.. Ста десяти годовъ
померла, — царя Алексѣя Михайловича помнила.... Когда
великій государь овдовѣлъ, по скорости зачалъ онъ
вдовствомъ своимъ скучать и указалъ со всего царства
плебейскихъ дѣвокъ въ Москву свозить, которы были

покрасовитѣе. И обиралъ царское величество изъ тѣхъ дѣвочъ себѣ въ царицы. И бабушку на смотрѣ привозили, а смотрѣлъ ее великій государь въ постелѣ сонную — на Спиридона Поворота, двѣнадцатаго значить декабря. — А была бабушка-то изъ роду князей Сонцевыхъ... И великому государю угодна не явилась — стала царицей Наталья Кириловна Нарышкиныхъ.... Въ молодыхъ своихъ годахъ сидѣла бабушка у царицы Агафьи Семеновны въ верховыхъ боярыняхъ, а когда царица отъ временнаго царствія въ вѣчный покой представилась, старая царевна Татьяна Михайловна бабушку въ мастерскую свою палату взяла и къ шитью архіерейскихъ шапокъ приставила.... Чего-то, бывало, не поразкажетъ покойница! И про стрѣльцовъ, какъ они Москвой мутили, и про капитановъ ¹⁾, и про Нѣмцевъ, что на Кокуѣ ²⁾ проживали.... Не жаловала ихъ бабушка, — ухъ, какъ не жаловала — плуты, говоритъ, были большіе и всѣ сплошь урѣзанные пьяницы.... Францъ Яковличъ Лефортъ въ тѣ поры у нихъ на Кокуѣ-то жилъ, и такіе онъ тамъ пиры задавалъ, такіе «кумпанства» строилъ, что на Москвѣ только крестились да шепоткомъ молитву творили.... А больше все у виннаго погребщика Монса эти «кумпанства» бывали — для того, что съ дочерью его съ Анной Францъ Яковличъ въ открытомъ амурѣ находился... Самолично покойница бабушка княгиня Марья Юрьевна ту Монсову дочь знавала. — Что это, говоритъ, за красота такая была, даромъ, что дѣвка гулящая. Такая, говоритъ, красота, что и рассказать не можно.... А дѣвка та, Монсова дочь, и сама фортуны сдѣлала и родныхъ всѣхъ въ люди вывела. Сестра въ

¹⁾ *Капитонами* называли раскольниковъ.

²⁾ *Кокуемъ* называлась Нѣмецкая Слобода въ Москвѣ.

штатсъ-дамахъ была, меньшей братъ, Васильемъ звали, въ шамбеляны попалъ, только-что передъ самой кончиной перваго императора ему за скаредныя дѣла головку передъ сенатомъ срубили.... Долго торчала его голова на высокомъ шесту.... Молчи, Андрюша, будь умникъ, а я тебѣ когда-нибудь на досугѣ все расскажу, что бабушка покойница про эти дѣла мнѣ рассказывала.... Затѣйныя исторіи, *mon pigeonneau*, оченно затѣйныя — есть чего поразсказать, есть чего и послушать.... А теперь-то про что бишь я говорила?

— Про Настасью Петровну хотѣли, бабушка, говорить....

— Такъ, точно такъ, *mon bijou*, про Настасью Петровну, про Соколиху то есть — а по батюшкѣ-то она Боровкова — генераль-поручика Петра Андреича Боровкова дочь.... Знала я ее, *mon coeur*, до тонкости знала съ самага ея малолѣтства. Помоложе меня была... Годами, я полагаю, шестью, либо семью, однакожь въ куклы вмѣстѣ игравали. Я-то, признаться, ужъ замужемъ въ тѣ поры была, а Настенькѣ седьмой либо восьмой годокъ пошелъ.... Молодехонька вѣдь я замужъ-отъ шла, Андрюша, всего по четырнадцатому годочку и для того, года три замужемъ живши, все еще ребячье въ разумѣ-то держала.... Покойникъ твой прадѣдушка Федоръ Андреичъ, дай Богъ ему царство небесное, къ каждому, бывало, Божьему празднику безотмѣнно куколку мнѣ купить.... «На-ка, молвить, женушка-неженушка, побалуй, позабавься».... Дай Богъ ему царство небесное — любилъ меня покойникъ... И какія куклы-то покупалъ онъ, Андрюша!... Нюрембергскія!.... Такія были затѣйныя, такія утѣшныя, что, кажись бы, вѣкъ въ нихъ играла.... Безпримѣрныя куклы!.. А нынче, *mon coeur*, и ихъ ужъ не видно — нюрембергскихъ-то.... Все, что

ни было въ старыя годы хорошаго — все перевелось!.... О, охъ, охъ, охъ!... Про что бишь я говорила, Андрюша?

— Про Настасью Петровну, про Боровкову, бабушка.

— Да... да... Про Настеньку... Знала ее, топ соеиг, самымъ короткимъ манеромъ знала... И въ малолѣтствѣ знала, и при дворѣ государыни Екатерины Алексѣевны, въ тѣ пору, какъ самые первые царедворцы, ровно огня, ея язычка стали бояться...

Спервоначалу рѣдкостная и премилая особа была: генеральская дочь, съ немалымъ достаткомъ, а изъ себя столь пригожа, что бывало какой ни на есть петиметръ только взглянетъ на нее, такъ и заразится до безумія... Ухъ, какъ много отъ нея господчиковъ терзалось! По чести, красавица была отмѣнная... Одѣвалась какъ надо быть щеголихѣ первой руки... Какъ теперь гляжу на нее, когда ее въ первый разъ въ свѣтъ вывели... Было это на балѣ у принцессы курляндской, у той, что отъ отца съ матерью изъ Ярославля сбѣжала и въ нашу вѣру перекрестилась. Государыня Елизавета Петровна за это за самое замужь ее за барона Черкасова выдала.... Горбатенька была и съ лица не больно казиста... Ухъ, какъ славна была въ тотъ вечеръ Настенька!... Диковинно какъ пригожа... Сама государыня въ тотъ вечеръ изволила ей первую свою аттенцію сдѣлать—къ ручкѣ пожаловала... Было тогда на Настенькѣ фурро-ферме изъ бланжеваго транценеля съ черными брабантскими кружевами, фижмы съ крылышками, на головѣ пудра, конечно, и прическа à la cochet, съ локонами по плечамъ. Личико бѣленькое, нѣжное, улыбочка умильная, брови—соболь сибирскій, и мушки. Одна мушка надъ лѣвой бровью налѣплена, другая на лбу у самаго виска. Петиметры отъ тѣхъ мушекъ въ дезеспуарѣ были, для того,

что мушка надъ лѣвой бровью непреклонность означаетъ, а на лбу, у виска—sang-froid.

Танцовала Настенька прелестно и, по чести сказать, всѣмъ на удивленье. Въ полонезѣ павой, бывало, такъ и выплываетъ, талию маленько на бокъ перегнетъ, вѣеръ къ губамъ приложить... Прелесть!... Ростъ опять какой!.. Стройность какая!... Одно слово... *une taille svelte et bien proportionnée*. Королева—по чести—королева!... У Ландэ первой ученицей была... Ахъ, нѣтъ—постой, Андрюша, постой,—это у Ландэ-то я училась. Первый былъ *maitre de ballet* при государынѣ Елизаветѣ Петровнѣ—у него и государь Петръ Ѳеодоровичъ обучался и государыня Екатерина Алексѣевна, когда еще на Москвѣ въ невѣстахъ проживала... Настенька къ Ландэ не попала для того, что онъ на ту пору, какъ ей танцамъ пришла пора обучаться, — померъ... Значить, она училась у Гранже—тоже знатный былъ *maitre de ballet*... Изрядные балеты строилъ въ эрмитажномъ театрѣ: *le Faune jaloux, Apollon et Daphnys*.—Безпримѣрно, какъ прекрасно!... И танцевать Гранже обучалъ отменно, ну, то возьми, что Панинъ къ государю Павлу Петровичу для выучки танцамъ его приставилъ, значить хорошій *maitre de ballet* былъ... У него-то Настенька и училась, и такъ изрядно ее Гранже обучилъ, что не разъ ее на шляхетный театръ въ Зимнемъ дворцѣ Галатею представлять наряжали.... Ухъ, какъ славна была Настенька, какъ бывало Галатею представляет!... Съ золотымъ *parillon* въ рукѣ *raz de trois* съ графинями Чернышовыми поидеть... Да вотъ тебѣ, Андрюша, одно слово—ужь какъ безпримѣрно танцевала Глѣбова падчерица—Софья Николаевна Чоглова, знаешь, которую государь Петръ Ѳеодоровичъ *la fraile de la cour* сдѣлалъ.—Хоть и криво-бока маленько была, а весь свѣтъ собой восхищала, однакожъ

Настенька Боровкова и ее, бывало, за поясъ заткнетъ. Манимаску да матрадуры не въ примѣръ лучше Чогловой она танцевала.—Та бывало чуть не лопнетъ съ досады, на нее глядя.—И въ минуэтахъ Настенька ни разу въ грязь лицомъ себя не ударила... Да...

И такая была скромница, такая добрая, кроткая, безотвѣтная... По чести, топ соеиг, когда было ей шестнадцать либо семнадцать лѣтъ—ангеломъ небеснымъ всѣ ее почитали. Да... *C'était une personne compatissante et sensible.*

Отецъ съ матерью души въ ней не чаяли: была у нихъ Настенька одна единственная дочь—дѣтище молѣнное, прошеное. Такъ въ глаза и глядѣли ей... Тѣмъ дѣву и попортили, что съ молодую полную волю ей дали во всемъ. Не знавала Настенька грознаго слова родительскаго, не слыхивала слова запретнаго — на волѣ да въ холѣ жила какъ хотѣла... Ну, и сдурилась... Совсѣмъ сбилась съ похвей!... Такъ сдурилась, топ petit, что въ двадцать лѣтъ ее узнать было невозможно....

А все книги... Книгъ зачиталась — и зашелъ у ней умъ за разумъ. Читала все что ни попало, безъ толку, безъ разбору—а отецъ съ матерью не запрещали: «читай, молъ, все что полюбится». И набралась Настенька дури да чепухи,—тѣмъ и себя погубила...

Еще въ ребячьихъ годахъ много была начитана—въ нюрембергскія бывало забавляется, а сама наизусть Расиновы трагедіи да «Генріаду» такъ и чешетъ... Разставить куклы на столѣ да и почнетъ изъ «Медеи» декламировать....

Это бы ничего — книги хорошія... А какъ было ей лѣтъ шестнадцать либо семнадцать, попадись ей Лапосеева книга *L'Enfant prodigue*. Прочитала ее Настенька да въ comedies larmoyantes и втянулась.... Изсентимен-

тальничалась, конечно, а потомъ въ Жанъ-Жаку Руссо пристрастилась. Натура, видишь, больно ей по нутру пришлась, да еще не знай какія-то тамъ *les droits de l'humanité*... И зачала дурить.

«По моему, *mon bijou*, ужъ если разобрала ее охота книги читать, романы читала бы... Не въ примѣръ пріятнѣе, и сдуриться никакъ невозможно... А въ старые-то годы, Андрюша, какіе неподобные романы печатали.... Ужестъ какіе затѣйные!—Теперь, я такъ полагаю, *mon pigeonneaux*, что такъ и печатать не умѣютъ. Лесажевы романы взять на прикладъ — Жильблязъ де Сантильянь или Хромоногаго Бѣса.... Ухъ, какіе знатные романы!... Читалъ ли ты ихъ, Андрюша?

— Читалъ, бабушка.

— Очень хорошіе романы. Ты мнѣ почитай ихъ когда-нибудь. Мнѣ бы это было очень пріятно, потому что эти романы безпримѣрные... А то еще въ другомъ родѣ были у насъ внижечки — это ужъ самыя затѣйныя.. Читалъ ли, голубчикъ, Боккачіо?... А?...

— Читывалъ, бабушка.

— А сказочки Лафонтеновы читалъ? Не *Fables de Lafontaine*, а сказочки, сказочки?

— Читывалъ и сказочки, бабушка.

— Э!... плутишка!... Ужъ успѣлъ!... А не бойсь, мнѣ никогда не почитаетъ!... Лѣнь, видно, бабушку-то старуху потѣшить?... А не правда ли, *mon coeur*, какія утѣшныя сказочки?... Самыя затѣйныя!... По чести, все мы были до нихъ охотницы... А Настенька ихъ не читала и ни до какихъ романовъ склонности никогда не имѣла... Къ философіи, видишь ли, пристрастилась:—все бы ей Монтескьё, да Дидро, да Жанъ-Жакъ... Оно, правда, въ тѣ пору и при дворѣ это въ модѣ было: — сама государыня съ Вольтеромъ въ перепискѣ была, от-

того и метнулись всѣ въ философію, только не надолго, для того, что философія-то намъ не къ лицу пришлась... Въ самую ту пору и вздурилась моя дѣвка. «Теперь, говоритъ, пришелъ золотой вѣкъ Астреи — свободнымъ языкомъ можно обо всякой пользѣ говорить»... И пошла и пошла, да по скорости и договорилась до сибирскихъ городовъ... Вотъ тебѣ и Астрея!...

— Что жъ съ ней сдѣлалось, бабушка?

— Извѣстно что — съ ума спятила. Перво-на перво за то всѣхъ зачала шпынять, что дуракъ да шутовъ при себѣ держать. Это, говоритъ, звѣрскій обычай, варварамъ подобный... Поди вотъ ты съ ней...

— Да развѣ не правда, бабушка?...

— Правда?... Хороша правда!... Признаюсь!... А почему это, позвольте васъ спросить, не держать дворянину при себѣ дурака?... Это очень забавно!... Ты то вспомни, mon rigesonneaux, что не только у знатнаго шляхетства, а при всѣхъ даже королевскихъ дворахъ шуты и дурки не переводились.... И у насъ, въ Питерѣ, при дворѣ императрицы Анны Іоанновны бывали шуты, да еще какіе!.. При государыниной собачкѣ князь Волконскій въ нянькахъ состоялъ, князю Кваснигу-Голицыну въ жены не то калмычку, не то камчадалку дали и въ ледяномъ дворцѣ ихъ пристроили... И у перваго императора шутомъ былъ Балакиревъ—человѣкъ тоже родословный, да еще цѣлая коллекція кардиналовъ, а при нихъ князь-папа, а княземъ папой спервоначалу учитель государевъ Зотовъ былъ, а послѣ него Бутурлинъ... Вонъ какіе люди!... Да и сама государыня Екатерина Алексѣевна дурку держать при себѣ изволила — Матрену-то Даниловну. Дурка та городскіе слухи ей переносила.... Всѣ знатные очень боялись ее. Помню я, какъ на моихъ глазахъ въ ней занскивали. Рылѣвъ, оберъ-полиціймейстеръ, въ каж-

дому, бывало, празднику Матренѣ Даниловнѣ и курь, и утокъ, и гусей шлеть, чтобы язычекъ-отъ на его счетъ покороче держала.... Знала я и Матрену Даниловну, самолично знала.

Опять то не понутру Настенькѣ пришлось, что у знатныхъ персонъ блюдолизы приживали. Паразитами ихъ называли тогда... У всякаго человѣкъ по десяти такихъ бывало, а у иныхъ и больше. Всякими манерами они милостивцевъ своихъ потѣшали; кто плясать гораздъ—пляши, кто стихи мастакъ сочинять—оды пиши, а кто во хмѣлю забавенъ—поятъ, бывало, того винищемъ каждый Божій день, ровно свинью... А за то, что они знатнаго человѣка тѣшатъ, каждый день имъ столъ открытый и ко всякому празднику кафтанъ съ плеча... Что жъ тутъ дурнаго, *mon petit*?... Христіанское братолюбіе—больше ничего... Да... любили тогдашніе вельможи бѣднымъ людямъ помощь оказывать.—И сами жили, и другимъ давали жить. А что иной разъ, не разбирая ранга, вспоротъ велятъ паразита—такъ спина-то у него вѣдь не купленная—остались бы кости, а тѣло наживное дѣло—наростеть... Отчего жъ знатному и не потѣшить себя?... Ну, а Настенька не въ ту сторону гнула—все это, говорить, татарское рабство... Вонъ куда метнула!.. Безпримѣрно какъ дурила!..

Да пушай бы еще у себя дома, въ четырехъ стѣнахъ такую чепуху городила—такъ нѣтъ, все бывало поровить при людяхъ дичь нести. Не разбирая никого, такъ бывало и рѣжетъ: и на куртагахъ, и у Локателліа ¹⁾, и на банкетахъ... И горюшка ей мало, хоть самъ князь Григорій Григорьичъ тутъ сиди. Да что Григорій Григорьичъ!

¹⁾ Локателли прежде балетмейстеръ, а потомъ содержатель дома для баловъ и маскарадовъ.

Онъ и самъ подчасъ любилъ такъ же поговорить, какъ и Настенька — за подлый народъ всегда заступу держалъ... А другіе-то, другіе-то! Люди почтенные, сановники — обижались вѣдь!... А петиметры, заразившись Настенькиной красотою, бѣгутъ бывало къ ней, ровно овцы къ соли, а она и почнетъ имъ свои рацеи распѣвать, а тѣ слушають развѣся уши-то, да еще поддакивають.... Иной, въ угоду Настенькѣ, и самъ гдѣ-нибудь на сторонѣ такую же чепуху почнетъ городить... Всю молодежь дѣвка перепортила — такая зловредная стала... И посты и все отбросила... Разъ посовѣтовала я ей на кофее судьбу узнать — и кофее не вѣрить, *mon petit*... Вотъ что значить философскія-то книги!.... Ты ихъ не читай, Андрюша!....

Потомъ на воспитанницъ навинулась. Что онѣ ей сдѣлали — до сихъ поръ ума приложить не могу. Въ стары годы, дружокъ, во всякомъ почти шляхетскомъ домѣ, маломальски достаточномъ, воспитанницъ держали. Особливо охочи были до нихъ бездѣтныя барыни да старыя дѣвки. Въ Питерѣ еще не такъ, а на Москвѣ такъ счету этимъ воспитанницамъ не было. Набирали нищихъ дѣвчонокъ въ подъяческомъ рангѣ, либо у шляхетства мелкопомѣстнаго. Которая барыня штуки двѣ держитъ, которая пятокъ, а очень знатная и десятокъ либо полтора. Учатъ дѣвчонокъ, воспитываютъ себѣ на утѣху, а имъ на счастье....

А старыя дѣвки да барыни бывали охочи до воспитанницъ для того, что съ ними въ домѣ люднѣй и отъ того веселѣе. Къ старью-то петиметры не больно охотно ѣздили: съ праздничной визитой, аль въ именины поздравить, да на званный обѣдъ, а запросто никто ни ногой... А привывши смолodu въ большомъ свѣтѣ съ ама-терами возиться, старушкамъ-то и скученъеко... Вотъ

онѣ для приманки щегольковъ — молодыхъ-то дѣвокъ, бывало, и держать... Коли воспитанницы изъ себя пригожй, отбою отъ петиметровъ нѣтъ — такъ и лнуть, какъ мухи въ меду... А старушкѣ-то весело: глядитъ на молодежь да свою молодость и вспоминаетъ...

Настенька и сѹпротивъ этого во всю ивановскую кричать зачала: это, говорить, рабство, это, говорить, татарское иго, развратъ, говорить, одинъ, а не доброе дѣло. Воспитанницъ, говорить, въ себѣ набирать, все едино, что вольныхъ людей въ холопство закрѣплять.... Такъ при всѣхъ этими самыми словами бывало и ляпнуть... И ужъ какъ на нее старья-то злились. Брякнетъ, бывало, Настенька такое слово гдѣ-нибудь въ большомъ soci  t  , а старья дѣвки, сидя въ углу, либо за картами таково злобно на нее взглянуть да и за табачекъ. И промывали жъ онѣ ей косточки: какихъ сплетокъ не выдумывали, чего про Настеньку не рассказывали — да все вѣдь норовили, чтобъ какъ-нибудь доброе имя ея опорочить.... Злы вѣдь старья-то дѣвки бываютъ, голубчикъ мой!...

Станешъ бывало говорить Настенькѣ:

— Помилуй, мать моя, чт   это ты себѣ въ голову посадила? Какъ же же это возможно сказать, что воспитанницъ не хорошо въ знатномъ домѣ держать? Сироту самъ Богъ призрѣть повелѣлъ...

А она:

— Хорошо, говорить, призр  нїе!... Нечего сказать!.. Наберутъ бѣдныхъ дѣвочекъ да тиранятъ ихъ вѣкъ свой.

— Да какое жъ, говорю, тиранство, mon ange? Развѣ не фортуна для какой-нибудь голопятой дворяночки, что она и танцамъ у придворнаго maitre de ballet учится, и по-французски у выписной мадамы, и всему другому, чт   нужно? Развѣ это не фортуна, что какая-нибудь голь

переватная—съ княжнами, съ графинями вмѣстѣ учится, и послѣ того *le frailes de la cour* ея своей подругой называютъ? Развѣ это не фортуна, говорю, что подъяческому отродью либо мелкопомѣстной дрянн такіе пети-метры, что еще въ колыбели гвардіи сержантами служатъ,—декларасыны въ амурахъ объявляютъ?... Помилуй, говорю, Настенька, вѣдь это умора... Съ ума ты спатила, радость моя!... Не по-дворянски разсуждаешь, та *delicieuse*.

А она:

— Не въ томъ, говорить, мать моя, фортуна человѣческая. Хороша, говорить, фортуна выпала воспитанницамъ княжны Дуденовой!... Одна за моськами нянькой ходить, другая съ утра до вечера по гостиному двору да по мадамамъ рыщетъ, а вечеромъ на кофеѣ воробжить, либо Чети-Минекъ вслухъ читаетъ.—Сегодня, завтра весь вѣкъ одно да одно... Да всѣ капризы княжны переноси, всѣ брани ея и ругательства слушай; она бѣситься начнетъ, а ты ручку цѣлуй у нея.... Не рабство это, не кабала по твоему?... А тутъ еще племянничекъ какой-нибудь станетъ подѣзжать съ своей гнусной любовью—и сохрани тогда Богъ дѣвочку, ежели она не дозволить ему далекѣ забираться: —нагишомъ со двора сгонить.

А это точно было, Андрюша. Случилось это у старой у дѣвки, у графини Тумавской. Ея племянникъ, голштинской арміи поручикъ баронъ фонъ-Ледерлейхеръ, примазываться сталъ къ тетужкиной воспитанницѣ. Отецъ-отъ ея, маіоръ, въ прусской войнѣ былъ убитъ, а мать съ горя да отъ бѣдности померла, потому графиня изъ христіанскаго милосердія и взяла сироту, ихнюю дочку, къ себѣ на воспитанье... Какъ зачалъ баронъ къ маіорской дочери примазываться, она супротивъ его на дыбы — не хочу, говорить.... Онъ и такъ и сякъ —не поддается

дѣвка. Къ тетушкѣ — а графиня души не чаяла въ племянникѣ, бадовень ея былъ. Стала и она маіорскую дочь усовѣщевать — покорила бы барону, а та и слышать не хочетъ — пуцай, говоритъ, женится... Губа-то не дура — въ баронессы захотѣла... Много билась съ ней бѣдная графинюшка: и лаской, и грозой, и косу рѣзала, и въ подвалѣ голодомъ маленъко поморила — ничѣмъ взять не могла — такая была упрямица... Нечего дѣлать — сослала со двора съ тѣмъ имѣньемъ, что послѣ родителей осталось. А родительскаго-то благословенія — тельной врестъ да материно кольцо обручальное...

По времени сказывали, что во вся тяжба пустилась, въ вольномъ домѣ даже проживала... Ну, не дура ли, *mon rigeronneau*? Не въ примѣръ бы ей пристойнѣе бароново метреской быть, чѣмъ такимъ манеромъ графиню срамить — вѣдь всѣ знали, что она ея воспитанница... Вотъ какъ за хлѣбъ-отъ да за соль заплатила!.. Много слезъ пролила бѣдная графиня — отъ такого сраму...

— На ней взыщется грѣхъ маіорской дочери, бабушка...

— Слышите!... Слышите!... Распутную дѣвку къ графинѣ приравнялъ!... Какъ не стыдно тебѣ, *mon soeur*!... Стыдно, *mon petit*, безпримѣрно стыдно такъ непочтительно о знатныхъ персонахъ говорить... Не тебѣ объ нихъ судить: — ты еще молодъ и не столь знатенъ — это всегда ты долженъ помнить.... Вотъ этакъ же, бывало, и Настенька... Что жъ вышло?... Сгубла сударка и слѣдъ простылъ... За такія неподобныя рѣчи часто я ее бранивала — какъ тебя вотъ теперь браню... Дуришь, бывало, говорю, *ma délicieuse*: вздоръ одинъ сажаешь себѣ въ голову... Держать, говорю, воспитанницъ, — дѣло христіанское. А она: — ты, говоритъ, мой свѣтъ, хоть и замужемъ, хоть и постарше меня, а этого тебѣ не понять. — А. чего не понять-то?... Дурила голубка, просто дурила...

Отцу съ матерью такъ-таки и не попустила держать воспитанницъ. Покамѣстъ росла, были у Боровковыхъ три: секретарская дочь да двѣ мелкопомѣстныя дворяночки.... А коль скоро Настенька въ годы вошла, родительскій домъ на свои руки приняла, для того, что съ матерью съ ея кровяной ударъ приключился—ни рукой, ни ногой двинуть не могла. И какъ стала хозяйкой, скоро пошла докучать, не держали бъ родители воспитанницъ. — Такъ вѣдь и выжила ихъ изъ дома.

И не разобратъ: со зла ли такъ поступала Настенька, аль прямымъ дѣломъ дѣвкамъ хотѣла добра. Да вотъ какой случай выпалъ. Въ самое то время, какъ она докучала отцу съ матерью, чтобъ изъ дому всѣхъ трехъ воспитанницъ вонъ, одна изъ нихъ возьми да оспой и захворай... Болѣзнь страшная: либо помрешь, либо на вѣкъ рябой останешься, къ тому же болѣзнь прилипчивая.. Докторъ приказалъ положить больную въ особомъ флигелѣ и тѣмъ, у кого оспы не было, близко къ тому флигелю не подходить... Что жъ ты думаешь?.. Истинно ума лишилась, — сама за больною ходить вздумала... За оспенной-то!.. Отецъ съ матерью ей и такъ, и сякъ, не дается дѣвка подъ ладъ. Однако жъ Петръ Андреичъ на своемъ поставилъ. Стихла моя Настасья Петровна!..

Что жъ? Ночью, бывало, только-что въ домѣ всѣ улягутся, она тихонько башмачки на босу ногу, кунтышъ ¹⁾ на плечи да черезъ дворъ *à petit bruit* во флигель, да тамъ за воспитанницей и почнетъ ухаживать... И представь ты себѣ, Андрюша, — оспа-то вѣдь къ ней не пристала... Зато, когда дошло до вняжны Дуденевой — расцыганила жъ онъ Настеньку. Всѣми богами божилась, что не къ больной, а къ любовникамъ во флигель она бѣгала...

¹⁾ Въ родѣ нинѣшнихъ сапоговъ.

Гораздо спустя, говорить Боровковъ Настенькѣ, отецъ-отъ ея:

— Скучно тебѣ, свѣтикъ мой, одна ты у насъ одинѣшенька, а дѣло твое дѣвичье, подругу бы надо тебѣ. Вотъ вчера съ у Локателя на вольномъ балѣ довелось мнѣ про одного армейскаго капитана слышать... Заѣхалъ сюда въ Питеръ съ кучей ребятишекъ да въ одночасье и померъ. Шестеро сиротъ малъ-мала меньше, ни отца, ни матери, ни роду, ни племени, пить, ѣсть — нечего... Разбираютъ теперь сиротокъ по знатымъ домамъ. Не взять ли и намъ хоть одну капитанскую дочку? Сказываютъ, есть одна годковъ въ пятнадцать — дѣвка-то была бы къ тебѣ подходящая...

А Настенька:

— Нѣтъ, говорить, батюшка, не берите въ домъ... Горькая жизнь сироты, а горче всего въ ея жизни — чужой хлѣбъ. Нѣтъ, батюшка, ради Господа, не дѣлайте этого. — А вотъ что: поѣзжайте-ка вы къ Бецкому, къ Ивану Ивановичу, попросите, чтобъ онъ въ Смольный сиротокъ пристроилъ, а воль комплекту нѣтъ, продайте мои брилліанты, отдайте деньги за сиротъ... Въ воскресенье на куртагѣ сама я княжну Катерину буду просить и къ Делафоншѣ съѣзжу ¹⁾).

И что же? По Настенькинымъ хлопотамъ да по ея просьбамъ взяли вѣдь въ Смольный-отъ двухъ капитанскихъ дочекъ, а когда онѣ отучились, Боровковы замужъ ихъ выдали... И какое приданое Настенька имъ сдѣлала!...

Да такъ ли еще она куралесиала, топъ pigeonneau, то ли еще дерзкимъ своимъ языкомъ говорила!.. Выглянь

¹⁾ Княжна Катерина Долгорукова — первая начальница Смольнаго монастыря, Делафонъ — ея помощница.

ка за дверь, Андрюша, комнатныхъ дѣвокъ тамъ нѣтъ ли.— Не подслушали бы... Прѣ это знать имъ не годится».

«До того подконецъ дошла», шепотомъ продолжала бабушка что вездѣ, гдѣ ни бывала, зачала ровно въ трещетку трещать, будто бы благородному шляхетству ни крестьянами, ни дворовыми владѣть не должно... Они, говорить, такіе же люди, что и мы... Слышишь, *mon petit?*.. Самоё себя къ холопамъ приравняла!.. Никто, говорить, не волѣнъ съ своего человѣка за про винность взыскать... Понимаешь, голубчикъ, куда клонила?.. А все философія да поганья книги, что по цѣлымъ ночамъ читала!.. Все бывало у нея Жанъ-Жакъ да Жанъ-Жакъ — вотъ тебѣ и Жанъ-Жакъ!.. Подлымъ вольности захотѣла! — Да вѣдь вольность-то дана, *mon pigeonneau*, шляхетству, дворянскому корпусу за службы дѣдовъ и прадѣдовъ, а Настасья Петровна моя хамовой породѣ захотѣла вольности!.. Знатныя персоны за то очень на нее сердились и грозились укоротить язычекъ Настенькѣ — значитъ — либо въ монастырь на смиренье, либо въ сумасшедшій домъ за рѣшетку.. Испужалась, надо думать—перестала... Ну самъ посуди, *mon coeur*, пристойно ли дѣвкѣ такимъ манеромъ разсуждать! Ничуть не славно, и совсѣмъ даже неловко!.. Завсегда у нея въ головѣ безпорядокъ былъ!... Потому и звали ее «порченой».

А то какая еще у нея дурь въ головѣ была. Лѣтомъ Боровковы жили на дачѣ, а прежде, когда Настенькина мать здорова еще была, въ подмосковную они ѣздили. Въ деревнѣ-то, какъ ты думаешь, что она? Съ бабами да съ дѣвками деревенскими была за панибрата... Вотъ до какого безобразія дошла!... И что еще выдумала—стала къ отцу съ матерью приставать, чтобъ наняли дядька деревенскихъ ребятишекъ грамотѣ учить.... Умора!... Ну, съ какой стати мужику грамотѣ умѣть?

Крестьянское ль это дѣло? Мужикъ знай пахать, знай хлѣбъ молотить, сѣно косить — а книги-то ему за чѣмъ въ руки. Да дай-ка ему книгу-то — пропѣть ее въ первомъ питейномъ... Ну, Боровковъ Петръ Андреичъ на такую глупую причуду любезной дочки не согласился однако... А тутъ по скорости съ женой его ударъ приключился, въ деревню ѣздить перестали, такъ Настенькины затѣи и не пошли ни во что....

Было ужъ ей тридцать годовъ, а попрежнему была изъ себя хороша, кажется, краше еще съ лѣтами-то дѣлалась... А замужъ не шла и выходить не хотѣла... Много петиметровъ изъ самыхъ знатныхъ персонъ по ней помирало, однакожь она тому не внимала и мушекъ съ виска да съ лѣвой бровки ни для кого не сняла... А охотниковъ до нея было много, отбою отъ жениховъ не было. Оно и понятно: дѣвка не безприданница — въ Кеславлѣ съ деревнями въ Зимогорской губерніи тысячи полторы дворовъ, красота на рѣдкость. Придворные кавалеры и гвардіи офицеры декларасьоны ей объявляли, только Настенька рѣчи ихъ межъ ушей пропускала и хоть бы разъ для кого на правой сторонѣ губы мушке приклеила: — осмѣлся, дескать, и говори...

Иные господчики, по старому обычаю, свахъ засылали.. Однакожь не было имъ ни привѣту... ни отвѣту... А тѣхъ, которымъ, по женихову сродству и по его *position dans le monde*, можно было наругаться маленько, Петръ Андреичъ съ репримандами со двора спускалъ.

Кого ждала Настенька — какого царевича, какого королевича — не знаю. А и то надо сказать, топ соеуг, что вѣдь и на самомъ дѣлѣ царевичъ къ ней разъ присва-
тался — не пошла. Пьетъ, говорить, очень, да носъ больно великъ. Изъ выѣзжихъ былъ: изъ Грузинскихъ, не то изъ Имеретинскихъ — много тогда этакихъ царе-

вичей на Прѣснѣ въ Москвѣ проживало. Только ужь дураковаты были, да на придачу горькіе пьяницы и драчуны.

По времени всѣ возненавидѣли Настеньку.—Всѣ стали ей косые взгляды казать: старыя дѣвки и дамы за то, что про воспитанницъ неумно говорила да сплетни ихнія на чистую воду выводила, молодыя красотѣ ея завидуючи, петиметры за ея sang-froid, а благородное шляхетство за неподобныя рѣчи насчетъ холоповъ... Самыхъ что ни на есть знатнѣйшихъ людей супротивъ себя поставила. — Можешь себѣ вообразить, mon pigeonneau, савонниковъ-то самыхъ, опору-то престола, ворами да казнокрадами въ публикѣ безо всякаго конфуза зачала обзывать. Не безумная ли?... Имени, бывало, не помянетъ, а про чьи дѣла брякнетъ, у того ой-ой какъ подъ тупемя зачесется. За то больше и не влюбили ее.—Всякая дескать, дрянъ, дѣвчонка какая-нибудь, да въ великія государственныя дѣла соваться вздумала! А пущевсего опасались, чтобъ грѣхомъ государыня столь зловредную дѣвку приблизить къ себѣ не соизволила, конфиденткой не сдѣлала бы, въ камеръ-фрейлины не взяла бы!... Государыня и то на куртагахъ и въ Эрмитажѣ безпримѣрную аттенцію Настенькѣ оказывала, а однажды поутру даже про важныя дѣла съ ней говорить изволила... Княгиня Катерина Романовна даже надулась за это на Настеньку... Оно и понятно, mon petit,—всякому вѣдь до себя... Ну, и боялись...

До поры до времени однакожь терпѣли Настеньку. Пущай, дескать, дѣвка досыта наругается, дѣвичья брань на вороту не виснетъ. А какъ подвела Настенька Мякинина Гаврилу Петровича подъ гнѣвъ государыни, такъ и зачали знатныя персоны промышлять—какими бы судьбами беспокойную дѣвку спровадить изъ Петербурга,

духу бѣ ея въ столицѣ не осталось, въ воду бы канула, заглохла бы гдѣ-нибудь въ деревенской глуши, а ежели поможетъ Господь, такъ гдѣ-нибудь и подальше — куда, значить, Макаръ и телятъ не гонялъ.

А подвела Настенька подъ гнѣвъ и опалу Гаврилу Петровича Мякина вѣтъ какимъ манеромъ. На петергофской дорогѣ у отца у ея, у Петра Андреича, дача была. По лѣтамъ, съ той поры какъ заболѣла сама-то Боровкова, они жила на самой той дачѣ... Ходила тутъ въ Настенькѣ изъ ближней деревни крестьянская женка, грибы въ столу носила, ягоды, овощи всякій. Аграфеной, звали, а была изъ экономическихъ. Переѣхали одинъ годъ Боровковы на дачу — нейдетъ Аграфена: сморчки прошли, — нейдетъ, земляника прошла, — нейдетъ, малина зачалась, — Аграфены нѣтъ, какъ нѣтъ. Думала Настенька, что она померла. И очень жалѣла, — къ подлому-то народу ужъ очень пристрастна была.

Лѣто за половину поворотило, какъ однажды рано поутру слышала Настенька знакомый голосъ: «зелены хороши, огурчики-голубчики зелененькіе, бобики турецки, картофель молодой!» Кликнула Настенька бабу, зачала ее спрашивать, куда это она запропастилась, по какому резону половину лѣта у нихъ не бывала.

Заголосила бабенка:

— Ахъ ты, милая моя барышня! Вѣдь Господь своимъ праведнымъ судомъ намъ несчастьемъ послалъ. — Самое горемычное дѣло до насъ грѣшныхъ дошло. — Должны въ разоръ разориться, по міру пойдти.

— Что такое? спрашиваетъ Настенька.

— Хозяина-то моего, седьма недѣля, какъ въ тюрьму посадили.

— Какъ такъ?

— Да такъ же, родная, посадили, да и все тутъ.

— Что жь онъ сдѣлалъ?

— Охъ, ужь дѣло-то его, матушка, такое, что не знаю, какъ рассказать тебѣ. Провинился, моя любезная, мой Трифонычъ, провинился и не запирается — точно, говорить, моя бѣда до меня дошла — виноватъ. Люди говорятъ, въ Сибирь его сошлютъ, да и меня, слышь, съ нимъ. А я къ тому дѣлу нисколько не причинна, только что печку топила да хлѣбы пекла...

— Да что жь онъ сдѣлалъ? Въ душегубствѣ попался, аль въ разбоѣ?

— Ой, нѣтъ, моя хорошая! Такой ли человекъ мой Трифонычъ? Ему Господь и грамоту даровалъ — божественныя книги читаетъ—сдѣлать ли ему такое дѣло?.. А ужь по правдѣ сказать тебѣ, бѣлая ты моя барышня, такъ я, грѣшный человекъ, частенько подумываю, не въ примѣръ бы лучше было Трифону въ разбоѣ аль въ душегубствѣ попасться... Для того, что по убійственнымъ и по разбойнымъ дѣламъ хоть не зачастую, а все же таки изъ тюрьмы люди на волю выходятъ, а Трифонычъ-отъ мой, по своей простотѣ да по глупости, въ такое дѣло втюрился, что и повороту нѣтъ изъ него...

— Да что жь онъ сдѣлалъ такое?

— Охъ, матушка моя, большое дѣло онъ сдѣлалъ: орла двѣнадцать лѣтъ жегъ.

— Какъ орла жегъ? Какого орла?

— Орла, матушка, точно орла. — Въ печкѣ двѣнадцать годиковъ жегъ... Это въ прямое дѣло, что жегъ. — Двѣнадцать лѣтъ, сударыня!...

— Да говори толкомъ—что такое?

— Да видишь ли, бѣлая моя барышня, — въ печкѣ-то у насъ въ самомъ подѣ орелъ былъ и это точно, что на немъ каждый день дрова горѣли—и хлѣбы завсегда пеклись на немъ. Жегъ, родная моя, точно что жегъ.

Толку добиться Настенька не могла, а дѣла не покинула. Стала развѣдывать, по скорости вотъ что узнала, *mon coeur*.

Когда выстроили Зимній дворецъ, государю Петру Ѳедорычу захотѣлось безпремѣнно къ Свѣтлому Воскресенью на новоселье перебраться. Весь Великій Постъ тысячи народа во дворцѣ кипѣли, денно и пощно работали, спѣшили, значить, покончить, зашабашили только въ самой заутрени. А лугъ передъ дворцомъ очистить не могли: весь онъ былъ загроможденъ превеликимъ множествомъ домовъ и хибарокъ, гдѣ рабочіе жили, и всякимъ хламомъ, что отъ постройки оставалось. Смекнули — полгода времени надо, чтобъ убрать весь этотъ хламъ, и не малыхъ бы денегъ та уборка стоила, а государю угодно, чтобъ къ Свѣтлому Воскресенью лугъ безпремѣнно чистехонекъ былъ. Какъ быть, что дѣлать? Генералъ-полиційместеромъ въ тѣ поры Корфъ былъ — онъ и доложи государю — не пожертвовать ли, молъ, ваше императорское величество, всѣмъ этимъ дразгомъ петербургскимъ жителямъ, пушай, дескать, всякъ, кто хочетъ, невозбранно идетъ на дворцовый лугъ и безданно, безпошлинно, беретъ что кому приглянется: доски тамъ, обрубки, бревна, кирпичи. Государь Петръ Ѳедоровичъ на то согласился... Посказали драгуны по городу — въ каждомъ дому повѣщаютъ — идите, молъ, на дворцовый лугъ, да что хотите, то и берите безданно, безпошлинно. Петербургъ ровно взбѣленился: со всѣхъ сторонъ, изъ всѣхъ концовъ побѣжали, поѣхали на лугъ... И вообрази ты себѣ, *mon pigeonneau*, въ одинъ день вѣдъ все убрали. А было это въ самую Великую Пятницу. И отъ насъ изъ дому на дворцовый лугъ людей съ лошадьми посылали — полтора года, *mon petit*, послѣ того дровъ мы не

покупали. Хорошій былъ распорядокъ — всѣ оченно довольны оставались.

Савелій Трифоновъ, Аграфенинъ-отъ мужъ, въ самое то время въ Петербургъ съ подводой былъ. Услыхавши, что полиція народъ ко дворцу сбиваетъ, и онъ, сердечный, туда поѣхалъ, набралъ цѣлый возъ кафелей съ поливами да голландскаго кирпичу. А у него въ дому на ту пору печь плоховата была: онъ ее жалованнымъ-то кирпичемъ и поправилъ... Да на грѣхъ угораздило его кафель-отъ съ орломъ въ самый подъ положить.

Двѣнадцать лѣтъ прошло — Трифонуца въ то время какъ монастырщину государыня Екатерина Алексѣвна поворотила на экономію, въ волостные головы міромъ избрали. Тутъ не возлюбилъ его управитель ихній, что отъ Коллегіи Экономіи къ монастырскимъ крестьянамъ былъ приставленъ, Чекатуновъ Якинфъ Сергѣичъ. Какъ теперь на него гляжу: старичокъ такой былъ сѣденькой и плутовать, нечего сказать.... Смолоду еще при государынѣ Аннѣ Ивановнѣ былъ въ армейскихъ офицерахъ и, сказываютъ, куда какъ жестоко хохловъ прижималъ, когда по не доимочнымъ дѣламъ въ Маллороссійской тайной канцеляріи находился. Трифонуцъ, должно быть, какъ-нибудь неублаготворилъ его, онъ и взѣлся... Однакожь, какихъ подкоповъ ни подводилъ подъ Трифонуца, не могъ поддѣть. Времена-то не тѣ ужъ были, не бироновщина.

Пріѣзжаетъ Чекатуновъ въ волость, гдѣ Трифонуцъ въ головахъ сидѣлъ, прямо къ нему, разумѣется для того, что на хозяина хоть и волкомъ глядитъ, а угощенья ему подай... Папушникъ Аграфена на столъ положила: «рушьте, молъ, сами, ваше благородіе, какъ вашей милости будетъ угодно».

Чекатуновъ сталъ рѣзать папушникъ — глядь, а на нижней-то коркѣ орелъ.

— Это чтó? крикнулъ онъ грознымъ голосомъ.

— Орелъ, говоритъ Трифонъ, орелъ, ваше высочорodie.

— Да у тебя царскій что ли хлѣбъ-отъ? Изъ дворца краденый?... А?

— Какъ это возможно и помыслить такое дѣло, ваше высочорodie? отвѣчаетъ Трифонъ.—Глядь-во что выдумалъ! Изъ царскаго дворца краденъ!... Я вѣдь, чать, русскій!... Изволь въ печку глянуть, тамо въ подѣ кирпичъ съ орломъ вложенъ, на хлѣбъ-то онъ и вышелъ

Посмотрѣлъ въ печку Чекатуновъ, видитъ — точно орелъ.

— А гдѣ, говоритъ, ты взялъ такой кирпичъ?

— А на дворцовомъ лугу, отвѣчаетъ ему Трифонъ, въ то самое время, какъ по царскому жалованью народъ послѣ дворцовой стройки хламъ разбиралъ.

— Такъ это ты двѣнадцать лѣтъ царскаго-то орла жжешь, закричалъ Чекатуновъ, схвативъ Трифона за воротъ.—А? Да понимаешь ли ты, злодѣй, что за это Сибирь тебѣ слѣдуетъ.

Трифонъ въ ноги. А Чекатуновъ расходившись — въ желѣза Трифона, да въ острогъ за жестокимъ карауломъ.

А Чекатунову такія дѣла не впервые творить приходилось.—При Биронѣ въ Малой Россіи онъ за жженнаго орла людей мучилъ.

Дѣло повели крутенько. А было это въ самое Пугачевское замѣшательство. Чекатуновъ главному своему начальнику Гаврилѣ Петровичу Мякину такимъ манеромъ дѣло Трифона представилъ, что будто онъ съ

государственнымъ злодѣемъ былъ заодно и въ самомъ Петербургѣ хотѣлъ народъ всполошить. Трифонычъ былъ мужикъ домовитый, зажиточный, въ ларцѣ у него цѣлковыхъ немало лежало: тутъ все прахомъ пошло.

Разузнавши доподлинно дѣло, Настенька, не молвивши отцу ни единого слова, приказала заложить карету, одѣлась en grand toilette и въ Царское Село... А тамъ государыня завсегда изволила лѣтнюю резиденцію имѣть. Поѣхала Настенька съ дачи ранымъ-ранехонько и въ саду на утренней прогулкѣ улучила государыню. А ея величество завсегда въ семь часовъ поутру изволила свой променады дѣлать. Остановилась Настенька у той куртины, гдѣ сама государыня каждый день изъ своихъ рукъ цвѣты поливала.—Видить, бѣгутъ двѣ рѣзвыя собачки, играютъ промежь себя; а за ними государыня въ легкомъ капотѣ пюсорога цвѣта, въ шляпѣ и съ тросточкой въ рукѣ. Марья Савишна Перекусихина съ ней, позади егеря.

Увидала ее Настенька, тотчасъ на колѣни.

— Что съ вами, милая? Отчего такъ встревожены? спрашиваетъ ее государыня.

— Правосудіа и милости у вашего величества прошу.

Государыня улыбнулась.

— За того, прошу, ваше императорское величество, за кого просить некому, молвила Настенька. За простаго мужика, за невинную жертву злобы и лихоимства. Въ тюрьмѣ сидитъ, домъ разоренъ.... Честный Савелій Трифоновъ изъ богатаго поселанина на вѣкъ нищимъ сталъ.

Только-что Настенька эти рѣчи проговорила, государыня ввезла помрачилась, румянецъ на щекахъ такъ и запы-

лалъ у ней. А это завсегда съ ней бывало, топ соеиг, когда чѣмъ-нибудь недовольна дѣлалась.

— Не знаете, за кого просите! съ гнѣвомъ проговорила государыня. Три фонъ — воръ, соумышленникъ государственнаго злодѣя.

— Ваше величество, беззащитнаго поселянина оклеветали... Опречь Бога да васъ, никто его спасти не можетъ... Разсмотрите дѣло его.

Ни слова не промолвя, государыня отвернулась и пошла въ боковую аллею... Настенька осталась одна на колѣняхъ.

Недѣли черезъ три Трифонъ былъ на волю выпущенъ и все добро его назадъ было отдано. Чекатунова отрѣшили, Гаврилъ Петровичу Мякинину было сказано: жить въ подмосковной.

Въ перво же воскресенье Настенькѣ велѣно было на куртагъ быть. Государыня съ великой аттенціей приняла ее. При многихъ знатныхъ персонахъ обняла, поцѣловала:

— Благодарю васъ за то, что избавили меня отъ величайшаго несчастія царей — быть несправедливой, сказала ей государыня. — Мы основали нашъ престолъ на чловѣколюбіи и милосердіи, но по навѣту злыхъ людей я едва не осудила невиннаго. Богъ васъ наградитъ.

И всѣ зачали увиваться вокругъ Настеньки. На другой же день весь *grand monde* перебывалъ у Боровковыхъ съ визитами — даромъ что кому двѣнадцать, кому двадцать верстъ надо было ѣхать до ихней дачи... Только и рѣчи у всѣхъ что про Настеньку да про злодѣйство Мякинина съ Чекатуновымъ.

А про себя не то думали, не то гадали знатныя персоны... Подкопы подводить зачали подъ Настеньку.

Въ то время, топ *enfant*, самымъ важнымъ вельможей былъ Левъ Александрычъ Нарышкинъ.... Нраву отмѣнно

веселаго, на забавныя выдумки первый мастеръ. Какъ пойдеть, бывало, всѣхъ шпынять, такъ только держись, а все какъ будто спросту. Государыня его очень жаловала. Когда еще великой княгиней была, большую довѣренность къ нему имѣла — и когда воцарилась, много жаловала. Человѣкъ былъ, что называется, на всѣ руки... Ежели на куртагѣ бывало невесело, а Нарышкина нѣтъ, государыня всегда бывало изволить сказать. «и видно, что Льва Александрыча нѣтъ». По чести сказать — мертваго, кажется, умѣлъ бы разсмѣшить. А праздники задавалъ — не то что намъ: — чужеземнымъ, иностраннымъ на великое удивленіе бывали.

Давалъ онъ балъ у себя на дачѣ. — Знатная дача была у Льва Александрыча по петергофской дорогѣ. — Какіе онъ на ней фейверки дѣлалъ, люминаціи съ аллегоріями ¹⁾ — сказать, *mon bijou*, невозможно. Самъ Галуппи музыкой бывало править — старый человѣкъ былъ настарый, а зачнетъ музыкантами командовать, глаза у сѣдаго такъ разгорятся, ровно у молодого петиметра, когда своей *dame de l'amour* ручку пожимаетъ... Сады какіе у Нарышкина были, фонтаны!... По чести сказать, какъ войдешь бывало въ его люминованные сады — ума лишишься: рай пресвѣтлый, царство, небесное — больше ничего... *Parole d'honneur, mon petit*.

Разъ, какъ теперь помню, наканунѣ Ильина дня, приѣзжаетъ къ намъ Настенька.

— Ты, говоритъ, къ Нарышкину завтрашній день на праздникъ поѣдешь?

— Нѣтъ, говорю, *ma délicieuse*, не поѣду... Для того, что инвитаціи не получили.

А меня досада такъ и разбираетъ... Какъ такъ? Боров-

¹⁾ Фейерверки, иллюминація.

ковы будутъ, мы не будемъ!.. Обидно!... Была я тогда молода, къ тому жъ не изъ послѣднихъ... Мужъ въ генеральскомъ рангѣ—какъ же не досадно-то?... Самъ посуди, *mon pigeonneau*..

— Поздравляю, говорю, поздравляю, *ma delicieuse*, что къ Нарышкину поѣдешь... А мы люди маленькіе, незнатные... Куда ужъ намъ къ Нарышкину?...

— Особливо мнѣ то чудно, говорить межъ тѣмъ Настенька,—что на праздниѣ будутъ только самыя первыя персоны. Изъ дѣвицъ: Веделева Анета, Шереметевыхъ двѣ, Панина, Полянская, Хитрово... *Все les frailes de la cour*... Какими судьбами меня пригласили — ума приложить не могу.

— Значить, *ma douceur*, и тебѣ *la fraile de la cour* скажутъ... —Будешь, говорю, во времени — и насъ помяни.

Захохочетъ Настенька, да такъ и залилась.

— Нашла, говорить, *la fraile de la cour*! По чести свазать, къ лицу мнѣ будетъ!...

А сама охорашивается, стоѧ передъ зеркаломъ... Нельзя же, *mon coeur*—женская натура... Кто изъ молодыхъ женщинъ мимо зеркала пройдетъ не поглядѣвшись? Ни одна не пройдетъ, *mon pigeonneau*, повѣрь, что ни одна... Потому что у каждой о всякую пору одно на умѣ— какъ бы мужичку къ себѣ прицѣпить... Ты, *mon coeur*, не гляди, что онѣ молчатъ да кажутся *les inaccessibles*. Повѣрьбабушкѣ, голубчикъ мой, что у каждой женщины лѣтъ съ четырнадцати одно на умѣ: какъ бы съ мужичкою слюбиться.... Ей,-богу, *mon cher*... Притворству не вѣрь!..— Которая тебѣ по мысли придется, смѣло приступай... Рано ли, поздно ли, будетъ твоя... Повѣрь, *mon bijou* — я вѣдь опытна... Смѣлости только побольше, голубчикъ, а будетъ къ концу дѣло подходить, — дерзкоѣ будь... На

визги да на слезы вниманія не обращай. Для проформы только визжать да стонуть... Видишь, mon petit, какъ бабушка-то тебя житейской мудрости учить... Послѣ сколько разъ помянешь, поблагодаришь меня, старуху, за мои *les instructions*... Вѣрь, mon agneau, и въ стары годы, и въ нынѣшніе pour chaque femme, et pour chaque fille ничего нѣтъ пріятнѣе, какъ объятья мужчины... Изъ всей силы, mon petit, къ себѣ прижимай, мни, кости ломи — тѣмъ пріятнѣе... Про что, бишь, я говорила, Андрюша?

— Да все про Боровкову, бабушка... Какъ она къ Нарышкину собиралась и охорашивалась, стоя у васъ передъ зеркаломъ...

— Точно, голубчикъ, точно.... Изогнула она этакъ на бокъ талію, ручкой подбоченилась, а глазенки такъ и горятъ... Ухъ, какъ отчѣнно была хороша, ухъ, какъ славна!.. А близиру ради тоже прикидывается — я, дескать, дурнушка.

И вдругъ пригорюнилась она:

— Нѣтъ, говорить, Параша — какая я *fraile de la cour*?... Вотъ если бъ государыня взяла меня замѣсто Матрены Даниловны.

— Христось съ тобой, говорю я, Настенька. Сама не знаешь, что мелешь!... Въ дурки захотѣла!... Какой тутъ припѣнъ, *ma delieieuse*?

— Большой, говорить, припѣнъ! Родись я мужчиной — генералъ-прокуроромъ захотѣла бы быть, всякій бы часъ государынѣ докладывать, какъ болѣетъ народъ, какъ ищетъ суда и правды, а найти не можетъ!... А родилась женщиной — въ дурки хотѣла бѣ, въ шутихи... Эхъ, какъ бы мнѣ надѣть чепчикъ съ погремучками!.. Сколько бы правды тогда рассказала царцѣ!...

— Дуришь, Настенька! То говоришь — шутить не надо, то сама въ дурки лѣзешь.

А она:

— Не понимаешь ты ничего, говорить.

Тѣмъ и кончили.

На томъ Нарышкинскомъ праздникѣ государыня изволила добрыя вѣдомости объявить,—съ Туркой миръ былъ заключенъ. Съ тѣми вѣдомостями присланъ былъ премьеръ-маіоръ Соколовъ. И того Соколова Нарышкинъ посылалъ на праздникъ; государыня такъ приказала. А премьеръ-маіоръ Соколовъ dans la grande société былъ совсѣмъ темный человѣкъ, и никто изъ знатныхъ персонъ не зналъ его. Приѣхавши къ Нарышкину, ровно въ лѣсу очутился, бѣжать такъ въ ту же пору. Прижался въ уголку, думаетъ: «ахти мнѣ, долго ль въ мукѣ быть».

Настенька, замѣтивши Соколова не въ своей тарелкѣ, подошла къ нему, зачала про Молдавію разспрашивать, про тамошніе нравы и порядки.... Премьеръ-маіоръ растаялъ, глядя на ея красоту—съ перваго взгляда заразился.

Говорятъ они этакъ въ уголку — какъ вдругъ зашумѣли, забѣгали. Александръ Львовичъ съ женой на крыльцо, Галуппи стукнулъ палочкой, и грянулъ полонезъ. Государыня приѣхала... Соколовъ съ Настенькой въ парѣ пошелъ, и когда полонезъ окончился, къ нему подошелъ князь Орловъ Григорій Григорычъ ¹⁾. А приѣхалъ онъ съ государыней.

— Ба, ба, ба! говорятъ. — Здравствуй, Соколенко, какими судьбами ты здѣсь?

Соколовъ низко кланяется, доноситъ князю Григорью Григорычу, что съ мирными вѣдомостями присланъ.

¹⁾ Анахронизмъ, какихъ много въ „Бабушкиныхъ разсказахъ“. Много путала покойница.

— Какъ я радъ, что нахожу тебя здѣсь и вижу здоровымъ и благополучнымъ, сказалъ князь Григорій Григоричъ, и сталъ цѣловать премьеръ-маіора... Ко мнѣ пожалуй, братецъ! Не забудь, Соколенко...

Тотчасъ всѣ гурьбой къ Соколову. Въ знакомство себя поручаютъ.

Государыня, замѣтивши ласки князя Григорія Григорича къ Соколову, спросила, какъ онъ его знаетъ...

— Нашъ кенигсбергскій, говоритъ князь. — Въ прусскую войну мы съ Соколенкой на одной квартирѣ стояли.. Старый пріятель!

А Соколенкой любя премьеръ-маіора князь Орловъ называлъ. Такая привычка была у него: Русскихъ кличалъ по-хохлацки, а Хохловъ по-русски.

Примѣтилъ князь Григорій Григоричъ, что Соколовъ съ Настеньки не спускаетъ глазъ.

— Аль заразился?... спрашиваетъ.

Молчитъ премьеръ-маіоръ, а краска въ лицо кинулась.

— А вѣдь она пригляднѣе чѣмъ Лотхенъ будетъ?... говоритъ князь. — Помнишь Лотхенъ?

Соколовъ ни живъ, ни мертвъ — Придворнаго этикету неразумѣть, что отвѣчать на такіа затѣйныя рѣчи, не придумаетъ.

— За ней тысячи полторы дворовъ, говоритъ князь. — А сама столь умна, что всѣхъ кенигсбергскихъ профессоровъ за поясъ заткнетъ... Хочешь?...

Молчитъ премьеръ-маіоръ.

— Постой, говоритъ ему князь, — я тебя съ отцомъ познакомлю.

И взявши Соколова подъ руку, подвелъ къ Боровкову, къ Петру Андренчу, и говоритъ ему:

— Вотъ, ваше превосходительство, мой искренній другъ и закадычный пріятель Антонъ Васильичъ Соколенко.... Прошу любить да жаловать.

Познакомились. Не шутка, — самъ Григорій Григорьичъ знакомить.

Утромъ премьеръ-маіоръ къ Боровковымъ на дачу, черезъ два дня опять... И зачастилъ.

Недѣли съ двѣ такимъ манеромъ прошло. Вдругъ повѣству отъ камеръ-фурьерскихъ дѣлъ Петръ Андреичъ получаютъ — быть у государыни въ Царскомъ Селѣ.

Когда онъ оттуда домой воротился — лица на немъ нѣтъ. Прошелъ въ спальню, гдѣ больная жена лежала... Настеньку туда же по скорости кликнули...

— Знаешь ли, говоритъ Петръ Андреичъ, — свѣтѣй мѣй, зачѣмъ государыня меня призывать изволила?

Молчитъ Настенька. — А въ лицѣ ни кровинки — чуало сердце.

— Жениха сватаетъ....

— Кого? спросила Настенька.

— Соколова Антона Васильича, того самаго премьеръ маіора, что изъ Туречины съ миромъ пріѣхалъ.

Молчитъ Настенька.

— Человѣкъ, казалось, бы. хорошій. Съ самимъ князь Григорьемъ Григорьичемъ въ дружбѣ, опять же и матушки государыни милостью взысканъ....

Ни слова Настенька.

— Призвавши меня, изволила сказать государыня: «Я къ тебѣ свахой, Петръ Андреичъ, у тебя товаръ, у меня купецъ». — Я поклонился, къ ручеѣ пожаловала, сѣсть приказала. — «Знаешь, говоритъ, премьеръ-маіора Соколова, что съ мирными вѣдомостями присланъ? Человѣкъ хорошій — князь Григорій Григорьичъ его коротко знаетъ и много одобряетъ.» — Я молчу.... А государыня, весело таково улыбаясь, опять мнѣ ручку подаетъ.... J'ai fait le baisement, а ея величество, отпуская меня, говоритъ: «сроду впервые въ свахи попала, ты меня

ужь не остыди, Петръ Андреичъ.» — Я было молвилъ: — Не мнѣ съ нимъ жить, ваше величество, — дочь что скажетъ.... А она: — «скажи ей отъ меня, что много ее люблю и очень совѣтую просьбу мою исполнить»...

Ни гу-гу Настенька. Смотрить въ окно и не смигнетъ.

Обернулась. Перекрестилась на святые иконы, и столь твердо отцу молвила:

— Доложите государынѣ, что исполню ея высочайшее повелѣніе...

Суета въ домѣ поднялась: шьютъ, кроятъ, приданство готовятъ. Съ утра до ночи и барышни, и сѣнныя дѣвки свадебныя пѣсни поютъ.

А женихъ еще до свадьбы себя показалъ: разъ, будучи хмѣленъ, за ужиномъ вздумалъ посудой представлять, какъ Румянцовъ Силистрію бралъ, а послѣ ужина Петра Андреичева камердинера въ ухо.

Свадьбу во дворцѣ вѣнчали... Я въ поѣзжанахъ была, топ ригеоппеау, и государыня тогда со мной говорить изволила... Очень была я милостями ея обласкана... А какой изрядный фермуаръ Настенькѣ она пожаловала!.. Бриллианты самые крупные, самой чистой воды, караты по три по четыре въ каждомъ, а въ серединѣ прелестный изумрудъ, крупнѣе большой вишни, гораздо крупнѣе..

Черезъ недѣлю послѣ свадьбы на самый Покровъ Соколову сказано: быть воеводой въ сибирскомъ городѣ Колывани.

По первому пути и поѣхала въ Сибирь Настенька.

А уладилъ ту свадьбу и выхлопоталъ Соколову сибирское воеводство — вовсе не князь Григорій Григорьичъ и не Нарышкинъ Александръ Львовичъ, а тѣ знатныя персоны, что Настенькина язычка стали побаиваться... Это ужь мы послѣ узнали...

КРАСИЛЬНИКОВЫ

КРАСИЛЬНИКОВЫ.

(Изъ дорожныхъ записокъ.)

I.

Въ уѣздномъ городѣ С. остановились мы посмотрѣть на извѣстные кожевенные заводы Красильниковы. Не трудно было отыскать домъ богатаго заводчича, каменный, двухэтажный, лучшій во всемъ городѣ; стоитъ онъ недалѣко отъ древняго собора, обезображенного пристройками въ «новѣйшемъ» вкусѣ.

Въ верхнемъ жильѣ, въ окнахъ съ цѣльными зеркальными стеклами, стояли незатѣйливыя гипсовыя изображенія Вольтера, Суворова, поднявшей чуть не выше головы правую ногу Тальони, зеленого попугая съ коричневымъ носомъ и разноцвѣтной кошки, съ головой, качавшейся при малѣйшемъ прикосновеніи. Въ среднемъ окнѣ виднѣлись дорогіе бронзовые часы, а стекла другихъ залѣплены были вырѣзанными изъ цвѣтной бумаги подобіями лошади и чего-то въ родѣ буквы Ф, съ раздвоеннымъ нижнимъ концомъ и трехуголкой съ перьями наверху. Въ нижнемъ жильѣ въ окна вдѣланы были толстыя желѣзныя рѣшетки, а стекла сплошь выбиты. На цоколѣ краснымъ карандашомъ въ нѣсколько рядовъ

писаны бирочные знаки: кресты, кружки, черточки — открытая на весь міръ расходная книга приказчика, отпущавшаго кому-то опойки.

Ворота были заперты. Я стукнулъ тяжелымъ желѣзнымъ кольцомъ о дубовое полотно калитки: раздался синый лай цѣпной дворняжки, и въ подворотнѣ показались три собачьи морды, свая зубы и заливаясь глухимъ ревомъ. Щеколда изнутри стукнула, и краснолицая, курносая дѣвка-чернавка, вершковъ одиннадцати въ отрубѣ, одѣтая въ засаленный московскій сарафанъ изъ ивановскаго ситца, просунулась до половины и опросила насъ:

— Кого вамъ надоть?

— Корнила Егорычъ дома?

— А отдыхаетъ: сейчасъ пообѣдавши.

— Когда его можно застать?

— А не знаю же я... Да вы отвелева будете?

— Изъ П...

Я назвалъ губернский городъ.

— По кожу, аль по сало?

— Нѣтъ... Такъ нужно хозяина повидать. Когда застать-то?

— Не вѣду. Спрошать развѣ Марью Андревну, коль не започивала.

Заперла дѣвка-чернавка калитку, ушла. — Воротясь минутъ черезъ пять, сказала:

— Въ вечерню приходите, не то завтра послѣ ранней обѣдни.

— Ну, завтра, такъ, завтра.

Мы съ путевымъ товарищемъ хотѣли было идти на постоялый дворъ, гдѣ остановились за неимѣньемъ въ С. гостиницы; но дѣвка-чернавка еще разъ опросила

насъ, должно быть для удовлетворенія собственнаго любопытства:

— А сами-то вы изъ какъ ихъ будете? Прикащики что ли чьи?

— Нѣтъ, не прикащики.

— Кто же вы?

— Чиновные.

— Изъ судовъ?

— Отъ губернатора.

Это слово имѣло чародѣйную силу: не прошли мы ста сажень, какъ за нами послышались крики:

— Обождите-ка, воротитесь-ка! Корнила Егорычъ васъ кликнуть велѣлъ.

Босоногая дѣвка-чернавка бѣжала во всю прыть. Ее перегоняли собаки, одна вцѣпилась въ полу моего спутника.

— Лыска! лыска! цыма-те! Экой пострѣлъ, кабанъ проклятый! кричала изо всей мочи дѣвка-чернавка.

И схвативъ валявшуюся на улицѣ слегу, принялась колотить направо и налево косматыхъ стражей Корнилы Егорыча. Собаки завизжали и побѣжали домой. Путеводимые спасительницей отъ ихъ ярости, вошли мы на дворъ Красильниковова, обошли парадное крыльцо, гдѣ обглоданные мослы и сбитое сѣно указывали на жительство враговъ нашихъ, и теперь еще изподтишка бросавшихся подъ ноги. Обогнувъ уголъ дома, по заднему крыльцу взошли мы на верхъ, нагибаясь подъ протянутыми веревками, развѣшанными для просушки бѣлья. По всему двору крѣпко пахло дегтемъ и кожей.

Темными закоулками провела насъ дѣвка-чернавка въ обширную комнату — въ «залу», и, молвивъ, что хозяйнѣ сейчасъ выйдетъ, ушла.

По убранству комнаты видно было, что Корнила Его-

рычъ—человѣкъ домовитый, и, разбогатѣвъ, изъ кожи лѣзъ, чтобъ на славу украсить жилище свое: денегъ не жалѣлъ, все покупалъ безъ разбору, платилъ втридорога, и все невпопадъ. Отдѣлалъ стѣны подъ мраморъ, раззолотилъ карнизы, настлалъ дубовый мелкоштучный паркетъ, покрылъ его шелковыми коврами, надъ окнами развѣсилъ бархатные занавѣсы, а на стѣну наклеилъ литографію Василья Логинова, въ углу повѣсилъ клѣтку съ перепеломъ, а на окнахъ между кактусомъ и геліотропомъ въ полуразбитыхъ чайникахъ поставилъ стручковый перецъ да бальзаминъ. Мебель въ гостиной за дорогую цѣну куплена была въ Петербургѣ да еще на перебой съ какими-то вельможей; но сшитые изъ поношеннаго холста съ крашеными заплатами чехлы снимались съ нея только въ Свѣтлое Воскресенье да въ хозяйскія именины. Въ великолѣпныхъ лампахъ, разставленныхъ по столамъ и по угламъ, масла съ роду не бывало, да во всемъ С. и зажигать-то ихъ тогда еще никто не умѣлъ.

Непривычно Корнилъ Егорычу ходить по мелкоштучному паркету, не умѣетъ онъ ни сѣсть, ни стать въ комнатахъ, строенныхъ не на житье, а людямъ на показъ, робѣетъ громко слово сказать въ виду дорогихъ своихъ мебелией. Душно ему съ своимъ домъ, сбылась надъ нимъ пословица: «своя воля страшнѣй неволи». Осторожно пробираясь межъ затѣйливыми диванами и креслами, ровно изгнанникъ бѣжитъ Корнила Егорычъ изъ раззолоченныхъ палатъ въ укромный уголокъ, чужому человѣку недоступный. Тамъ на теплой изразцовой лежанкѣ ищетъ онъ удобствъ, какихъ не сыскать въ разубранныхъ комнатахъ. Вотъ у лежанки стоитъ сосновый, крѣпкой водкой травленный столъ подъ ярославской салфеткой: на немъ счетная, Псалтирь и «Московскія Вѣдо-

мости»; у стола стулъ-складень: привыкъ къ нему Корнила Егорычъ, еще сидя мальчишкой въ чужой лавкѣ. Вотъ двуспальная кровать съ пуховикомъ чуть не до потолка и съ дюжиной подушекъ: крѣпко спится на ней Корнилъ Егорычу. Вотъ кафельная печь съ поливными фигурами балахонской работы: ровно баню, грѣетъ она завѣтный уголь хозяина, и пригляднѣй ему бѣломраморныхъ стѣнъ залы и бархатныхъ обоевъ гостиной. А часовъ съ кукушкой, что повѣшены противъ кровати, не отдастъ онъ за двѣ дюжины дорогихъ часовъ, что на мраморномъ подставѣ красуются у середняго окна гостиной. Добровольно, но подчасъ съ досадой, жметъ Корнила Егорычъ въ тѣсной мурѣ — хватилъ бы все по боку, и зажилъ бы, какъ хочется — да нельзя!.. Какъ отъ людей отстать? Попалъ въ стаю — лай не лай, а хвостомъ вилай... Еще скрягой прозовутъ. — Зато разъ отведена была у него квартира для губернатора. На прощаньи генераль сказалъ хозяину: «Ну, Корнила Егорычъ, домикъ-то у тебя на славу отдѣланъ — мебель хоть во дворецъ». — И счастливъ, и доволенъ былъ Корнила Егорычъ и сторицей вознагражденъ за досадныя минуты, когда, проходя бочкомъ мимо дорогихъ мебели, думаетъ самъ про себя: «и на какой шутъ, прости Господи, такіе стулья надѣланы? Съѣсть порядкомъ нельзя — безъ сноровки провалишься совсѣмъ».

Не странно въ залѣ Корнилы Егорыча встрѣтить и логиновскую литографію, и стручковый перецъ, и перепела въ клѣткѣ изъ лутешекъ. Дороги они хозяину, добровольному заточеннику въ золотой тюремѣ своей. Вспоминали они ему былое, бѣдное но свободное отъ несроднаго житья-бытья время, — время молодости, когда жилось веселѣй, а на свѣтѣ Божьемъ было просторнѣй, и все смотрѣло яснѣй и радостнѣй. Кромѣ перепела да

перца остальное было чуждо, несродно хозяину: здѣсь ему и свое не свое, здѣсь и самъ онъ, ровно на выставкѣ — міру на показъ. Ничего для себя; все для чужихъ; даже гипсовыхъ Вольтера съ попугаемъ поставилъ онъ передомъ на улицу.

По лицу вышедшаго къ намъ Корнилы Егорыча видно было, что могучее слово «отъ губернатора» оторвало его отъ дорогѣй лежанки. Замѣтно было, что одѣвался онъ пѣскоро; золотыхъ медалей однакожь не забылъ надѣть. Это былъ широкоплечій старикъ средняго роста, волосы совсѣмъ почти бѣлые, борода маленькая, клиномъ, глаза подслѣповатые, но живые, выразительные. По суровому облику его видно было, что это старикъ своеобразный, крутой; а розсыпью глядѣвшіе глаза обличали въ немъ человѣка, что всякаго проведетъ и выведетъ. Но въ этомъ хитромъ, бѣгающемъ взорѣ крылась какая-то грусть за-таенная. Туманилось лицо Корнилы Егорыча горемъ душевнымъ, еще не выношеннымъ, не выстраданнымъ. День меркнетъ ночью, человѣкъ печалью, а горе борозды по лицу проводить. Казалось, и Корнилѣ Егорычу не годы убѣлили голову, а душевное горе. Оно не молодить, а косицу бѣлитъ.

— Поворно просимъ, сказалъ Корнила Егорычъ. — Извините, позадержалъ: соснуть было прилечь.

И при воспоминаньѣ о лежанкѣ, зѣвнулъ, набожно перекрестивъ ротъ. Мы извинились, что потревожили его, сказали свои имена и показали открытый листъ начальника губерніи, гдѣ было сказано, что пріѣхали мы изъ Петербурга отъ министра внутреннихъ дѣлъ для собранія статистическихъ свѣдѣній. Послѣ того я попросилъ хозяйскаго дозволенія взглянуть на его кожевенный заводъ.

Безъ чашки чаю, безъ рюмки вина, безъ закуски отъ

русского купца старого закала никому не уйти. Старинное хлѣбосоольство не чуждо было и Корнилѣ Егорычу. На столахъ появились вино, закуски, разныя сласти. Приказникъ, стриженный въ скобѣу, въ длиннополой суконной сибиркѣ съ борами назадъ и съ сильнымъ запахомъ кожи, подалъ чай. Рѣчь шла про торговлю.

— Кожа плохо пошла, говорилъ Корнила Егорычъ. — Въ прежни годы въ одну Одессу мы втрое больше ставили, въ Ливурну оттолѣ возили; теперь стало дѣло, да и шабашъ.

— Отчего жъ такъ, Корнила Егорычъ?

— Сырьемъ повезли. У иностранцевъ, я вамъ доложу, на этотъ предметъ руки золотыя — не нашимъ чета. Нашъ братъ Русакъ смѣткой взять, а Нѣмецъ — терпѣньемъ. Да къ нашей-то смѣткѣ горе привилось, да не одно, а цѣлыхъ три... Русскій человѣкъ на трехъ сваяхъ стоитъ: авось, небось да какъ-нибудь. Намъ бы тяпъ-ляпъ — и корабль, а тамъ — нѣтъ-съ, тамъ на этотъ счетъ все въ акуратъ... Къ примѣру хоть кожа: что наша русская кожа? Вонъ на дворѣ партія юхты лежитъ — на Урюпинску заготовилъ — развальнойте-ка возъ: тутъ подрѣзъ, тутъ гниль мясная, а тутъ и все дырье... Отчего?.. Оттого, что платишь рабочему поштучно, онъ тебѣ и дѣлаетъ какъ-нибудь, одно норовить: больше бы кожъ обрядить... Да какъ пошелъ ножомъ съ плеча валить, тутъ ему не до подрѣзѣй. Небось, говоритъ, хозяинъ не запримѣтитъ. А хозяинъ, вашъ братъ, не въ печку же ему бросать порчену кожу: авось, думаетъ, на ярманкѣ сбуду. А какъ работникъ-отъ дѣлаетъ какъ-нибудь, да хоронится за небось, да какъ и хозяинъ-отъ на авоськѣ въ ярманку выѣзжаетъ — добра не жди. — Правду надо говорить!.... Вотъ за границу наша кожа и нейдетъ, а сырые иностранцы съ рукамъ готовы рвать. Изъ рускаго сырья они такую тебѣ кожу

сработаютъ, что нашей-то въ носъ кинется. Вотъ отъ чего, сударь, стала наша кожа. Красна юхта покуда еще идетъ — это особъ статья, эта завсегда пойдетъ; у насъ березы-то не занимать стать; а за границей чуть не каждый сучокъ на перечетѣ.

— Какъ же сбыть юхты зависить отъ березы?

— Березы нѣтъ — дегтю нѣтъ; а безъ дегтю хорошей юхты на сдѣлать.

Перешелъ разговоръ на смуты, возникшія въ то время на западѣ.

— Въ Венгріи, кажется, война будетъ, сказалъ я: — для тамошнихъ войскъ кожа потребуется, нашей попросить...

— Пуда не попросятъ. Пошли бы туда наши кожи, ежели бы тамъ шла война по Божьему велѣнью, сталъ бы царь, на царя, законъ на законъ. Тогда бы пошла... А теперь что тамъ?... Законная развѣ война... Бунтъ богопротивный, усобица... — Подерутся и босикомъ!..

Таковы были рѣчи Корнилы Егорыча. А учился за мѣдну полтину у приходскаго дьячка, выѣзжалъ изъ своего городка только къ Макарью на ярманку, да, будучи городскимъ головой, раза два въ губернской городъ — ко властямъ на поклонъ. Кромѣ Псалтыря, Чети-Миней да «Московскихъ Вѣдомостей», сроду ничего не читывалъ, а говорилъ, ровно книга... Человѣкъ бывалый. — Природный, свѣтлый умъ бралъ свое. Заговорили о развитіи торговли и промышленности.

— Чтобъ дѣло торговое шло, молвилъ Корнила Егорычъ: — надо, чтобъ ему не дѣлали помѣхи, а пуще того, что ему не помогали, на казенну бы форму не гнули. Не приказное это дѣло: въ форменну книгу его не уложишь. А главна статья — сноровка... Безъ сноровки будъ каждый день съ барышемъ, а вѣкъ проходишь

нагишомъ. А главнѣй всего — Божья воля: благословить Господь — въ отрепѣ деньгу найдешь: безъ Божьяго благословенья корабли съ золотомъ въ дну пойдуть.

— Такъ, Корнила Егорычъ, слова нѣтъ на вашу рѣчь: Божье благословенье первое дѣло, но, кажется, вы еще одно позабыли.

— А что жъ такое?

— Науку, просвѣщеніе.

Нахмурился Красильниковъ, помолчалъ, и такую рѣчь повелъ:

— Просвѣщеніе!... Это, что въ книгахъ-то пишутъ?... Эхъ, сударь! мало ль что пишутъ да печатаютъ! Сѹпротивъ печатнаго не соврешь. Перо скрипитъ, бумага молчитъ да все терпитъ... Вотъ, примѣру ради, промысла хоть что-ли взять? Пишутъ да печатаютъ, что въ гору они пошли... Рѣчи нѣтъ, прытко идутъ, шагаютъ широко, да не такъ, какъ пишутъ. Не въ ту силу говорю, что наша промышленность тише идетъ сѹпротивъ того, какъ про нее печатаютъ: нѣтъ-съ, можетъ, она и попрытче того идетъ, — а про то я говорю, что пишутъ-то нескладно, неладно, ровно чортъ шестомъ по Неглинной... Вотъ въ «Вѣдомостяхъ» какъ-то разъ я про нашъ уѣздъ вычиталъ. Пишетъ какой-то баринъ — видно такой же, что и вы: тоже свѣдѣнья собиралъ — пишетъ, что въ запрошломъ году и скота у насъ стало больше, и крестьянскій промыселъ въ гору пошелъ; а видно-де это изъ того, что на базарахъ скота больше продано, саней и всякаго другаго крестьянскаго издѣлья.

— Что жъ, Корнила Егорычъ? Развѣ базарная торговля не можетъ показать степень крестьянскихъ промысловъ?..

— Врядъ ли, сударь! По нашему не можетъ.... Вотъ хоть бы нашу сторону взять... Сторона гужевая: отъ

Волги четыреста, отъ Оки двѣсти верстѣ, рѣки, пристани далеко — надо все гужомъ. Вотъ въ запрошлый годъ и уродились у насъ хлѣба вдоволь, а промысла на ту пору позамялись... Мужикъ волкомъ и взвылъ, для того, что ему хлѣбомъ однимъ не прожить... Крестьянско житье тоже деньгу просить. Спаси Господи и помилуй православныхъ отъ недорода, да избавь, Царю небесный, и отъ того чтобы много-то хлѣба родилось.

— Какъ такъ, Корнила Егорычъ?

— Да такъ-съ. Мы люди простые, зато седьмой десятокъ доживаемъ—всего насмотрѣлись. Привелъ Господь смолоду, когда еще въ бѣдности находился, и голодъ изжить: макуху, дуранду, мезгъ сосновую ѣли. И урожай видалъ. Такъ ужъ я и знаю, что переродъ хуже недорода, что здѣшнему гужевому крестьянину не то бѣда, что гумно не полно, а то горе великое, ежели работа замнется, промыслу не хватить, да на ту пору хлѣбъ въ низкой цѣнѣ станетъ. Въ запрошлый годъ хлѣбъ-отъ здѣсь по полтинѣ былъ ассигнаціями. Серебряный пятиалтынный, значить, безъ семитки... Подушныя мужику надо платить: вези, значить, три воза за двѣсти верстѣ до пристани,—для того, что по осени да по перевозимцѣ на мѣстѣ покупателей ни души. Ну, и вези да считай, много ль дорóгой то денегъ прохарчишь... Да что подати?... Подати у насъ, слава Богу, не больно еще тяжелы; такъ вѣдь не на однѣ подати мужику деньги нужны: надо упряжь справить, надо кушакъ купить, шапку, платокъ женѣ, въ храмовой праздникъ винца хлебнуть, а тамъ еще свадьбы да родины, молебны да крестины, попъ съ праздничнымъ придетъ—ему хлѣбъ-отъ хлѣбомъ, а деньги деньгами. А такъ въ урожайный годъ хлѣбъ-отъ подешевѣетъ да промыслы-то ухнутъ, и нѣтъ ихъ совсѣмъ, заработки-то пойдутъ дешевые, у мужика изъ рукъ все

и отобьется. А на ту пору староста въ окошко стучитъ, оброкъ, говорить, подавай.— Денегъ нѣтъ.— Давай, говорить, срокъ пришелъ, а нѣтъ денегъ, такъ корову продай... Повелъ мужикъ телку, повелъ другой сновотѣлу, повелъ третій бычка. На базарѣ ихъ сосчитали, да въ «Вѣдомостяхъ» и припечатали: скота-де у нихъ расплодилось... Прошелъ мѣсяцъ-другой, опять староста у окна. — Денегъ нѣтъ, говорить ему мужичекъ. А староста ему на отвѣтъ: у тебя двѣ телеги — нову-то продай. Повезъ мужикъ телегу, повезъ другой сани, повезъ третій дровни—на базарѣ ихъ сосчитали, а вапа милость, что свѣдѣнья-то собираете, и хватъ въ «Вѣдомостяхъ» — промыслы-де у нихъ въ гору пошли... Не въ ту силу говорю, что здѣшнему мужику жизнь горемычная. Годъ на годъ не приходитъ: одно лѣто перетерпитъ, на другое за три наверстаеъ. А въ ту силу говорю, что ины книги ровно шайтанъ помеломъ въ трубѣ написалъ... Годъ-отъ перерода минѣтъ, на хлѣбъ станеть цѣна хорошая, промыслы поднимутся, глядишь—справился мужикъ: скотомъ обзавелся, сбруей, и въ мощнѣ не пусто стало. Въ зимницѣ три, четыре коровушки, подъ навѣсомъ двѣ, три телеги; и какъ староста подъ окно придетъ, оброкъ-отъ ему платить есть изъ чего. А на базарѣ ни коровъ, ни телегъ, ни саней, что въ прошломъ году нужда вывозила. Подмѣтятъ господа, что книги печатають, да, не справясь со святцами—бухъ въ большой, скота-де стало меньше: видно-де, падежъ у нихъ былъ, да и промыслы упали, должно-де быть, народъ обѣднялъ... Обѣднялъ!... Какже!... Лежитъ себѣ на печи да бражку потягиваетъ.

Станнымъ казалось мнѣ уклоненье Корнилы Егорыча отъ прямого разговора. «Что бъ это значило? думалось мнѣ. Началъ за здравіе, свелъ за упокой». Опять наклонилъ я рѣчи на прежній предметъ, опять сказалъ,

что для успѣховъ торговли надо купцамъ учиться и учиться...

— Въ нивирситетѣ, что ли-съ? съ горькой, но задорной усмѣшкой возразилъ Красильниковъ. — Нѣтъ-съ, увольте, ваше высокородіе!.. Покорнѣйше благодаримъ-съ!.. Знаемъ мы!... Это дѣло, сударь, ваше — барское, а нашему брату оно не по-шерсти. Изъ нашего брата, изъ купечества, это тому пригодно, кто думаетъ сыновей въ дворяне выводить, а намъ—нѣтъ-съ, увольте!... Да и проку мало, ей-богу, мало. Дѣдъ, отецъ копать деньги, скопять капиталъ, большія дѣла заведутъ, миллионами зачнутъ ворочать, а ученый сынокъ въ карты ихъ проиграетъ, на шампанскомъ съ гуляками пропьетъ, комедіанткамъ разшвыряетъ, аль на балы да на вечеринки... Глядишь—и пошелъ Христовымъ именемъ кормиться.... Да это бы еще не бѣда... А какъ разумъ стинетъ, какъ... Прохора Андреича Крапивина — изволите знать?... Въ Москвѣ суконная фабрика у него была. — У него сынокъ-отъ ученый... Въ чинахъ былъ, въ каретахъ ѣздилъ, на дворянѣ женился, да какъ профуфынился — изъ ружья себя и застрѣлилъ... Вотъ те и чины!... Вотъ те и ученье!... Душеньку-то свою не уберегъ, самому Сатанѣ ее на руки отдалъ....

— Не говорю я, Корнила Егорычъ, чтобъ молодые купцы, выучившись, оставляли свое званіе и проматывали отцовскіе капиталы. Дѣльное, правильное ученье научить быть бережливымъ, научить и уваженіе имѣть къ сословію, въ которомъ родился. Теперь у насъ слава Богу...

— Не говорите!... Мнѣ-то этого не говорите!... Купцу ученье — пагуба, вотъ что!... У меня у самого... Да позабавьтесь финичками-то, ваше высокородіе.... Иворки-то покушайте: перваго, сударь, багренья, прямо изъ Уральска... А ты что губы-то распустилъ, Петровичъ?... Что

чашки не примаешь?... Давай еще чаю-то!... Да мадерцы еще рюмочку, ваше высокородіе!... Клихни Сережу, Петровичъ!

Сережа, парень лѣтъ двадцати трехъ—четырехъ, румяный, здоровый, съ богобоязненнымъ видомъ и тихой поступью, робко вошелъ въ комнату. Низко поклонясь, смиренно остановился онъ у притокови, глядя изподлобья на родителя. Тотъ сказалъ ему:

— Сивую въ дрожки, савраску въ бѣговья. Ты со мной на савраскѣ поѣдешь.

Я сталъ уговаривать Корнилу Егорыча самому не беспокоиться, а отпустить съ нами на заводъ одного Сережу... Вскрутилось, должно быть, по лежанкѣ Корнилъ Егорычу, — согласился.

— Парень молодой, сказалъ онъ про сына: — мало еще толку въ немъ... Оно толкъ-отъ есть, да не втолкавъ весь... Молодъ, дурь еще въ головѣ ходитъ — похулить грѣхъ, да и похвалишь, такъ Богъ убьетъ. Все бы еще рядиться да на рыскахъ. Извѣстно, зеленъ виноградъ—не вкусенъ, младъ человѣкъ не искусенъ. Лѣтось женилъ: кажется, пора бы и умъ копить. — Ну, да Господь милостивъ: это еще горе не великое... не другое что...

Помутился взоръ Корнилы Егорыча. Помолчавши, вздохнулъ онъ и молвилъ вполгблоса:

— На волю Божью не подашь просьбы!...

Вошелъ Сережа.

— Поѣзжай на заводъ съ господами, сказалъ ему отецъ.—Покажи тамъ все, какъ оно есть... Слышишь?... Чего сталъ?... Пошелъ, дождайся!

Сережа пошелъ было; но отецъ, воротивъ его съ полдороги, тихонько молвилъ ему:

— Митьку въ сушильню!... Слышишь? прибавилъ онъ громко.

— Слышу, тятенька!

— Ступай же!... На крыльцѣ дожидайся... А послѣ заводу, ваше высокородіе, просимъ покорно на чашку чаю. Сдѣлайте такое ваше одолженіе, не побрезгуйте убогимъ нашимъ угощеньемъ.

Сережа, тихій смиренникъ на отцовскихъ глазахъ, не таковъ былъ на заводѣ. Съ нами обходился подобострастно, насилу согласился картузь надѣть, но съ рабочими обходился круто и, къ тому жъ, безтолково. Покрикивая ни за что, ни про что, сурово поглядывалъ онъ то на того, то на другаго, и пятились рабочіе, и прятались другъ за дружку, косясь на толстую, суковатую палку, что была въ сильныхъ, мускулистыхъ рукахъ Сережи.... Но вдругъ какой-то шальной, вывернувшись изъ-за зѣльнаго чана, мазнулъ его по спинѣ мѣшалкой, обмакнутой въ известковый подзолъ. Сдѣлавъ свое дѣло, поворотилъ онъ неровнымъ шагомъ назадъ. Рабочіе уступали ему дорогу и, казалось, другъ другу говорили глазами: «ай-да, молодецъ»!... Увлеченный рассказомъ, черезъ сколько перезоловъ проходитъ яловица прежде квасовъ, Сережа ничего не замѣтилъ. Тотъ шальной былъ молодой человѣкъ лѣтъ подъ тридцать, въ загрязненной просаленной насквозь холщовой рубахѣ и въ дыравыхъ сапогахъ. Взъерошенная голова, казалось, съ роду не была чесана, небольшая борода сваялась комьями, блѣдножелтое, худощавое лицо обрюзгло, ротъ глупо разинутъ; но въ тусклыхъ, помутившихся глазахъ виднѣлось что-то невыразимо-странное, что-то болѣзненно-груст-

ное... Потухающій умъ послѣдней, прощальной искрой свѣтился въ томъ взорѣ.

Мы проходили черезъ отдѣленіе, гдѣ толкутъ корье. Неочищенную ивовую кору подбрасывали въ толчею. Путьевой товарищъ мой замѣтилъ, что онъ видѣлъ въ Бельгii особую машину для скобленья корья. Сказалъ это по-французски.

— Les meilleurs cuirs-maroquins, qui se fabriquent... проговорилъ за нами сиплый голосъ.

Обернулся Сережа и крикнулъ:

— Въ сушильню!

Оглянувшись, увидалъ я того шальнаго, что вымазалъ спину Сережѣ.

— Нейду! закричалъ тотъ задорно. — Ты мнѣ не указъ... Наушникъ!... Подлецъ!.. Ты ее погубилъ!... Ты убилъ мою...

— Митька!... Тятенькѣ скажу.

Вздрогнувъ шальной. Понутивъ голову, тихо поплелся онъ изъ толчеи, но вдругъ быстро обернулся и заговорилъ умоляющимъ голосомъ:

— Сережинька, голубчикъ ты мой! Дай гривенничекъ.

— Въ сушильню!

— Хоть на шкаликъ!

— Слушай, Митька! поднявъ палку, закричалъ Сережа. — Право, тятенькѣ скажу!... Хоть бы при чужихъ постыдился!... Сведи его, Оедька, въ сушильню. На замѣкъ.

Митька самъ пошелъ. За дверьми нестройно запѣлъ онъ хриплымъ басомъ:

Quand le vin de Champagne
Fait en echappant,

Pan, Pan
La douce gaieté me gagne...

— А вотъ здѣсь дегтемъ бухтарму послѣ дубовъ ма-
жутъ, говорилъ въ то время Сережа, переводя насъ въ
другое отдѣленіе.

II.

Вечеромъ, сидя у Красильникова, опять я свелъ разговоръ на просвѣщеніе. Говорилъ, что купцамъ ученье необходимо... Заговорилъ и Корнила Егорычъ, сидя за пуншикомъ.

— Не говорите про это, ваше высокородіе... Мнѣ-то не говорите!... Говорятъ люди: красна птица перьемъ, человѣкъ ученьемъ... Говорятъ: ученье свѣтъ, неученье тьма... Врутъ люди!... Ученье — прямое мученье, а нашему брату погибель!...

«Купецъ знай читать, знай писать, знай на счетахъ владѣть, шабашъ — дальше не забирайся!... Лучше не доучиться, чѣмъ переучиться. Ученье-то вѣдь, что дерево: изъ него и икона, и лопата... Аль что ножикъ: иной его на пользу держитъ, а нашъ братъ себя жъ по горлу норовитъ... Купцу наука, что ребенку огонь. Это ужъ такъ-съ, это — не извольте беспокоиться... Много купецкой молодежи промоталось, много и совсѣмъ сгинуло, — а все отчего?... Все отъ ученья, все моды проклятыя, все оттого, что за господами пошли тянуться, имъ захотѣли въ вѣрсту стать. Нѣтъ-съ, былъ бы купецъ смышленъ, да-ромъ что не ученъ».

«Нынче за наши грѣхи не на ту ста тьпошло. Не то, что сыновей, дочерей-то французскому стали учить, — да на музыкѣ, да плясать. Выучатся дочки, хватъ — анъ за-

были, которой рукой перекрестить лобъ слѣдуетъ... У свояка моего, у Петра Андреича Кирпишниковъ, дочка ученая есть: имя-то святое, при крещеньи богоданное—Матремой зовутъ—на какое-то басурманское смѣняла, выговорить даже грѣхъ, Матильда, песъ ее знаетъ, какая-то стала... Замужъ вышла за дворянина: промотался голубчикъ, женился—карманъ починить. Стала дворянкой, и пустилась во вся тяжкая: верхомъ, сударь, на лошади катается... тфу ты, гадость какая!...

«Вотъ и у меня Митька... Погибъ, совсѣмъ погибъ, пропащій сталъ человѣкъ... А все ученье, все наука.... А парень-отъ какой былъ разумный, да тихій, смирный разсудительный!... Что передъ нимъ Сережа?... Дурь нагольная, какъ есть одна дурь!... Сердце коломъ повернетъ, какъ вспомнишь... Охъ, Ты Господи, Творецъ праведный!...

«Да-съ, безъ дѣтей горе, а съ ними вдвое... Далъ мнѣ Господь двухъ сыновъ да дочку одну: Митька отъ покойницы отъ первой жены, Сережа да Настя отъ Марьи Андревны. Ну, дочь, извѣстно дѣло, чужое сокровище—холь, корми, учи, стереги, да послѣ въ люди отдай... А сынъ домашній гость—корми его да пой — тебѣ же пригодится. Да учи его покамѣстъ поперекъ лавки лежить; вырастетъ да во всю вытянется, тогда ужъ его не унять. Худъ сынъ глупый—родной отецъ къ кожѣ ума ему не пришьетъ, а хуже того сынъ ненаказанный—онъ безчестье отцу... Легло безчестье и на мою сѣдую голову!.. Божья воля!...

«Смышленъ росъ Митька, отдалъ я его здѣсь въ уѣздно училище. Учился бойко—три похвальныхъ листа получилъ. Выучился, въ гимназію сталъ проситься, реветъ мой парень: пусти да пусти. Думалъ я ременную гимназію ему въ спину-то засыпать, да шуринъ покойникъ угово-

рилъ... Присталъ, отдай да отдай ему Митю на́ руки... Попуталъ меня грѣхъ—послушался... Въ гимназіи Митька учился лѣтъ пять и былъ уменъ не по годамъ: лѣтомъ, бывало, на побывку пріѣдетъ,—на что у насъ пятницу протопопъ отецъ Никаноръ, и тотъ съ нимъ не связывайся: въ пухъ загоняетъ, да все вѣдь по-латынски... А благочестивый какой былъ: ни обѣдн, ни заутрени не пропуститъ... На крыло съ какъ пѣлъ... Голосъ-отъ, голосъ-отъ какой былъ!... А смиренникъ какой!... что твоя красная дѣвка... И по заводу наострился: ни коря, ни подзола при немъ, бывало, фунта не украдутъ, даромъ что не былъ приученъ къ заводскимъ порядкамъ... И думалъ ли я, на него радуясь, что погибнетъ мой разумникъ, что покроетъ онъ горемъ старость мою?... Господи, Господи!...

«Когда срокъ ученія ему отошелъ, былъ я на ту пору въ губернскомъ городѣ: городскимъ головой служилъ, къ начальству ѣздилъ. Сталъ Митька проситься въ Москву, въ нивирситетъ доучиваться. Въ ногахъ валяется,—плачетъ: пусти да пусти его еще въ ученье. «Врешь, говорю, Митька, умиѣ не будешь: не пущу!»—Чуяло родительское сердце!... А изъ гимназіи когда его выпускали, былъ онъ что ни на есть первый ученикъ, не то что своего брата, барчатъ всѣхъ за поясъ заткнулъ.—На экзаментъ на ихній велѣли мнѣ побывать, печатный билетецъ прислали... Митька рѣчь держалъ по-французскому, началъ бойко, только ничего не поймешь. Его превосходительство господинъ губернаторъ изъ своихъ рукъ листъ да книгу эту отжаловалъ да подозвавши меня, сказалъ: «у тебя говорить, Корнила Егорычъ, не сынъ, а звѣзда». А былъ на ту пору въ нашемъ губернскомъ городѣ генералъ, надъ гимназіей-то на́большій; онъ, слышь, допрашивалъ учениковъ, кто что знаетъ и куда послѣ выучки идти хочетъ. Полюбись

ему мой Митька: бойко, слышь, изъ книгъ гораздо ему отвѣчалъ. Спрашиваетъ его генералъ: чей сынъ, откуда родомъ и куда хочетъ. А Митька ему: «такъ и такъ, ваше превосходительство, сынъ я первой гильдіи купца Корнилы Красильникова, оченно бы хотѣлось въ ниверситетъ, да тятенька не пускаетъ...» Ладно, хорошо!.. Сиж у шурина, глядь, губернаторскій лакей на дворъ. въ золотѣ весь... Чтѣ за оказія?... «Гдѣ, говоритъ, Корнила Егорычъ Красильниковъ?... Здѣсь, говорю, я самый и есть. — «Ступай, говоритъ, къ генералу обѣдать.» — Усомнился я, думаю — прошибся лакей: къ другому послали, а онъ ко мнѣ... Нѣтъ, ко мнѣ въ самомъ дѣлѣ... Честь не малая: самъ губернаторъ обѣдать зоветъ: ты, говоритъ, Корнила Егорычъ, приходи моего хлѣба-соли кушать. Пошелъ, благо день-отъ скромный былъ — вторникъ.

«Посадили меня губернаторъ съ собой рядышкомъ; а тутъ еще сидѣлъ генералъ, которому Митька-то мой полюбился да губернаторша, да двѣ барышни — дочки губернатору-то — красовитыя изъ себя, только ужъ больно сухопароваты. Губернаторша сама изволила мнѣ похлебки въ тарелку налить, губернаторъ изъ своихъ рукъ виномъ угощалъ... Вотъ оно чтѣ!... И стали они меня улащать: «ты, говорятъ, Корнила Егорычъ, попережь Митьки не ходи: изъ мальчугана, говорятъ, выйдетъ прокъ — пусти его до конца доучиться.» А генералъ-отъ, чтѣ его возлюбилъ, общалъ ему замѣсто отца быть, какъ за роднымъ дѣтищемъ, говоритъ, пригляжу, баловаться не дамъ, да и парень-отъ, говоритъ, онъ у тебя не такой, баловникомъ не смотреть... Сами посудите, ваше высокородіе, можно ль тутъ было поперечить имъ? Два генерала ровно съ ножомъ къ горлу пристали: пусти, да пусти Митьку доучиться! Губернаторша тоже: «ты, говоритъ, Корнила

Егорычъ, не губи своего дѣтища рожонаго, не отымай у Митьки счастья. Богъ, говорить, за это тебѣ не попустить!» — Послушался .. Больно не хотѣлось, чуяло сердце... А послушался — потому нельзя: начальство не свой братъ — стоѣ безъ шапки да переступая съ ноги на ногу, много не накалякаешься...

«Собралъ Митьку въ Москву. Марья Андревна, хоть не родная мать, а въ гору было полѣзла. И руками, и ногами: «не пуцу, говорить, Митеньку на чужу сторонушку»... Да чтó она?... Баба, бабѣ плетъ—вотъ и все... Призвавъ Бога въ помощь, Николу на путь, снарядилъ я Митьку; да на прощаньи, передъ благословенной иконой, взялъ съ него зарокъ, чтобъ послѣ выучки не ходилъ онъ ни въ офицеры, ни въ приказные, а былъ бы всю жизнь свою купцомъ и кожевеннымъ заводчикомъ. А Митька, ну ужъ двадцать-перво́й тогда ему шелъ, на полномъ смыслѣ значить, «не бойтесь, говорить, тятенька, нигуда не пойду, буду вамъ на старости печальникъ, на поконъ души помянникъ, а выучусь, буду то и то, заведу мы съ вами такое да этакое»... Да ужъ такъ красно говорилъ, что нѣхотѣ вѣрилось!...

«Четыре года Митька въ Москвѣ выжилъ, учился на первую статью, а въ праздники тамъ какіе аль въ другіе гуляющіе дни, не то, чтобъ мотаться да бразничать, а все на фабрику какую, аль на заводъ да на биржу... Съ первостатейнымъ купечествомъ знакомства свелъ, пять поставокъ юхты уладилъ мнѣ, да разъ сало такъ продалъ, что, признательно сказать, мнѣ бы и во снѣ такъ не приснилось...

«Нашего уѣзда помѣщикъ есть Андрей Васильичъ Абдулинъ. — Не изволите ль знать? У него еще конный заводъ въ деревнѣ... Тутъ вотъ неподалеку отъ Оедяковской станціи,—ѣхали сюда, мимо проѣзжали. Сынокъ

у него Василій Андреичъ, вмѣстѣ съ моимъ Митькой учился, и такой былъ ему закадычный пріятель, ровно братъ родной. Митька у господина Абдулина дневалъ, ночевалъ: учиться-то вмѣстѣ было повадище... Охъ, пропадай эти Абдулины!... Заѣли вѣкъ у старика, погубили у меня сына любимаго!...

«Отучился Митька, дали ему медаль золотую: не то чтобъ на шею, а такъ карманную... И въ газетахъ пропечатали: выучился-де такой-то Дмитрій Красильниковъ въ кандидаты... Домой пріѣхалъ, заводомъ занялся: то уладить, другое перемѣнить, то чанъ, зольникъ, то другое что. Спервоначалу-то я было побаивался: испортить, думаю.—Нѣтъ: восемь копѣекъ лишковъ на салѣ взялъ, семь копѣекъ на юхтѣ. А все его разумомъ да старательствомъ.—Отецъ, вѣдь, кажись, отецъ, а—сыну родному позавидовалъ... Вотъ каковъ былъ умница!... А бережливый какой!... Только и изводилъ деньги, что на книги... Бывало, какъ мѣсяцъ прошелъ, такъ изъ Москвы коробъ съ книгами ему и шлютъ.

«Пожилъ Митька у меня мѣсяцевъ съ восемь. Андрей Васильичъ Абдулинъ той порой на теплыя воды собрался жену лечить. Ъхалъ въ чужіе края всей семьей. Сталъ у меня Митька съ ними проситься.—«Что жъ, думаю, избнымъ тепломъ далеко не уѣдешь, печка нѣжитъ, дорога разуму учить, дамъ я Митькѣ партію сала, пущай продаетъ его въ чужихъ краяхъ: а благословить его Богъ, и заграничный торгъ заведемъ!»... Тутъ ужъ меня никто не уговаривалъ.—врагъ смутилъ!... Захочетъ кого Господь наказать—разумъ отыметъ, слѣпоту на душу наплетъ!...

«Три года ѣздилъ мой Митька, продавалъ юхту бродскимъ Жидамъ, по салу съ самимъ Лондономъ уладилъ дѣла... Большіе пошли барыши—въ три-то года рубль на рубль нажилъ а!... Ненарадовалось сердце!... Экой сынъ-отъ

думаю... На что московскіе купцы, и тѣ завидовали... Всѣмъ сталъ знаеиъ мой Димитрій Корнилычъ Красильниковъ. А я?... Чѣмъ бы Бога благодарить, колоколъ бы выпить аль иконостасъ поставить... согрѣшилъ, окаянный, возгордился — барыши сталъ считать да сыномъ хвалиться!... Думы-то были за морями, а горе за плечами!... Наказаль праведный Судія за гордость нечестивую!... Гдѣ теперь мой разумникъ?.. Чѣмъ теперь похваюсь?.. Не родиться бѣ ему!... Дай-ка мнѣ пуншу, Петровичъ, да крѣпче налей!...

«На четвертый годъ воротился изъ-за моря.... Господи, что было радости!... Письма отъ купцовъ заграничныхъ привезъ: товару просить, Митьку хвалить. Замышляли мы съ нимъ свой корабль снарядить, да еще бы года три-четыре побылъ у меня Митька въ разумѣ, два снарядили бы.. Думали въ Питерѣ контору открыть, домъ купить, загадывали въ Лондонѣ прикащика держать... И все тогда вазалося мнѣ таково сбыточно, какъ вотъ теперь стаканъ пуншу выпить... Анъ нѣтъ.... Людское счастье что вода въ бреднѣ!... Величался почетомъ своимъ, величался сыномъ разумнымъ, и не зналъ никого счастливей себя!.. Все суета!... Въ морѣ потопъ, въ пустынѣ звѣри, въ мірѣ бѣды да напасти!...

«Двадцать девятый Митькѣ пошелъ: давно пора своихъ дѣтей наживать. Правду говорятъ, что и въ раю тошно жить одному. Семейная каша погуще выпить, а холостой вѣкъ прожить да помретъ — собака не вззоетъ по немъ....

«За невѣстами дѣло не стало бы: ротъ разинь — изъ любого дома бери.... Первостатейные, миллионщики, фабриканты сами съ дочками напрашивались, сами письма писали.—И сталъ я Митькѣ совѣтовать, пора-де тебѣ и законъ совершить... Только выбирай, говорю, жену не глазами, а ушами, слушай рѣчь разумна-ли, узнавай въ хо-

зайствѣ какова. Съ лица не воду пить: красота приглядится, а щи не прихлебаются. А пуще всего смиренство да разумъ: это на всю твою жизнь пригодится. На богатство не зарься: у самихъ, слава Богу, довольно. Приданое что? Въ потравѣ не хлѣбъ, въ долгахъ не деньги, въ приданомъ не животы...

«Говорю этакъ Митькѣ, а онъ какъ поблѣднѣетъ, а потомъ лицо все пятнами.... Чтò за притча такая?... Пыталъ, пыталъ, недѣлю пыталъ — молчитъ, ни словечка... Ополовѣлъ инда весь, ходитъ голову повѣся, отъ ѣды откинулся, исхудалъ, ровно спичка... Я было за плеть — думаю, хоть и ученый, да все же мнѣ сынъ... И по Божьей заповѣди и по земнымъ законамъ съ роднаго отца воля не снята.... Поучу, умнѣе будетъ — отцовски же побои не болятъ... Совѣстно стало: рука не поднялась...

«Той порой изъ чужихъ краевъ Андрей Васильчъ воротился. Домъ купилъ въ городѣ, рядомъ со мной. Митька тамъ и днюетъ и ночуетъ, отъ дѣла даже отсталъ, пріѣдетъ на заводъ — смотреть въ оба, а не видитъ ничего. А рабочіе, сами изволите знать, народъ бестія — тотчасъ смекнули и давай добро по сторонамъ тащить... Да чтò заводъ?... Пропадай онъ пробадомъ, огнемъ гори, сгинь все, чтò нажито!... Митька-то разумъ терялъ — вотъ гдѣ напастъ-то!... Кровавыми слезами ее не вымоешь!... Вѣрите-ль Богу? Старикъ я, старикъ, а плакалъ, бабой ревѣлъ, и ему, сыну-то своему, рожденью-то своему, покорился!... Да, покорился... Слезами обливаясь, упрашивалъ, умаливалъ его рассказать про кручину, чтò его одолѣла!... Не вытерпѣлъ слезъ моихъ Митька — сказалъ!. Лучше бъ на ту пору языкъ у него отнялся!... Пуншу, Петровичъ!... Да лей рому побольше, собака!...

«Нѣмка жила у Андрея Васильча, за дочерью ходила. По найму жила, полторы тысячи ассигнаціями ей давали...

Дѣвка безродная, откуда—Богъ вѣсть, такъ шаверь какая-то!.. А вѣры ихней еретицкой: не то люторской, не то папешской—да это все равно — такая ли, сякая ли, одна нехристь.... Митька и бухъ мнѣ: за моремъ-де слюбился съ ней, и окромѣ ея ни на комъ въ свѣтѣ не женится... Такъ меня варомъ и обдало!... Въ землю бы легъ, гробовой бы доской укрылся, только бы этихъ словъ не слышать!... Въ умѣ ль? говорю. А онъ свое!... Корнями обвела, еретица, на богатство польстившись!... Да чтобъ этому быть, чтобъ я самъ себѣ бороду оплевалъ!... Да весь мой родъ переведись!... По міру пойду, на гноищѣ середъ улицы лягу, а такого срама не возьму на себя, не возьму покура отъ роду, отъ племени!... »Слушай, говорю Митькѣ, вотъ тебѣ счеты: поѣзжай въ Коренную, оттолъ прямо въ Нижній къ Макарью, по осени въ степь за скотомъ.» — Провѣтрится, думаю, дурь-то вытрясется. «А поѣдешь, говорю, Москвой, побывай у Архипа Иваныча Подколесникова: у него дочка не Нѣмка чета: тоже на всякихъ языкахъ говорить, въ купеческомъ собраніи пляшетъ, а на музыкѣ позакатистѣй Нѣмки играетъ... А главное — благочестивыхъ родителей дочь, не еретица поганая»...—Митька было перечить, а я ему: «слушай, говорю, хоть ты и бариномъ глядишь, а воля съ меня не снята: возьму варовину — не пѣнай!»—Замолчалъ.

Вечеромъ Андрей Васильичъ пришелъ ко мнѣ. Спервоначалу, такъ себѣ, о томъ, о семъ покаявали. Потомъ рѣчь на Нѣмку свелъ, хвалить ее пуще Божьяго милосердія. Я слушаю, да думаю: что еще будетъ? Говоритъ Андрей Васильичъ, она-де и креститься можетъ, господа-де женятся же на Нѣмкахъ.—Смекнулъ къ чему рѣчь клонить, говорю ему: «господамъ и воля господская, а нашему брату то не указъ. Вы мой гость, Андрей Васильичъ, гру-

бой рѣчи вамъ не молвлю, а перестанемъ про еретицу толковать... ну, ее къ бѣсу совсѣмъ!»

«— Да мнѣ, говорить, Дмитрія Корнилыча жалко. —

«— Вамъ, говорю, жалко, а мнѣ вдвое жалчѣй: я вѣдь отецъ, хоть дѣтское сердце и въ камнѣ, да отцовское въ дѣткахъ... Да знаете, говорю, Андрей Васильчъ, русскую пословицу: «свои собаки грызутся, чужа не приставай». — Замолчалъ.

«Митька всю ночь проревѣлъ. Я ужъ далъ волю... Проревется, думаю, легче будетъ. — Самого меня отъ хлѣба откинуло: отецъ вѣдь, каковъ ни будь сынъ — все болѣзнь утробы моей!...

«Поутру въ садъ я пошелъ. Обрѣзываю съ яблони сухіе сучья у самого абдулинскаго забора. Слышу, Митькинъ голосъ!... Припалъ ухомъ къ забору — и ея голосъ!... Говорятъ не по-русски!.. Изъ моего-то сада калитка тогда была въ абдулинской садъ — я туда. — Свѣту не взвидѣлъ... Митька съ Нѣмкой обнявшись сидятъ, плачутъ да цѣлуются!... Увидавши меня, бѣжать шельма, — знаетъ кошка чье мясо съѣла... А Митька въ ноги... «Батюшка, говорить, мы вѣдь повѣнчаны!...»

«Остамѣлъ я, услыхавши срамоту на мою сѣдую голову... Зеленъ въ глазахъ заходила, къ сердцу ровно головня подкатилась!... На лежанкѣ очнулся, не помню какъ и добрелъ!... Выдался денекъ!... Пять лѣтъ на кости накинута!... Андрей-отъ Васильчъ хорошъ!.. Пріятелемъ звался, хлѣбъ-соль водилъ, денегъ когда займовалъ, — а у Митьки на свадьбѣ въ посажонныхъ!... Гдѣ-то за моремъ, пѣсь ихъ знаетъ, свадьбу сыграли... Безъ моего-то вѣдома, безъ родительскаго благословенья!... Вотъ они, друзья-то!... За наше добро намъ же рожонъ въ ребро!... Да и теперь на меня во всемъ вину валить! — Сына, слышь, я погубилъ! — Сами посудите, ваше высородіе, чѣмъ же я

тутъ причиненъ, чѣмъ виновать?... Вѣдь я отецъ—а вѣдь и змѣя своихъ дѣтей бережетъ!... Ученье всему виной, ученье!... Не я жъ въ самомъ дѣлѣ!... Еще, слышь, Сережка да Марья Андревна на Митьку—де мнѣ наговаривали!... Какъ же!... Не догадался бъ безъ нихъ!... Такъ вотъ!... Языкъ—отъ безъ костей!... Вотъ что!...

«На другой день иду отъ ранней обѣдни — Нѣмка встрѣчу. Не стерпѣло, — зашибъ: ударилъ маленько. Откуда ни возмись Митька — отнимать ее... Сердце меня и взяло: его въ сторону, Нѣмку за косу да оземь... Насилу отняли... Ужъ очень распалился я...

«Тяжела, видно, свекрова рука пришлась!... Зачахла. Мѣсяцевъ черезъ восемь померла.—Ха, ха, ха!... Слава Богу, думаю, теперь у Митьки руки развязаны, поревеетъ, поревеетъ да и справится... Былъ молодцу не укора, будетъ опять человѣкъ... Да бѣда не живетъ одна: ты отъ горя, оно тебѣ встрѣчу: придетъ чаша горькая — пей до дна...

«На другой день похоронъ пришелъ Митька домой... Господи батюшка!... Никогда этого за нимъ не важивалось!... Вотъ оно гдѣ горе-то неизбывное!... Митя, мой Митя!..

«Крѣпись, Корнило!... Терпи голова, благо въ кости скована!... Эхъ, извѣдалъ бы кто мое горе отцовское!... Глуби моря шапкой не вычерпать, слезъ кровавыхъ роднаго отца не высушить!... Пуншу, пуншу, Петровичъ!..

— Что жъ потомъ случилось съ нимъ? спросилъ я послѣ долгаго молчанья.

— Не пытайте отца!... Горько!... Упился я бѣдами, охмѣлился слезами!... Петровичъ! лей до краевъ!...



ПОЯРКОВЪ.

«Десять лѣтъ становымъ и на большой дорогѣ нищимъ! Чудеса!..» подумалъ я.

— Отчего жъ не продолжали службу?

— Я-съ... отрѣшенъ отъ должности съ тѣмъ, чтобъ впредь нигде не опредѣлять.

— Чѣмъ же занимаетесь?

— Какъ вамъ доложить?... Ничѣмъ-съ.... По святымъ обителямъ странствую... Работать не могу — года ужъ такіе.

— Частной бы должности поискали...

— Нельзя-съ.

— Отчего?

— Указомъ Правительствующаго Сената объявлено въѣзду въ частныя дѣла воспрещено... Къ другому ни къ чему не приобьѣтъ. Оно, конечно, вона теперь много мѣстовъ по пароходству на Волгѣ и въ компаніяхъ, и жалованье хорошее, и можно бы приспособиться... И пытался... Да съ моимъ аттестатомъ кто возьметъ?

«Вотъ подхватилъ я гуся лапчатого», подумалось мнѣ.

— А впрочемъ, благодарю Создателя, что не попалъ на мѣсто, заговорилъ Поярковъ послѣ короткаго молчанья. — А то не сподобилъ бы Господь столько святыни видѣть и недостойными устами своими къ ней прикасаться, не привелъ бы узнать матушку Русь православную какъ живетъ, какъ думается народу. Былъ я, ваше высокородіе, въ Кіевѣ и у Почаевской Богородицы, въ Воронежѣ и въ Соловкахъ, у Кирилла Бѣлозерскаго, у Симеона Верхотурскаго, верругъ Москвы вездѣ, — всю почти Россію пѣшкомъ выходилъ. А вѣдь нашему брату, убогому страннику, въ дворянскіе да въ чиновничьи дома ходу мало; у мужичковъ больше привитаемъ, отъ ихъ трапезы кормимся. Отъ нихъ-то и узналъ я русскій на-

либо музыкантомъ у богатого барина, вѣкъ свой брилъ бороду, ходилъ въ форменномъ казакинѣ, до сѣдыхъ волосъ звался Мишкой либо Гришкой и служилъ вѣрой и правдой. А какъ пришла старость, руки, ноги стали отставки просить, да увидалъ Гришка, что во дворнѣ онъ лишнимъ сталъ: то бабы на рубаху холста забыли ему наткать, то въ застольной мѣсто ему на сажень отъ чашки — бухъ въ ноги барину: «увольте въ Кіевъ во святымъ мощамъ на поклоненіе, да къ святителю Митрофанію». Такихъ много по большимъ дорогамъ.

Завидя насъ, старикъ подошелъ и низко поклонился.

— Не въ Ключищи ль изволите ѣхать, ваше высокородіе? спросилъ онъ.

— Въ Ключищи, а что?

— Окажите милость старику; позвольте на облучокъ присѣсть. Дѣло хворое — ноги болятъ. Самъ Богъ не оставитъ васъ.

— Садись, пожалуй, да ты кто такой?

— Титулярный совѣтникъ Поярковъ.

— Садитесь пожалуста... Да куда жъ вы? вотъ здѣсь. Тарантасъ широкъ, троимъ не будетъ тѣсно.

— Помилуйте, ваше высокородіе, смѣю ли я?.. Не извольте такъ много беспокоиться.

Насилу уговорилъ его сѣсть съ нами.

— Гдѣ служили? спросилъ я, думая, что это одинъ изъ оставленныхъ за штатомъ чиновниковъ... Ихъ тоже довольно на большихъ дорогахъ.

— Приставомъ втораго стана Письомскаго уѣзда Хохломской губерніи.

— Долго служили?

— Больше десяти лѣтъ. А до того секретаремъ земскаго суда былъ, писмоводителемъ въ городническомъ правленіи — все въ полицейскихъ должностяхъ...

«Десять лѣтъ становымъ и на большой дорогѣ нищимъ! Чудеса!...» подумалъ я.

— Отчего жъ не продолжали службу?

— Я-съ... отрѣшенъ отъ должности съ тѣмъ, чтобъ впредь никуда не опредѣлять.

— Чѣмъ же занимаетесь?

— Какъ вамъ доложить?... Ничѣмъ-съ.... По святымъ обителямъ странствую... Работать не могу — года ужъ такіе.

— Частной бы должности поискали...

— Нельзя-съ.

— Отчего?

— Указомъ Правительствующаго Сената объявленъ ябедникомъ, хожденіе по частнымъ дѣламъ воспрещено... Къ другому ни къ чему не пріобыкъ. Оно, конечно, вона теперь много мѣстовъ по пароходству на Волгѣ и въ компаніяхъ, и жалованье хорошее, и можно бы приспособиться... И пытался... Да съ моимъ аттестатомъ кто возьметъ?

«Вотъ подхватилъ я гуся лапчатого», подумалось мнѣ.

— А впрочемъ, благодарю Создателя, что не попалъ на мѣсто, заговорилъ Поярковъ послѣ короткаго молчанья. — А то не сподобилъ бы Господь столько святыни видѣть и недостойными устами своими къ ней прикасаться, не привелъ бы узнать матушку Русь православную какъ живетъ, какъ думается народу. Былъ я, ваше высокородіе, въ Кіевѣ и у Почаевской Богородицы, въ Воронежѣ и въ Соловахъ, у Кирилла Бѣлозерскаго, у Симеона Верхотурскаго, вкругъ Москвы вездѣ, — всю почти Россію пѣшкомъ выходилъ. А вѣдь нашему брату, убогому страннику, въ дворянскіе да въ чиновничьи домá ходу мало; у мужичковъ больше привитаемъ, отъ ихъ трáпезы кормимся. Отъ нихъ-то и узналъ я русскій на-

родъ... Познавать его вѣдь можно только лежа на полатяхъ, а не сидя за книгами да за бумагами, да разѣзжая по казенной надобности

Сначала подумалъ я, что если это не закоренѣлый мошенникъ, такъ по крайней мѣрѣ плутъ и ужъ навѣрное пьяница. Не даромъ говорится: воръ слезливъ, плутъ богомоленъ. Но вслушиваясь въ звуки рѣчей, всматриваясь въ лицо Пояркова, больше и больше удивлялся... Ни сизаго носа, ни багровыхъ пятенъ на щекахъ, ни мутности въ глазахъ, ни отека въ лицѣ, ни одного изъ признаковъ знакомства съ чарочкой не было. Напротивъ, въ глазахъ выражалось много ума и благодушія, въ лицѣ, — много твердости характера.

— Послушайте, господинъ Поярковъ, сказалъ я, — скажу вамъ прямо: вы меня удивляете... По вашему лицу, по вашимъ рѣчамъ не видно, чтобъ вы были...

— Шельмованный негодяй?.. перебилъ Поярковъ. — Не ропщу на судъ человѣческій: творился онъ волею Божіей. По дѣломъ я наказанъ.

— Но...

— Какъ ни будь кривъ судъ человѣческій, перебилъ меня Поярковъ, — все-таки онъ творится по Божьему велѣнію.

— Бываетъ однако, что невинные страдаютъ.

— Бываетъ, что судѣ мзда глаза деретъ, бываетъ, что судья неопытенъ и дѣла не разумѣетъ, вершить не по закону, не по совѣсти... Такъ... Но, повѣрьте, что за каждымъ невинно осужденнымъ были другіе грѣхи, до людей не дошедшіе, а къ Богу вопіявшіе... За эти-то тайные грѣхи и осуждается человѣкъ подъ предлогомъ такихъ, какимъ онъ не причастенъ... На человѣческомъ судѣ всего одинъ только разъ былъ осужденъ не имѣвшій грѣха. Судей тогда былъ Пилатъ.

«Правда, продолжалъ Поярковъ, — судья, что плотникъ; что захочетъ, то и вырубить, а у всякаго закона есть дышло: куда захочешь, туда и повернешь. Да въдь и надъ судьей и надъ подсудимымъ есть еще Судія.. Неужли Онъ допустить безвинно страдать? Не палачъ Онъ людей, а весь — любовь безконечная... Судья дѣломъ кривить, волю дьявола тѣмъ творить, на душу свою грѣхъ накладываетъ, а въ то же время, по судьбамъ Божьяго правосудія, творить и волю правды небесной, за ту вину караетъ подсудимаго, которой и не зналъ за нимъ. Такъ-то на всякую людскую глупость находить съ неба Божья премудрость.

«Хоть объ своемъ дѣлѣ вамъ доложу. Отрѣшенъ отъ должности вотъ за что. Въ деревнѣ баня загорѣлась, ее раскидали. Подаютъ объявленіе о пожарѣ: до деревни восемьдесятъ верстъ, а у меня сорокъ важныхъ дѣлъ на рукахъ, въ томъ числѣ пятнадцать арестантскихъ. Становому всѣхъ обязанностей исполнить нельзя, будь у него въ суткахъ сорокъ восемь часовъ. Потому и держатъ они вольнонаемныхъ писцовъ. Набираютъ ихъ изъ вольноотпущенныхъ, исключенныхъ изъ духовнаго званія, изъ службы выгнанныхъ, изъ лицъ состоящихъ подъ надзоромъ полиціи. Они и заправляютъ дѣломъ, а становой тѣмъ только занятъ, что поважнѣе да прибыльнѣе. И у меня человѣкъ съ пятокъ такихъ было. Одного и послалъ я на слѣдствіе о пожарѣ; онъ допросы снялъ, дѣло, какъ слѣдуетъ, очистилъ, я подписалъ, въ уѣздный судъ представили, рѣшили тамъ: «предать волѣ Божіей». А мужичонка али хозяинъ, вляузникъ былъ, подалъ губернатору жалобу: былъ-де у меня поджогъ, а такой-то отпущенникъ поджигателей скрылъ. Губернскаго чиновника прислали, тотъ нашелъ, что мужикъ вретъ, поджога никакого не бывало, а слѣдствіе въ самомъ дѣлѣ отпущенникъ произ-

водилъ, а я на немъ учинилъ фальшивую значить подпись и совершилъ допросы, и очныя ставки заднимъ числомъ... Подлогъ, значить!... Губернаторъ былъ въ новѣ, а нова метла чисто мететь — подъ судъ меня. Въ уголовной 391 статейку и подвели: «лишеніе всѣхъ правъ состояній и ссылка въ Сибирь на поселеніе». Подмазалъ — смилостились: уменьшающія вину обстоятельства нашли, рѣшили «уволить отъ должности». А тутъ другое дѣло завязалось: «о похороненіи на огородѣ безъ священническаго отпѣванія некрещенаго младенца матерью его, состоящею въ расколѣ». Другой чиновникъ пріѣхалъ. Прикосновенными были государственные крестьяне, стало-быть надо депутата. Чиновникъ меня и проситъ: «нельзя ли, говорить, поскорѣй депутата прислать, всего бы лучше безграмотнаго прислать, да прислалъ бы свою печать поскорѣе, мы бы дѣло-то разомъ кончили. У насъ, видите-ли, говорить, на будущей недѣлѣ въ Хохломскѣ благородный театръ будетъ, я, говорить, съ губернаторшей «Женщину-Лунатика» представляю, такъ достаньте, пожалуста, поскорѣе депутата, да непременно безграмотнаго». — Написалъ я въ волостному писарю записочку, выслалъ бы такого-то старшину къ чиновнику. Года черезъ три попадись эта записка моимъ лиходѣямъ. Завели новое дѣло «о разглашеніи тайны», подъ 453 статью меня: за сообщеніе бумагъ, отмѣченныхъ надписью «секретно», — отрѣшеніе отъ должности. Вѣдь, изволите знать, что каждая бумага про раскольниковъ, какая ни будь пустышная, сверху-то «секретно» надписывается. Бабы на базарѣ про дѣло толкуютъ, а ты «секретно» пиши... По совокупности преступленій меня и приговорили — отрѣшить отъ должности, чтобы впредь нигуда не опредѣлять. Кому ни рассказать — всякъ подумаетъ

что не по винѣ страдаю. А осужденъ я достойно и праведно.

Теперь такъ говорю, когда Господь умягчилъ мое сердце, а въ тѣ поры мыслилъ другое... Когда отрѣшили меня, остался я, на старости лѣтъ, безъ куска хлѣба. Еще слава Богу, что ни передо мной, ни за мной никого тогда не было — одинъ какъ перстъ. Конечно, деньги были, да лихомъ нажитое прочно не бываетъ, — что было нажито, мірской слезой облито, а мірская слеза у Бога велика. Подъ судомъ бывши истерялся: судъ вѣдь докуку да деньги любить; да и жилъ-то широконько — привыкъ, знаете, къ хорошей-то жизни, сразу отвыкнуть не могъ. Въ картишки любилъ поиграть, ну и выпала мнѣ такая линія, что дѣло хоть брось — ни иголки съ елки, ни иконы — помолиться, ни ножа, чѣмъ зарѣзаться. Работать силъ нѣтъ: и годы стары, и руки мягки, а мягки-то руки чужой хлѣбъ въ ротъ кладутъ, а печь своего не умѣютъ. Такъ горько пришлось, такъ прискорбно, что руки на себя хотѣлъ наложить.

И вотъ злость-то какая во мнѣ была: пришелъ къ проруби топиться; о душѣ, объ отвѣтѣ на Страшномъ Судѣ на умъ не приходитъ, а про Чувашъ вспомнилъ, какъ они недругу «суху бѣду дѣлаютъ». На кого золь, пойдетъ къ тому да у него на дворѣ и удавится, судъ бы на него навести... И сталъ я думать, какая жъ мнѣ польза, ежели утоплюсь — унесетъ меня подъ вешнимъ льдомъ и не знай куда, гдѣ-нибудь сыщутъ, въ губернскихъ вѣдомостяхъ напечатаютъ, найдено-де неизвѣстное мертвое тѣло, и станутъ вызывать наслѣдниковъ или владѣльцевъ съ ясными на принадлежность онаго доказательствами. Нѣтъ, думаю себѣ, коли власть на себя руки, такъ ужъ съ тѣмъ, чтобъ лиходѣю суху бѣду сдѣлать: пусть же знаетъ, что безрога корова и шишкой

бодаеть. А лиходѣмъ почиталъ губернатора, что велѣлъ меня подѣ судѣ отдать. И такое веселье врагъ вложилъ въ меня, что съ проруби-то я ровно съ праздника воротился.

Свѣдалъ, что у лиходѣя дѣльце есть тяжбное. Въ Малороссію верстъ тысячу пѣшкомъ отпегалъ и усталости не зналъ — вотъ какова злость-то была. У него, видите ли, дядя бездѣтный былъ, имѣнія тысячи двѣ душъ благопріобрѣтеннаго. Покойникъ женѣ завѣщалъ его, а мой лиходѣй сталъ духовную оспаривать. Вотъ, думаю, привелъ же Господь поплатиться, да еще и за правду постоять. Взялъ у тетки довѣренность, ѣздилъ, хлопоталъ, писалъ и «записался»... У племянника-то, у губернатора то-есть, сильна протекція была: тетку по міру пустилъ, а мнѣ хожденіе по дѣламъ воспретили...

Указъ засталъ меня въ Малороссіи. Денегъ ни копѣйки, дѣваться некуда. Опять хотѣлъ руки на себя наложить, опять въ рѣкѣ пошелъ; но тутъ Господь мнѣ помощь явилъ... Встрѣтился я со старцемъ, сказывалъ, что идетъ онъ изъ Кіева въ Саровскую пустынь. Кто такой, не знаю, но человѣкъ Божій и даръ прозорливости имѣлъ. Сталъ разговаривать и всю-то мою жизнь ровно по книгѣ вычиталъ. И самъ не знаю, что со мной сдѣлалось; заплакалъ я — благодать-то Божія коснулась окаменѣлаго сердца. «Научи, говорю, старче, какъ горю помочь». — Ступай, говоритъ, въ Кіевъ, помолись Іоанну Многострадальному, и твоимъ страданьямъ будетъ конецъ.

Слова старца умилили мое сердце; въ тотъ же день побрелъ я въ Кіевъ. Много разъ хотѣлъ съ дороги воротиться, врагъ-отъ дѣйствовалъ. У самыхъ даже воротъ монастырскихъ смутилъ онъ меня, такую тоску нагналъ, что хотѣлъ было я, не заходя во святую Лавру, — на

Днѣпръ да въ воду. Но за молитвы праведнаго старца, даваго мнѣ благой совѣтъ, избавилъ Господь отъ врага... И самъ не помню какъ очутился у мощей Іоанна Многострадалнаго... И тутъ во мнѣ ровно что просіяло, и заплакалъ я сладкими слезами... Мерзка и нечестива показалаась мнѣ прошлая жизнь!.. Вотъ теперь девятый годъ по обѣту, данному въ кіевскихъ пещерахъ, странствую по святымъ обителямъ.

Между тѣмъ подъѣхали мы къ Ключищамъ. Старикъ спѣшилъ туда къ храмовому празднику. Въ церкви того села стоитъ чудотворная икона, и къ ней на поклоненье изъ окрестныхъ мѣстъ сходится много богомольцевъ. После обѣдни залучилъ я къ себѣ Пояркова. Слово за слово, зашла рѣчь про бытъ уѣздныхъ чиновниковъ. Вотъ что онъ разсказалъ:

— Кто кого сильнѣй да важнѣй въ уѣздномъ городѣ, — вы не такъ говорить изволите. Ежели хотите знать, кто кого въ уѣздѣ больше — въ табель о рангахъ не смотрите; тамъ своя табель. Первое мѣсто въ городѣ — управляющій откупомъ: — будь онъ чиновникомъ, будь борода — все одно. Ему и честь и уваженіе, его и въ кумовья зовутъ, и на свадьбы въ отцы посаженные. Каждый Божій праздникъ всѣ отъ обѣдни къ нему на закуски, каждое первое число всѣмъ чиновникамъ онъ шлетъ и вина, и пива, и меду и наличными много ль кому слѣдуетъ, по «росписанью.» Вотъ это самое и росписанье и есть табель о рангахъ: кому откупщикъ больше платитъ, тотъ чиновникъ важнѣе, силы въ немъ больше. Важнѣе всѣхъ, конечно, исправникъ, а ежели городъ большой, богатый, купцовъ живущихъ въ немъ много, аль ярмонки при немъ знатныя есть, — то городничій. Если же городъ не важный, то городничій послѣдняя спица въ колесницѣ, и знать его нѣкто не хочетъ, и не слышать совсѣмъ про него; только что въ

мундирный день въ соборѣ на первомъ мѣстѣ станетъ — въ томъ и весь его авантажъ. Послѣ исправника — становой, потомъ секретарь земскаго суда да секретарь уѣзднаго. Это люди первые, за ними пойдетъ мелкая сошка: судья, непремѣнный членъ, казначей, стряпчій, винный приставъ. А всѣхъ ниже штатный смотритель да учителя: ими никто не занимается и никакого къ нимъ уваженія нѣтъ; откупъ имъ копѣйки не даетъ, къ самой даже Пасхѣ полштофа полугару не пришлетъ. И въ гости ихъ не зовутъ: развѣ когда изъ милости, аль для счету. Не во всякомъ городу окружные есть да лѣсничіе; а это люди первой статьи: окружной съ исправникомъ можетъ въ ровень стать, помощникъ его да лѣсничій выше становаго, чуть-чуть не исправниками смотрять.

А ежели на счетъ грѣховъ, такъ ихъ во всякомъ городу и во всякихъ чинахъ довольно... Про другихъ не стану говорить, зачѣмъ осуждать?... А про свои грѣхи для чего не разказать?... Всенародное покаяніе очищаетъ вѣдь ихъ...

Выросъ я въ канцеляріи; за приказнымъ столомъ и состарѣлся. А зналъ людей по одной только бумагѣ. Написано въ дѣлѣ: «въ деревнѣ Колосковой крестьянинъ Василій Сидоровъ», ну и знаешь, что есть на свѣтѣ Василій Сидоровъ. Явится онъ къ тебѣ по дѣлу, только и думы, какъ бы побольше сорвать съ него. Не думаешь, будетъ ли Сидоровъ съ семьей завтра ужинать, объ одномъ помышляешь, губа-де у меня, у барина, къ сладкому наважена, а мужицкое горло, что сухонное бердо, проглотить и долото. Пишешь, бывало, бумагу: «съ крестьянина Миронова деньги взысканы», и знаешь, что у Миронова были деньги. Пишешь: «Кондратьевъ розгами наказанъ» и знаешь, что есть у Кондратьева спина.

А не сидятъ ли у Миронова ребяташки безъ молока, за-
жила ль спина у Кондратьева, про то и не думаешь. Со всякаго берешь, а себя праведникомъ ставишь. Что жъ?
бывало, думаешь: — по праздникамъ церковь Божию не
обѣгаю, поповъ съ празднымъ принимаю, говѣю каждый
годъ, въ большіе посты не скоромлюсь, нищимъ по силѣ
помощи подаю, въ тюремномъ комитетѣ состою членомъ,
ежегодныя пожертвованія на дѣтскіе пріюты, по пись-
мамъ губернаторши, плачу исправно. Чего еще?...

Святымъ себя считалъ, а врага слушалъ. Шепчетъ,
бывало, въ душу-то: «Карпушку-то Власьева прижми,
денегъ у него, у шельмы, много, пуцай не забываетъ,
что ты его начальство». И прижмешь Карпушку бумаги
листомъ, а бумаги листокъ на рукѣ легокъ, а выйдетъ
изъ-подъ руки, такъ инѣй разъ тяжелѣй каменной горы
станетъ.

Разъ были нужны деньги до зарѣзу: наличныя въ
горку спустилъ, праздники подходятъ, покойница жена
шляпки требуетъ, салонъ съ куннымъ воротникомъ ей
подай, въ губернское правленіе дань посылать срокъ двѣ
недѣли ужъ миновалъ. Хоть въ домѣ отъ мірскаго при-
носу всякаго припаса и вдоволь, да надо хорошенькаго
винца купить, неравно губернский чиновникъ найдетъ, не
подашь ему мадеры деверье — шампанскаго подавай, да
настоящаго, по три цѣлковыхъ бутылка. Просто бѣда:
какъ бредень ли закидывай, — рыбешка не ловится. Что
дѣлать, какъ быть? А главное дѣло — губернское! Во
время не представишь — шесть выговоровъ на недѣлѣ
закатятъ, и пошелъ подъ судъ, купайся тамъ.

Почту получаю. Посмотримъ, думаю, — нѣтъ ли благо-
стыни. Подтвержденій штукъ сорокъ, помѣчаю — «къ
дѣлу». Пачка публикацій о сыскѣ лицъ и имуществъ:
ну это, извѣстно дѣло — подъ столъ, письмоводитель под-

береть, напишетъ: «на жительство не оказалось», и конецъ. Отъ губернатора предписанія, да все пустяковыя: статистику требуетъ, да двухъ старыхъ дѣвокъ въ консисторію на увѣщанье переслать... Объявленія объ умершихъ солдатахъ, о взысканіяхъ, о скотскомъ падежѣ, много всякой дряни, а путнаго нѣтъ ничего.—Эхъ, несчастная ты доля моя!... Еще распечатаваю: губернаторша еще разъ пожертвовать въ пользу дѣтскаго пріюта приглашаетъ. «Нѣтъ, думаю, шалишь, ваше превосходительство,—не до твоихъ поросятъ свинѣ, коль ее самое палать на огнѣ». Съ горя да съ печали за печатны циркуляры принялся. Видно, тяжело было, что за нихъ принялся... Ихъ, бывало, никогда не читаешь, только съ боку помѣтишь: «къ свѣдѣнію и руководству».

Десятка полтора прочелъ — ничегохонько... Вдругъ, гляжу—милость-то Господня! У циркуляра съ боку припечатано: «объ отдачѣ малолѣтнихъ крестьянскихъ дѣтей въ Горыгорѣцкую школу, Могилевской губерніи». — Э!... Не штука—деньги, штука—выдумка!... Вотъ она благодать-то гдѣ! Съ мѣста даже вскочилъ, запѣлъ отъ радости: *завтра услыши гласъ мой!*

«Лошадей! Въ Ермолино!»... Пріѣхали. «Къ волостному головѣ!...» — Достучались.—Вошли.—Хозяйка въ задней избѣ самоваръ ставитъ, а хозяинъ, стоя у притолки, въ кулакъ зѣваетъ: на разсвѣтѣ дѣло-то было.

— Что, говорю, Корней Сергѣичъ, здоровенько ли поживаешь?

— Слава Богу, говоритъ, ваше благородіе, Богъ грѣхамъ терпитъ.

— Ну, слава Богу—дороже всего, говорю... Домашніе что? Хозяюшка здравствуетъ ли?

— Что ей дѣлается?... Вонъ съ самоваромъ возится... Ишь надымила какъ въ сѣняхъ-то!... Грунька! Чего въ

угли-то налила?... Эка дурь-баба!... Дымъ сюда пройдетъ—у барина головка разболится.

— Ничего, говорю, Корней Сергѣичъ... Ну, дочки что?... Землемѣръ-отъ, чать, не даромъ мѣсяцъ у тебя выжилъ.

— Эхъ, ваше благородіе, чего тутъ ворошить?... Мало ль чего толкуютъ?... Чужи рѣчи не переслушаешь.

— Ну, да про это что? Дѣвки молодыя! По вашему, можетъ, такъ и надо. Парнишко-то что?

— Ничего, ваше благородіе, — растетъ. Часословъ скончалъ, на второй каѳизмъ сидитъ.

— Дѣло хорошее... А вѣдь я, Корней Сергѣичъ, къ тебѣ съ повѣсткой... Читай-ка: человекъ ты грамотный. — И подаю ему циркуляръ. А народъ-отъ по захолустьямъ глупъ: видитъ, печатна бумага, да съ боку «министерство» стоитъ—глаза-то у него и разбѣжались. Ученъ еще мало, знаетъ.

Прочелъ бумагу Корней, повертѣлъ въ рукахъ, на столъ кладетъ.

— Мы, говоритъ, ваше благородіе, люди слѣпые, — извольте приказать, какое тому дѣло есть.

— Что ты за слѣпой человекъ, Корней Сергѣичъ!... Зачѣмъ на себя клепать? Читай-ка вотъ, съ боку-то: «объ отдачѣ малолѣтнихъ крестьянскихъ дѣтей въ Горыгорѣцкую школу, Могилевской губерніи». Видишь?

— Вижу, ваше благородіе.

— А слыхалъ ли ты про такую губернію? Про Могилевскую-то?

— Никакъ нѣтъ, ваше благородіе, не слыхивалъ, что есть такая Могилевская губернія. Впервой слышу.

— Эта губернія за Сибирью, на самомъ краю свѣта, говорю ему.—И вся-то она, братецъ ты мой, состоитъ въ могилахъ. А на тѣхъ на могилахъ гора, и на той

горѣ школу, вотъ видишь, завели... Крестьянскихъ ребятшекъ тамъ ко всякому горю приобучаютъ: оттого и прозвана «на горѣ горечкая школа». Понялъ?

— Не въ домекъ, ваше благородіе: ваши рѣчи умныя, да наши головы глупыя.

— Да полно малину-то въ рукавицы совать! Чтò въ самомъ дѣлѣ на себя клеплешь! У него и Власка каѳизмы читаетъ, а самъ будто и печатнаго разобрать не можетъ. Бери бумагу-то, читай; не морочу вѣдь тебя... Печатное. — Не самъ же я печаталъ. Видишь? «Объ отдачѣ мало-лѣтнихъ крестьянскихъ дѣтей»... А ты читай самъ!

Корней ни живъ, ни мертвъ: только пальцами семенилъ. — Смекнулъ куда дѣло-то клоню. А все-таки спрашиваетъ:

— Какое жь тутъ до меня касательство, ваше благородіе?

— Какъ какое касательство? Власкѣ-то который годъ?

— Двѣнадцатый на Масляницѣ пошелъ.

— Такихъ и требуется. Читай-ка вотъ.

— Нельзя ли помиловать, ваше благородіе?

— Да какъ же я тебя помилую? По ревизскимъ сказкамъ извѣстно, вѣдь, у какого крестьянина какихъ лѣтъ сыновья. Что жь мнѣ изъ-за твоего Власки на свою голову бѣду брать... А?...

Замолчалъ Корней. Повѣсилъ голову, лицо пятнами пошло. А я себѣ прималчиваю, изъ сундучка бумаги вынимаю да раскладываю ихъ по столу.

— Нельзя ли какъ помиловать, ваше благородіе? заголосилъ Корней.

— Какъ мнѣ тебя миловать-то, Корней Сергѣичъ? Своего что ли сына замѣсто Власки по этапу высылать? Такъ у меня и сына-то нѣтъ.

— Все въ вашихъ рукахъ, ваше благородіе... Какъ

Богъ, такъ и вы!... Помилуйте, заставьте за себя вѣчно Бога молить.

Корнеева жена въ избу вошла, знаетъ ужъ о чемъ дѣло идетъ. Повалилась на полъ, ухватилась мнѣ за ноги, воетъ въ источникъ голоса на всю деревню. Услыхавши материнъ вой, дѣвки прибѣжали, тоже завывали, тоже въ ноги. А Власка, войдя въ избу, сталъ у притолки, самъ ни съ мѣста. Побѣлѣлъ ровно полотно, стоитъ, ровно къ смерти приговоренъ.

— Душно что-то здѣсь, молвилъ я Корнею: на крыльцо выйду. Хочешь, вмѣстѣ пойдемъ.

Вышли на крыльцо. Хозяйка почти безъ дыханія. Дѣвки было за нами, да Корней цыкнулъ на нихъ.

Сѣлъ на крыльцѣ, трубочку раскурилъ, покуриваю себя... Говорю Корнею таково пріятно да ласково:

— Избы не хочу сквернить этимъ куревомъ... Знаю, что старинки держишься, скитамъ вѣруешь... Такъ я на крылечѣ, чтобъ у тебя боговъ не закоптить... Садись-ка рядомъ, Корней Сергѣичъ, потолкуемъ....

Потолковали. На пяти золотыхъ покончили. Написалъ я Власку нѣмымъ и увѣчнымъ, въ Горыгорѣцкую, значить, негоднымъ.

Съ легкой Корнеевой руки у меня дѣло какъ по маслу пошло. Сколько ни было въ стану богатыхъ мужиковъ, — всѣхъ объѣхалъ, никого не забылъ. Сулил могилы да на горахъ горе, получилъ за cadaго парнишку по золотенькому, въ глухіе, въ нѣмые писалъ ихъ... Мужики рады-радешеньки, отбывши такое великое горе. Всѣмъ праздникъ, а мнѣ вдвое:—у жены салопъ и шляпка съ бѣлымъ перомъ, точь-въ-точь какъ у вице-губернаторши; у полюбовницъ, что въ стану держалъ: у одной шелково платье, у другой золотная душегрѣйка; шампанскаго вдоволь, хоть на мѣсяцъ пріѣзжай губернскіе...

А главное, въ губернскомъ правленіи остались довольны: крѣпко, значить, на мѣстѣ сажу.

Да-съ, бываль я воткомъ, лавливалъ мышекъ.

Вся штука въ томъ, что надо острогу имѣть, чтобъ показать мужику дѣло не съ той стороны, какъ оно есть. Это у насъ называлось «перелицовать». Кто мастеръ на это, будетъ сытъ, и дѣтки безъ хлѣба не останутся. Законъ, какъ толково ни будь написанъ, все въ нашихъ рукахъ: изъ каждой бумаги хочешь—свѣчку Николѣ сучи, хочешь — посконну веревку вей... А мужикъ что понимаетъ? Онъ человѣкъ простой: только охаетъ да въ затылкѣ чешетъ. До Бога, говорить, высоко, до царя далеко. Похнычетъ, похнычетъ — и перестанетъ.

А нѣтъ ничего прибыльнѣй, какъ раскольники. Народъ ужъ такой: обижаются даже на того, кто не беретъ. Кто взялъ, на того надѣются, что не выдастъ и все по ихнему сдѣлаетъ; а кто не взялъ, того боятся, притѣснителемъ обзываютъ, и пронесутъ имя его яко зло—до самыхъ высокихъ степеней... Такая ужъ вѣра у нихъ: имъ шагу ступить нельзя, чтобы чего-нибудь супротивнаго закону не сдѣлать. Паспортовъ, по ихнему, не надо, для того, что антихристову печать означаютъ. Отъ того безпаспортнымъ у нихъ пристанище, къ тому жъ безъ бѣглыхъ имъ во всемъ невозможно: попы ли, большаки ли ихніе, народъ все «скрывающійся», попросту сказать, бѣглый. А это нашему брату и на руку. У меня въ стану скиты были — дно золотое.

Въ каждомъ по десяти, по двѣнадцати обителей, въ каждой обители настоятельница, старица и бѣлицы штукъ пятьдесятъ и побольше. Это «лицевыхъ», значить такихъ, что съ паспортами живутъ... Кромѣ того «скрывающихся» много. Каждая настоятельница за «лицевую» въ годъ по два платитъ, а за «скрывающуюся» меньше трид-

цати взять нельзя. А у богатыхъ раскольниковъ еще такое заведеніе есть, что ежели купеческой дочкѣ пошालить случится и она тяжела станетъ, ее посылаютъ въ скиты, будто бы къ тетускѣ тамъ какой-нибудь погостить. въ своемъ-то бы городу огласки не было, женихи бы послѣ не обѣгали. Тутъ, бывало, пожива хорошая: дѣвѣа-то пріѣдетъ съ деньгами, съ нее за то, чтобъ дѣвѣичьей тайны не огласить, а ребеночка принесетъ,—слѣдствія бы не производить!...

Большой праздникъ подходитъ: изо всѣхъ обителей къ тебѣ съ подносами:—къ Пасхѣ—на куличи, къ Петрову дню—на барана, къ Успенью—на медъ, къ Покрову—на брагу, къ Рождеству—на свинину, къ Масляницѣ — на рыбу, къ Великому Посту на рѣдьку да на капусту.

А то еще за сборами по городамъ матери ѣздить. Поѣдутъ передъ зимнимъ Николой, воротятся къ Благовѣщеньеву дню... Ъдучи въ путь, приходятъ паспорта явить... Со сбору воротятся, опять являются — и чего тутъ, бывало, не натащатъ. Котора въ Саратовъ ѣздила, рыбы да икры, котора въ Казань—сафьяну на сапоги, котора изъ Екатеринбурга пріѣхала — нельмы-рыбы да печатокъ изъ камней самоцвѣтныхъ, съ Дону—балыковъ, изъ Москвы—сукна, матерій разныхъ, всякаго, значить, фабричнаго дѣла. Самому ни съѣсть, ни износить, лишки нужнымъ людямъ въ губернію плешь... Они довольны, и оттого на счетъ непріятностей опасенія не предвидится.

Въ скитъ пріѣдешь — угощенье тутъ тебѣ богатой рукой. Спервоначалу все чинно: сядешь за столъ съ чиновниками, что прихватишь съ собой разгуляться, матери во всемъ чину у дверей стоятъ:—въ вѣнцахъ, во иночествѣ,—шапочка такая плисовая у нихъ есть, иночествомъ зовется!— на плечахъ у всѣхъ манатейки — пелеринки эта-

кія черныя съ красной выпушкой. У каждой въ рукѣ лѣстовка: стоятъ смиренно, глядятъ умильно, рѣчь ведетъ одна игуменья, да развѣ еще келарь, стряпка значитъ, примолвить: «милости просимъ», когда на столъ нову перемѣну ставить. Радовыя старицы только вздыхаютъ да молитвы про себя шепчутъ. Бѣлицъ тутъ не бываетъ, — тѣ по свѣтлицамъ сидятъ. И велишь, бывало, матерямъ пить, ихнимъ же добромъ ихъ угощаешь. Хоть всѣ онѣ, кромѣ развѣ престарѣлыхъ, до винца и охочи, — а спервоначалу тоже блюдутъ себя, церемонятся. Выругаешь хорошенько, примутся за чарочки... Перепьются, потому что не смѣютъ послушаться...

Тогда къ бѣлицамъ въ гости. А бѣлицы бывали, хорошія, молодыя, красивыя, полныя такія да здоровенныя — кровь съ молокомъ. Ходятъ чистенько: юпки, рубашки миткалевыя, кофточки полотняныя... При стороннихъ, въ черныхъ сарафанахъ съ цвѣтными широкими ситцевыми передниками. Пойдешь по свѣтлицамъ: тамъ онѣ сидятъ, бисерны кошельки вынизываютъ, шелковы пояски ткнутъ, по канвѣ шерстями да синелью вышиваютъ... Такая тутъ возня пойдетъ, что безъ грѣха никогда, бывало, кончиться не можетъ... На счетъ этого слабеньки...

А вѣдь ихъ винить нельзя. У крестьянской дѣвки хоть много работы, да въ году три радости есть: на Масляницѣ покататься, на Святой покачаться, на Троицу вѣнки завивать. А келейны бѣлицы тяжелаго дѣла не знаютъ, снуютъ цѣлый день изъ часовни въ свѣтлицу, изъ свѣтлицы въ часовню, каноны читаютъ да кошельки вяжутъ — вотъ и работа вся. А ѣдятъ сладко, спятъ мягко, живутъ пространно, всякому пальчику по чуланчику — дурь-то въ голову и лѣзетъ. По ихнему же это и не грѣхъ, а только паденіе: безъ грѣха, слышь, нѣтъ покаянія, а безъ покаянья и спасенія нѣтъ. Потому дѣвицѣ и доз-

волево согрѣшить, было бы въ чемъ каяться и тѣмъ спасеніе получить. Такая ужъ вѣра.

А когда благодѣтели, значить, богатые купцы, придутъ въ скитъ, тутъ не то... Не тѣмъ обитель смотреть, точно въ самомъ дѣлѣ истинное благочестіе въ ней обитаетъ. Поведутъ матери благодѣтеля въ часовню, тамъ старицы стоятъ чинно, рядами, въ полномъ чину, на вѣнцѣ у каждой креповая «наметка», все лицо она покрываетъ. Вездѣ лампадки, вездѣ свѣчи горятъ. Въ серединѣ стоятъ «уставщица», смиренно въ землю глаза опустивъ, внятно читаетъ старинныя книги. Чистыми, звонкими голосами стройно бѣлицы поютъ по крюкамъ, де-мественнымъ разводомъ. Кланяются разомъ, предъ земными поклонами бросаютъ на полъ подручники разомъ, поднимаютъ ихъ разомъ, лѣстовки перебираютъ разомъ. Слѣва сторонняго не молвятъ, въ сторону не взглянуть—да этакъ часовъ пять, либо шесть сряду. Благодѣтель-отъ упарится, умается, а самъ себѣ думаетъ: «вотъ оно гдѣ благочестіе-то, вотъ она гдѣ старая-то вѣра!»..

И пригоршнями благостыни отвалить... А домой придетъ, братьѣ своей зачнетъ говорить: «видѣлъ я, братія, скиты.... Ужъ такое тамъ благолѣпіе, ужъ такое тамъ благочестіе: истинно земные ангелы, небесные же человѣки» — А небесные человѣки — только-что благодѣтель вонъ изъ скита, на радостяхъ отъ хорошей выручки,—старицы за рюмочку, а бѣлицы за мила дружка, за сердечнаго.

Благодѣтели на каноны и на негасимую денегъ скитницамъ пересылаютъ много. Ежели гдѣ-нибудь, хоть въ дальнемъ какомъ городѣ, богатый раскольникъ умретъ, родственники посылаютъ милостыни «на кормъ братіи». Тѣ деньги идутъ настоятельницамъ, у нихъ въ каждой обители общежителство: пьютъ, ѣдятъ на об-

щій счетъ. Кромѣ того, на «негасимую свѣчу» присылаютъ, значить, чтобъ читать Псалтырь по покойникѣ деннонощно шесть недѣль, либо полгода, либо годъ, глядя по деньгамъ, и каждый день пѣть «канонъ за единоумершаго». Иной разъ придется рублевъ по пяти на скитницу, богачи-то присылаютъ на всѣ скиты тысячъ по десяти, на ассигнаціи... Дѣлежъ бываетъ въ скрытности, опричь игуменій да какихъ-нибудь знатнѣющихъ, никого тутъ не бываетъ... — А сборы имъ закономъ воспрещены; потому онѣ завсегда у насъ въ рукахъ.

Случится узнать,—привезли панафидныя деньги и будутъ дѣлить въ такой-то обители. Поѣдешь, бывало; но какъ ни пріѣдешь—ничего не застанешь, а по всему видно, что вотъ сейчасъ изъ кельи вонъ разбѣжались... Когда и во-время попадешь, да у нихъ въ скитахъ дома нарочно такіе построены: ходы въ нихъ да переходы, темные корридоры, чуланы да тайники, скрытые проходы межъ двойными стѣнами, подъ двойными полами и подземные ходы изъ одной обители въ другую есть. Имъ безъ того нельзя,—такая ужъ у нихъ вѣра, что вся на бѣглыхъ стоитъ. Прячутъ ихъ въ тайникахъ-то въ случаѣ надобности.

Разъ мнѣ удалось на дѣлежъ попасть. Узналъ, что изъ Сибири большую сумму привезли, и будутъ дѣлить у матери Иринархи въ обители. На ту пору былъ я у матери Иринархи по какому-то дѣлу, а у нея купеческая дочка изъ Москвы жила и со мной, грѣшнымъ дѣломъ, по тайности въ любви находилась. А скитскія дѣвѣн, я вамъ доложу, бѣда какія неотвязчивыя; ежели съ которой сошелся, требуетъ, чтобы въ гости жаловалъ, а ежели долго въ скитѣ не бывалъ, плачетъ, укоряетъ — забылъ-де меня...

— Знаешь ли что, говорю возлюбленной своей. —

Вѣдь у васъ завтра собраніе будетъ, а мнѣ больно хочется посмотрѣть на него. Я бы сегодня такъ сдѣлалъ, будто уѣду изъ скита, а самъ у тебя въ свѣтлицѣ останусь, ты мнѣ ихнее-то собраніе изъ тайничка и покажешь.

Обрадовалась моя Варвара Абрамовна, что цѣлыя сутки у ней въ свѣтлицѣ пробуду... Велѣлъ я письмоводителю мою шубу надѣть, да чтобъ по голосу его не признали, приказалъ ему пьянымъ быть, и вышло такъ, будто я напился до безчувствія, и меня, положивши въ сани, изъ скита вонъ увезли. Цѣлыя сутки пробылъ я у Варвары Абрамовны, а подъ вечеръ черезъ тайничекъ внизъ спустился, и сталъ возлѣ Иринархиной кельи. Дырочка тамъ проверчена: все видно.

Собрались матери, прикащика привели, что деньги привезъ, помолились, письма прочитали, канонъ за умершаго пропѣли, кутьи поѣли и усѣлись—деньги дѣлить. Самая полночь была. Только-что деньги на столѣ онѣ разложили, я изъ тайничка да середъ честной компаніи и сталъ.

— Здорово ль, говорю, поживаете, преподобныя матери?... Что жъ меня-то въ долю не принимаете?

Заметались. А при мнѣ охотничій рогъ былъ. — За-трубилъ... Сотскіе да разсылные, а имъ напередъ велѣно было тайнымъ образомъ къ ночи вокругъ обители собраться, голоса стали подавать.

— Слышите, говорю, матери? Мой-то молодцы русака въ скиту учуяли! Да не ты ли русакъ-отъ, почтенный? говорю прикащику.—Кажы паспортъ!

— Паспорта нѣтъ; въ городъ на квартирѣ, говорить, покинулъ.

— Это мнѣ все равно. Ежели при тебѣ паспорта нѣтъ, милости просимъ въ кутузку.

— Да я, говорить, купеческій сынъ.

— А хотя ты и купеческій сынъ, да есть пословица: отъ тюрьмы да отъ сумы никто не отрекайся. Сидятъ въ тюрьмѣ и дворяне, не то что ваша братья, купцы.

Такъ да этакъ: смиловался я, отпустилъ прикащика. Три тысячи на ассигнаціи мнѣ досталось. Читали ль матери заказной Псалтырь, нѣтъ ли — того не знаю.

А ужъ какъ легковѣрны онѣ, такъ просто на удивленье! Жила въ Чернушинскомъ скитѣ среднихъ лѣтъ дѣвка, звали ее Пелагея Коровиха. Жила у матерей долго, скитскіе порядки знала; да скружилась,—ее и прогнали. Въ городъ переѣхала. Сайки на базарѣ продавала, съ печенкой у кабака сидѣла—перебивалась такою торговлей. Познакомилась она съ отставнымъ солдатомъ Ершовымъ, что лѣтъ съ десятокъ при земскомъ судѣ въ разсылныхъ былъ, по всему уѣзду знали его. Запивать сталъ — потерпѣли, потерпѣли, однако выгнали наконецъ. Приходитъ онъ къ Коровихѣ, на судьбу плачется: не знаю, говорить, что и будетъ со мной; удавиться думаю, хуже будетъ какъ съ голоду помру. Посовѣтовались — да и придумали штуку! Обрѣзала Коровиха косу, добыла гдѣ-то вицъ-мундиръ, чиновникомъ одѣлась, орденъ святаго Станислава на шею надѣла. Достали лошадей; Коровиха въ сани, Ершовъ на козлы, да ночнымъ временемъ въ скитъ, только не въ тотъ, гдѣ Коровиха жила, а въ другой, гдѣ не знали ея. А по уѣзду еще не было извѣстно, что смѣненъ Ершовъ, и онъ по дорогѣ рассказываетъ, что посланъ исправникомъ при чиновникѣ, что по раскольникъ дѣлу изъ Петербурга пріѣхалъ. Передъ Коровихой всѣ шапки ломаютъ; видятъ, баринъ большой: крестъ на шеѣ.

Пріѣхали. Разбудилъ Ершовъ настоятельницу. «Вставай, говорить, скорѣй, мать Евфалія бѣда: твоя до тебя

дошла.— Чиновникъ изъ самаго Питера прїѣхалъ. Чуть ли часовню не станеть печатать.» Евфалія захохала, Ершовъ ей свое:

— Меня, говоритъ, исправникъ нарочно съ нимъ послалъ, чтобъ тебѣ, по силѣ-возможности, какую-ни на есть помощь подать.

— Кормилецъ ты мой!.. завопила Евфалія. Помоги ты мнѣ старой старухѣ, а ужъ я тебя не оставляю... Заставь за себя Бога молить!... А сама межъ тѣмъ Ершову въ руки зелененькую.

— А ты вотъ что, мать Евфалія, говоритъ Ершовъ, сдѣлайся-ка съ нимъ, какъ знаешь; поблагодари его честь. Исправникъ велѣлъ сказать, что онъ подходящій, благодарить его можно.

— Дай Богъ здоровья его высокородію Петру Ѳеодоричу, — говоритъ Евфалія, — что на разумъ наставляетъ меня старую да глупую.

А чиновникъ-Пелагея ужъ въ кельѣ... Очки на носу, бумаги разбираетъ. Вошла къ нему мать Евфалія ни жива, ни мертва.

— Какъ тебя звать? крикнула ей Коровиха.

— Евфалія грѣшная, ваше превосходительство.

— По отцѣ?

— То-есть по-бѣлически-то зовутъ меня Авдотья Маркова; а это значитъ по-иночески: Евфалія грѣшная.

— Да развѣ ты смѣешь иноческимъ именемъ называться? закричала Коровиха и ногами затопала.

Да приподнявши платокъ, что Евфалія на себя въ роспускѣ накинула, увидала подъ нимъ и манатейку и вѣнецъ... Пуще прежняго закричала:

— Это что такое?... Это что надѣто на тебѣ?... Не знаешь развѣ, что за это вашу сестру въ острогъ сажаютъ?

Въ кандалы старую каргу, крикнула Ершову Коровиха. — въ острогъ ее, шельму, вези!

— Слушаю, ваше превосходительство, говоритъ Ершовъ.

— Подай изъ саней кандалы, крикнулъ онъ, выйдя въ сѣни извозчику.

Ровно громъ грянулъ въ обители: въ ногахъ валяются, милости просятъ. Тутъ и промахнись Коровиха.

— Давай, говоритъ, десять цѣловыхъ да штофъ пѣннику.

Тотчасъ принесли и деньги, и пѣннику... Только тутъ всѣ и поусумнились: чтожь это за важный чиновникъ, коль за дѣло, что тысячи стоитъ, только десять цѣловыхъ потребовалъ... Опять же ни мадеры, ни рому, ни другаго дворянскаго пойла ему не надобно, а вдругъ подай пѣннику! Неподалеку отъ скита исправникъ въ то время на слѣдствіи былъ... Ему дали знать, тотъ нагрязнулъ. Входитъ въ келью, а Коровиха съ Ершовымъ, штофникъ-отъ опорожнивши, по лавкамъ лежатъ. Такъ и взяли ее въ вицъ-мундиръ и съ крестомъ на шеѣ. По суду три года въ рабочемъ домѣ потомъ просидѣла.

Чего въ тѣхъ скитахъ не творилось! Да вотъ хоть про друга моего, про Кузьку Макурина рассказать. Былъ онъ изъ удѣльныхъ крестьянъ, парень еще молодой. Отецъ у него кузнечилъ, а когда померъ, довольно деньжонокъ сыну оставилъ, и домъ—полну чашу, и кузницу одвухъ наковальняхъ. Неразумному сыну родительское богатство въ прокъ не пошло; не понравилось Кузькѣ ремесло отцовское: ковать жарко, продавать холодно. Черной работы не жаловалъ, захотѣлось ему бѣлоручкой жить — значить, отъ кузницы подальше, меньше бы копоты было. Годика въ два родительское добро все по нитѣ спустилъ. Къ винцу да къ сладкой ѣдѣ привыкъ, а въ мошай-го

пусто. И почаль деньги ломомъ да отмычками добывать. Разъ пять попадался, да каждый разъ по суду въ подозрѣнны только оставляли. Поймали наконецъ на дѣлѣ, въ солдаты приговорили, потому что недѣли до совершенныхъ лѣтъ у него не хватало.

На другой же день, какъ сдали его, онъ бѣжалъ. По деревнямъ проживать опасно было, — онъ въ скиты. Пришелъ въ матери Маргаритѣ: — «бѣгаю, говорить, отъ антихриста, и ты, матушка, меня въ стѣнахъ своихъ сохрани».

Маргарита разжалобилась, взяла Кузьку на конный дворъ въ работники. Тутъ онъ зажилъ припѣваючи: сытъ, пьянъ, одѣтъ, обутъ... А главное, живучи подъ крылышкомъ Маргариты, никого не бойся, даромъ что бѣглый... Мы съ ней жили въ добромъ согласіи. Иногда развѣ что скажешь ей: «Кузька-то у тебя больно пространно живетъ, спрячь его до грѣха». Ну и припрятеть.

Кузька со мной подружился черезъ то, что Маргаритину племянницу, Евпраксію Михайловну мнѣ предоставилъ. Изъ Ржева была, купеческая дочка — съ офицеромъ провинилась, ее и послали въ теткѣ стыдъ прикрывать. Скитское житіе ей по праву пришлось — осталась въ кельяхъ... Ну, Кузька, спасибо ему, помогалъ, очень даже помогалъ. Отъ того и завелась у меня дружба съ нимъ.

Неспокойный былъ человѣкъ. Чѣмъ бы, кажется, не житіе ему было у матерей? Такъ нѣтъ, пакостить началъ и скитницъ мнѣ выдавать. Шепнеть, бывало: «приходите, ваше благородіе, тихими стопами ночью подъ Успеневъ день въ матери Θεозвѣ въ моленную; бѣглый попъ пріѣхалъ, въ полотняной церкви станетъ служить».

Нагрянешь, во всеѣ чину службу застанешь. «Эго

что? Ты кто такой? Вяжи!» Матери забѣгаютъ, ровно мыши въ подпольѣ: котора антимпсѣ за пазуху, котора сосуды въ карманѣ, съ попа ризы деретъ. А попъ ровно хмѣльной, самъ шатается, а норовитъ въ уголъ, чтобъ оттуда въ тайникъ, да скрытыми переходами въ другу обитель, а оттолѣ въ лѣсъ. Зналъ я эти штуки-то: «нѣтъ, говорю, отче святой, отъ меня не улизнешь, знаю я ваши мышиныя норки, а протяни-ка ты лучше стопы свои праведныя, вонъ сотскій-отъ хочетъ кандалы на тебя набивать».

Старицы въ ноги.

— Батюшка, ваше благородіе, положи гнѣвъ на милость!

— Дамъ я вамъ милость, говорю.— Вяжи всѣхъ да подводы подъ нихъ снаряжай... Всѣхъ въ острогъ.

А онѣ:

— Помилосердуй, милость на судѣ хвалится.

— Дамъ я вамъ милость!... — Вяжи всѣхъ да гаси свѣчи: часовню-то запечатаю.

А самъ изъ кармана снурокъ, печать да сургучъ. Всегда при себѣ держалъ: страхъ внушаютъ.

— Да заставьте же, ваше благородіе, за себя Бога молить,—вопятъ старицы:—помилусердуйте!..

— Да что вы, говорю, пристали ко мнѣ?.. Ничего не могу сдѣлать, губернаторъ предписалъ. Сами знаете: твори волю пославшаго.

— Да все въ твоихъ рукахъ, батюшка, ваше благородіе!... Какъ Богъ, такъ и ты!...

Дали. Попа въ кибитку, а мы къ Θεозвѣ чай пить да съ бѣлицами балясы точить.

Провѣдаетъ Кузька: подъ моленну новы столбы подвели; скажетъ. Приѣдешь въ скитъ, найдешь починку,

запечатаеть моленную. Пообѣдаешь, разгуляешься, возьмешь, распечатаешь.

А на Кузьку ни одна изъ матерей подозрѣнія не имѣла. Думаютъ: «свой человѣкъ, состоитъ по древнему благочестію, какъ же ему Іудой-предателемъ быть». А въ своей обители у Маргариты пакостей онъ не творилъ.

Не одоброваль однако у скитницъ мой Кузька: очень ужъ безобразную жизнь повелъ, стали матери имъ тяготиться, а прогнать боялись, потому что, ежели прогнать, скитъ сожжетъ. Напился онъ разъ съ попомъ Патрикіемъ до-нелзя и зачалъ спорить съ нимъ о божественномъ... Спорили они, спорили — Кузька въ ухо пона: «я, дескать, тебя, ревнуя по истинной вѣрѣ, аки Никола святитель Арія — заушаю!... А попъ-отъ черезъ день возьми да Богу душу и отдай... Слѣдствія не было: бѣглый бѣглаго убилъ, оба люди не лицевые. Такъ оно и заглохло.

Послѣ того его и прогнали. По деревнямъ шататься сталъ гдѣ день, гдѣ ночь. Тяжело пришлось житье: въ водкѣ вкусъ позабылъ. Конокрадствомъ вздумалъ промыслять, да на первой кляченкѣ попуталъ грѣхъ: поймали Кузьку, — ко мнѣ.

— Что, говорю, попался?

— Попался, говорить, ваше благородіе, такая ужъ судьба моя провлятая!... А у меня до васъ есть секретъ.

— Какой?

— Важный секретъ, ваше благородіе. Могу сказать только одинъ на одинъ... Потому секретъ по первымъ двумъ пунктамъ, государственный секретъ, ваше благородіе...

Пошли въ боковушку. Сказалъ.

Вышли мы съ нимъ въ канцелярію, сталъ я съ Кузьки показанье снимать.

— «Зовутъ меня Иваномъ; какъ по отцѣ и чей родомъ, не помню; сколько лѣтъ, не знаю; грамотѣ російской читать и писать умѣю, въ штрафахъ и подѣ судомъ не находился, по девятой ревизіи покуда нигде не приписанъ, движимаго и недвижимаго имѣнія за мной нѣтъ никакого, опредѣленнаго промысла или занятія не имѣю, а прибывъ въ прошедшемъ году въ здѣшній Пискомскій уѣздъ, занимался дѣланіемъ фальшивой монеты. На такое ремесло былъ склоненъ торгующимъ по свидѣтельству третьяго рода крестьяниномъ Маркомъ Емельяновымъ, каковой Маркъ Емельяновъ и научилъ меня, съ помощію собственныхъ его инструментовъ, какъ российскую, такъ и иностранную монету чеканить. А ту фальшивую монету, изъ опасенія подозрѣнія и законнаго по суду воздаянія въ случаѣ открытія, производили мы въ разныхъ мѣстахъ».... Послѣ того и пошелъ перечислять мужиковъ, что самые богатые были.... Во свидѣтельство представлялъ два фальшивые талера и старинный цѣлковый, тоже фальшивый. — «И сильно скорбя о содѣянномъ преступленіи и жестоко мучась угрызеніемъ совѣсти, рѣшился я въ присутствіи вашего благородія чистосердечно объяснить о содѣянномъ мною преступленіи, что вы уже и слышали отъ меня. Имѣю неотъемлемое право на справедливо заслуженное мною наказаніе и, предаваясь въ волю закона, прошу со мною учинить, что правосудіе повелѣваетъ».

Сдѣлавъ такое показаніе, Кузька бойко подписался по всѣмъ статьямъ: «Къ сему показанію Иванъ, не помнящій родства, руку приложилъ».

Велѣлъ я заковать Ивана Непомнящаго и поѣхалъ съ нимъ да съ понятыми къ Марку Емельянову. Обыскъ

произвели — ничего не отыскиали. Маркъ, извѣстно дѣло: «знать не знаю, вѣдать не вѣдаю, впервой того человѣка и вижу». Поставилъ ихъ на очную ставку.

Кузька говорить: «побойся Бога, Маркъ Емельянычъ, какъ же ты меня не знаешь? Да не я ль у тебя двѣ недѣли выжилъ? Да не ты ль меня училъ монету дѣлать? Да не ты ль хвалился, что сдѣлаешь монету лучше государевой?»

Маркъ и руками, и ногами, а Кузька ему:

— Нѣтъ, постой, Маркъ Емельянычъ, — у меня вѣдълика есть.

— Какая улика? спрашиваетъ Маркъ Емельяновъ.

— А вотъ какая: прикажите, ваше благородіе, понятымъ въ избу войти.

Я велѣлъ, Кузька и говорить имъ:

— Вотъ смотрите, православные, подѣ этой подѣ самой лавкой я гвоздемъ нацарапалъ такія слова, что съ перваго по 22 октября съ Маркомъ Емельяновымъ вотъ въ этой самой избѣ я триста талеровъ начеканилъ.

Посмотрѣли подѣ лавку, — въ самомъ дѣлѣ тѣ слова нацарапаны.

Вязать было Марка — въ острогъ сряжать, да сладились. Отъ него къ другимъ богатымъ мужикамъ поѣхали.... И всѣхъ объѣхали. А какъ объѣхали всѣхъ, велѣлъ я Кузькѣ бѣжать, кандалы подпиливши, самъ и пилочку далъ ему. Дѣло заглохло.

А Кузька, извольте видѣть, когда по деревнямъ шатался, надписи такія у богатыхъ мужиковъ царапалъ. Попросятся ночевать Христа ради, ляжетъ на полу, да ночью, какъ всѣ заснутъ, и ну подѣ лавкой исторіи прописывать.

Послѣ того Кузька попомъ оказался и до сихъ, слышь, поръ понѣтъ. Есть на рубежѣ двухъ губерній, Хохломской да Троеславской, деревня Худякова; половина — въ одной

губерніи, другая — въ другой. Въ той деревнѣ мужичекъ проживаль, Левкой звали—шеляма, я вамъ доложу, перваго сорта, а промышляль онъ попами. Содержать бѣглыхъ поповъ на губернскомъ рубежѣ было ловко: изъ Троеславской губерніи нагрянуть — въ Хохломскую попу, изъ Хохломской — въ Троеславскую его. Левку всѣ раскольники знали, отъ него попами заимствовались. Съ этимъ самымъ Левкой и сведи дружбу Кузька Макуринъ, — днюетъ и ночуетъ у него, такіе стали друзья, что водой не разольешь. Рыбакъ рыбака далеко въ плесѣ видитъ, а воръ къ вору и не хотя лънетъ.

Лежитъ разъ Кузька у Левки въ задней избѣ на полатахъ, а попъ, подъ вечеръ взявъхавши къ Левкѣ да отдохнувши послѣ дороги, сидитъ за столомъ. Избу заперъ, зачалъ деньги считать, что за требы набралъ по околности. Смотритъ Кузька съ полатей, а самъ тоже считаетъ: считаль, считаль и счетъ потерялъ. Слѣзъ тихохонько съ печи, отомкнулъ дверь, вышелъ—попъ не видитъ, не слышитъ... Кузька въ переднюю.

Будитъ Левку: «вставай, говоритъ, дѣло есть». — Левка всталъ, Кузька ему говоритъ: «попъ деньги считаетъ, я подсмотрѣлъ. Такая, братецъ, сумма, что за нее не грѣхъ и въ тюрьмѣ посидѣть. Съ такими деньгами, Левушка, вѣкъ свой можно счастливу быть, на Низъ можно сплавиться, въ купцы тамъ приписаться».

Соблазнилъ.

— А видываль ли когда тебя отецъ-отъ Пахомій? спрашиваетъ Левка.

— Отродясь, говоритъ Кузька,— не видываль.

— Дѣлай же вотъ какъ, да вотъ какъ.

Пошли пріятели въ заднюю, гдѣ попъ-отъ свои дѣла правиль... А хоть дверь и отперта была, все-таки, чтобъ

Пахомію не подать сомнѣнья, Левка постучался, входную молитву творя.

— Аминь, отвѣтилъ попъ изъ избы.—Кто тамъ?

— Я, батюшка, отецъ Пахомій, хозяинъ.

— Сейчасъ, свѣтъ, отопру... Эко диво како! Дверь-то была отомкнута!... Забылъ, видно, запереть, вотъ вѣдь память-то какая у меня стала.

Вошли Левка съ Кузькой. А деньги у попа ужъ припрятаны. Началь положили у Пахомія, простились и благословились.

— Вотъ, батюшка, отче Пахоміе, говоритъ Левка— нашъ христіанинъ, именемъ Косьма, «исправится желаніе имѣть, давно мнѣ кучился свести его ко іерею древляго благочестія.

Кузька въ ноги попу.—Прими, говоритъ,— отче святой, на духъ.

— Богъ благословитъ, чадо, отвѣтилъ Пахомій, — время теперь тихое, исправлю, пожалуй.

Левка вышелъ, Пахомій епитрахиль надѣлъ, Требникъ на налой положилъ.—«Клади началъ», говоритъ.

Положили началъ. Легъ Кузька ничкомъ, Пахомій ему голову епитрахилью покрылъ и началъ «исправу»:

— Рцы ми, чадо Косьмо...

А Кузька поднялъ голову, говоритъ ему:

— Отче святой, совѣсть-то моя очень сумленна, — рцы ми прежде: по отлученіи отъ великороссійскія церкви принялъ ли ты «исправу втораго чина» съ проклятіемъ ересей?

— Нѣтъ, чадо, говоритъ Пахомій: — «исправъ втораго чина» и проклятію ересей азъ грѣшный по правиламъ не подлежу, того ради, чти и крещеніе имѣю старое, и рукоположеніе старое.

— А гдѣ жъ ты старое-то рукоположеніе сыскалъ?

спросилъ Кузька, ставъ на ноги передъ Пахоміемъ. — Кто тебя въ попы-то ставилъ?

— Да не смущается сердце твое, чадо Косьмо, вѣдай, яко имама нынѣ архіереевъ древляго благочестія. Начало же сему произволенію бысть сицевое.

— Ну, послушаемъ, пожалуй, какое тутъ у васъ было произволеніе, молвилъ Кузька, садясь на лавку. — Садись и ты, отецъ Пахомій, рассказывай, какое было произволеніе.

— Есть, мой свѣтъ, киновія Бѣлобриницкая. Исперва обитаема была едиными токмо мнихами, священныхъ же особъ въ себѣ не имѣла, нынѣ же Божіею къ намъ милостію получила архипастыря. Все несумнящеся о семъ христіане, елико обрѣтается ихъ въ поднебесной, въ томъ увѣрены. Та киновія, влекуще сѣмя свое отъ древнихъ оныхъ Кубанцевъ, рекше Некрасовцевъ, зашедшихъ туда съ большимъ количествомъ народа, съ женами и дѣтьми. И тако сіи вышереченные Кубанцы, рекше Некрасовцы, поселишася въ Туречинѣ, по рѣкѣ Дунаю, и во упражненіи своемъ занятіемъ рыболовства...

— Да ты балясы-то не точи, говори настоящее дѣло. Какое произволеніе-то было?... Кто тебя въ попы-то ставилъ?

— Внимай, чадо Косьмо, дивному промышленію и не борзися... Симъ бо случаемъ дивная вещь содѣяся и памяти достойна.

— А ты лишняго-то не мели, сказывай, кто таковъ?

— Азъ многогрѣшный прежде былъ господскимъ крестьяниномъ и не малое время находился приставникомъ при псовой охотѣ. Обаче распалихся желаніемъ іерейства, оставя господина, приидохъ къ епископу нашему Софронію и молихъ его, да поставитъ мя во іерея. Онъ

же по многомъ испытаніи рукоположи мя у единого мужа благочестива, на пчельникѣ, и даде ми одиконъ, рекше путевой престолъ, и церковь полотняную.

— Такъ ты, по-просту сказать, бѣглый псарь?

— Не глумися, чадо Косьмо, рцы же ми своя согрѣшенія....

— А вѣдь ты мошенникъ, отецъ Пахомій! Изъ псарей въ попы на пчельникѣ поставленъ!... Ай да святитель!... Знаю Софрона-то я. Вѣдь это Степка Жировъ, что въ Москвѣ постоянный дворъ въ Вороньемъ переулкѣ держалъ, что попа Егора утопилъ?.. Знаю, все знаю, и другаго вашего пастыря знаю, Антонія, что прежде Шутовымъ прозывался. Такъ ты изъ этакихъ!.. А сколько ты, собашникъ, христіанскихъ-то душъ погубилъ, ихъ исправляючи? Да знаешь ли ты, что твое мѣсто въ Сибири?

Хватъ его за честную брану, и «караулъ» закричалъ. Левка съ веревкой вбѣжалъ, скрутили попа, вытащили его на улицу, сбѣжался народъ: кто за попа, а кто кричить: «вези его въ городъ!»... Кутятъ ему Кузька въ полы-то положилъ: «вотъ, говоритъ, твои прихожане!» Поглумились этакъ надъ Пахомиемъ и пустили его на четыре стороны, а деньги и весь скарбъ у Левки остались.

На другой день приходитъ уставщикъ отъ Пахомія. — «Деньги-то, говоритъ, возьмите, подавитесь ими, оканные, ящикъ-отъ только отдайте... Безъ него отцу Пахомию никакъ невозможно.»

— Эка что вздумалъ!.. молвилъ Кузька Макуринъ. — Да я такого ящика пятый годъ добиваюсь. Пойду на Урень, — сторона глухая, народъ слѣпой, — стану попить не хуже твоего псара. Такъ ему и скажи.

Заплакалъ инда уставщикъ: за ящикъ-отъ Софронію

никакъ тысяча была заплачена, а теперь все пропало ни за денежку.

Вскрыли ящикъ: тамъ и одиконъ, и полотняная церковь, и прочее, что нужно, и ставлена грамота.

— Эка умница этотъ Жировъ! молвилъ Кузька, не пишетъ примѣтъ въ ставленной-то... Хоть я Пахомію во внуки гожусь, а съ этой ставленной могу и Пахоміемъ быть. Прощай, Левушка — деньги всѣ себѣ бери, съ меня и ящика довольно. Вотъ какимъ попомъ буду, самъ во мнѣ на исправу придешь... Приходи, Левушка: всѣ грѣхи отпущу и грошъ не возьму.

Такъ и подѣлились. Левка съ деньгами на Низъ уѣхалъ — и тамъ расторговался. А Кузька за Пахомія и до сихъ поръ попить...

Такъ вотъ съ какими я людьми хороводился! Вотъ какія дѣла дѣлывалъ! Да мало ль чего не бывало... Всего не перескажешь.

Ничего въ свое время не огласилось, предъ судомъ человѣческимъ ничего не явилось. Но все было ясно предъ неумытнымъ Судією... И послалъ Онъ мнѣ наказанье достойно и праведно.

Петербургъ.
1857.

ГРИША.



ГРИША.

(Изъ раскольничьяго быта).

Давно то было. — Лѣтъ пятьдесятъ и побольше того въ уѣздномъ городѣ Колгуевѣ жило богатое семейство Гусятниковыхъ.

Въ дальнемъ углу городка, на самомъ на вспольѣ, строенья Гусятниковыхъ цѣлый кварталъ занимали: тутъ были и кожевня, и салотопня, и свѣчной заводъ, и клееварня. До сихъ поръ стоятъ развалины большого каменнаго ихъ дома; отъ другихъ строеній слѣда не осталось — все вычистило въ большой пожаръ, когда въ два часа погорѣло полгорода.

И теперь есть въ Колгуевѣ Гусятниковы, но люди захудалые, обнищалые! Изъ купцовъ давно въ мѣщане переписались: старики только-что не съ сумой ходятъ, молодые — въ солдатство по найму ушли. Сгибъ, пропалъ богатый домъ, а лѣтъ пятьдесятъ тому назадъ былъ онъ славенъ въ Казани и въ Астрахани, въ Москвѣ и въ Сибири... Какіе были богачи!... Сколько добра было въ домѣ, какую торговлю вели!... Все прахомъ да тлѣномъ пошло!

Держался домъ Гусятниковыхъ матерью теперешнихъ обнищалыхъ стариковъ. Покамѣстъ жива была Евпраксія

Михайловна, жили въ богатствѣ и почетѣ; не стало ея — все на иную стать пошло, — унесла она съ собой и прежнюю честь, и прежнее довольство, и прежнее житье-бытье Гусятниковыхъ. Какъ схоронили ее, такъ и зачали сыновья путаться; путались они, путались да лѣтъ черезъ десятокъ и спать не ужинавши стали ложиться. А не были ни воры, ни бражники: люди тихіе, обходительные, и не дураки... И никакого послѣ материной смерти Божьяго насланія не было — ни пожара, ни потопа, ни суда, ни инаго какого разоренія. И въ казенные подряды не вступали, и откуповъ не держали. — Такова ужъ судьба.

Правда, передъ смертю Евпраксіи Михайловны было горе у нихъ. Но, кажись бы, отъ того горя нельзя было въ конѣ разориться. Судьба, одно слово — судьба!...

Отецъ Гусятниковыхъ, — мужъ Евпраксіи Михайловны, торговалъ бойко, но дѣла не совсѣмъ въ порядкѣ держалъ. Когда померъ, а померъ-то онъ въ одночасье, на чужой сторонѣ — въ Саратовѣ никакъ — чуть-было не пришлось дѣла закрывать. Евпраксія Михайловна молодой вдовой осталась, на рукахъ семья: пять сыновей, двѣ дочери — малъ-мала меньше. Седьмымъ ребенкомъ на сносяхъ ходила, какъ пали къ ней вѣсти, что сожителъ побывшился. «Порѣшились Гусятниковы», заговорили по купечеству. — Родила Евпраксія Михайловна, справилась, сорочины по мужѣ справила и сама за дѣло взялась. — «Куда молодой бабенкѣ съ такими дѣлами возиться, заговорили купцы: отъ такихъ дѣлъ и у стараго купца затрепичитъ голова! Куда ей?»

Въ немощахъ человѣческихъ Господь силу являетъ: молодая вдова въ три, четыре года дѣла на лучшую ногу поставила, кожевенный заводъ, при мужѣ чуть не заброшенный, такъ подняла, что сдѣлался онъ первымъ по губерніи, и на Макарьевской ярмаркѣ гусятниковская

юфть стала всѣмъ знаема. Сыновей Евпраксія Михайловна вырастила, выучила, переженила, дочерей за хорошихъ людей замужъ повыдала: одну въ Казань, другую въ Муромъ, третью чуть ли не въ Арзамасъ. Сыновья не дѣлились; всѣ при матери жили даже и тогда, какъ своихъ дѣтей переженили. Одно слово — такъ хорошо да ладно устроила все Евпраксія Михайловна, что и мужчинѣ не всякому такъ удастся. И наградила ее Господь многолѣтнемъ: видѣла Евпраксія Михайловна внуковъ женатыхъ, нянчила, холила правнуковъ, ото всѣхъ людей почтена была за жизнь строгую, подвижную. Правдой жила: много потаеннаго добра творила она, много раздала тайной милостыни, и на смертномъ одрѣ поднесла Господу три дара: первый даръ — ночное моленье, другой даръ — постъ-воздержанье, третій даръ — любовь - добродѣтель.

Страннолюбіе поревновала Евпраксія Михайловна. Кто ни приди къ ея дому, кто ни помяни у воротъ имя Христово — всякому хлѣбъ-соль и теплый уголь. Съ краю обширной усадьбы, недалеко отъ маленькой рѣчки, на самомъ на вспольѣ, сердобольная вдовица ставила особую келью ради пристанища людей странныхъ, ради трудниковъ Христовыхъ, ради переходящихъ богомольцевъ. Много тутъ странниковъ привитало, много бѣднаго народа упокоено было, много къ Господу теплыхъ молитвъ пролито было за честную вдовицу Евпраксию.

Женскаго пола странніе люди у Евпраксіи Михайловны въ самомъ дому привитали; сама она съ дочками, покамѣстъ замужъ ихъ не повыдала, да со снохами за странницами, ради Бога, ходила... Мужской полъ по старому уставу долженъ жить особо, послужить старцу долженъ мужчина, — того ради ставила Евпраксія Ми-

хайловна на усадьбѣ особую келью, а потомъ искала человека, смотрѣлъ бы онъ за келейкой денно-нощно, былъ бы при ней неотходно, приносилъ бы старцамъ и переходимъ богомольцамъ горячую пищу; служилъ бы не изъ платы, а по доброму хотѣнью, плоть да волю свою умерщвлялъ бы, творилъ бы дѣло свое ради Бога. Въ страхъ Господнемъ вспоенные, вскормленные сыновья сами на то дѣло позывались, но Евпраксія Михайловна имъ на то говорила:

— Полноте-ка вамъ, дѣтки! Развѣ вамъ того неизвѣстно, что каждому человѣку отъ Бога своя дорога, каждому человѣку отъ Господа забота? Вамъ дана забота — вести торгъ честный, на келейное дѣло вы, мои ребятки, не сгодились. Семь-ка присмотримъ сироту такого, былъ бы смиренный да богобоязный, Бога ради работающій, Бога ради терпѣливый. По силѣ помощь ему подадимъ: барскій, такъ выкупимъ; вольный, рекрутску квитанцію выправимъ — станетъ онъ у насъ старцевъ покоить да Бога молить объ отпущеніи нашихъ согрѣшеній... Ладно, что ли, ребятки?

Сыновья матери ни въ чемъ не перечили, а по такому дѣлу и подавно. Рѣшили искать сироту. По скорости отыскали такого....

Послѣ волгуевского мѣщанина Аверьяна Самохинскаго, горькаго пропойцы, что возлѣ кабака и жизнь скончалъ, оставался сынъ Григорій. Не было у него ни роду, ни племени; какъ есть — круглый сирота. Было ужъ ему лѣтъ тринадцать, а мальчишка все межъ дворовъ мотался: гдѣ съѣсть, гдѣ изопьеть, гдѣ въ банькѣ попарится, а все именовъ Христовымъ. Только и праздникъ, бывало. Гришутѣ, какъ иная бабенка, сжалившись надъ нимъ горемычнымъ, обносокъ подастъ ему. И пойдетъ сиротѣ тотъ обносокъ за нову рубаху. Паренекъ былъ смиренный.

тихий, послушный: --- нужда да сиротство чему не научать? И открылъ ему Господь разумъ: выучился Гришутка грамотѣ самоучкой, ходя по домамъ безграмотныхъ мѣщанъ, читалъ имъ Псалтирь да Чети-Минею. И возлюбилъ Гриша божественныя книги, и ужъ такъ хорошо пѣлъ онъ духовныя пѣсни, что всякій человѣкъ, что въ суетѣ вѣкъ свой проводить, заслушается, бывало, его поневолѣ. А былъ онъ изъ раскольниковъ, изъ «записныхъ» — изъ самыхъ, значить, коренныхъ — дѣды, прадѣды его двойной окладъ платили, указанное платье съ желтымъ возыремъ носили, браду свою пошлиной откупали. Это было съ руки Евпраксіи Михайловнѣ: и сама она съ дѣтками «по древлему благочестію» пребывала. Только были они не злой какой секты, а по бѣглому священству — по Рогожскому, значить, кладбищу.

И взяла къ себѣ въ домъ Евпраксія Михайловна бездомнаго сироту Гришу. Обмыли его, одѣли, рекрутскую квитанцію купили и, по доброй его волѣ, по его благому хотѣнью, приставили къ богадельной кельѣ. Тамъ, за кафельной печкой-голанкой, устроили ему особую каморку. Въ той каморкѣ, объ одномъ маломъ оконцѣ, сталъ жить и подвизаться молодой белейникъ, а въ свободное время, когда въ келейкѣ ни скитскихъ старцевъ, ни переходящихъ богомольцевъ не бывало, читалъ книги о житіи пустынномъ, о подвижникахъ Христовыхъ, что въ Палестинѣ, и во Египтѣ, и въ Оиваидскихъ пустыняхъ труднымъ подвигомъ, ради Господа, подвизались.

Живетъ Гриша у Евпраксіи Михайловны годъ, живетъ другой, живетъ третій, старцамъ и страннимъ людямъ служить, божественныя книги читаетъ.

Отверстою душою, умомъ нераздвоеннымъ внимаетъ онъ древнимъ сказаньямъ о подвигахъ отцовъ преподобныхъ. Съ жаромъ, съ любовью читаетъ «Повѣсть объ

индѣйскомъ царевичѣ Асафѣ». Вотъ думаетъ, бывало, Гришутка: «вотъ—и царевичъ былъ, и царствомъ владалъ, жилъ въ бѣлокаменныхъ палатахъ, было у него золотой казны неѣмѣтно, всякихъ сокровищъ земныхъ неисчетно.... Промѣнялъ же царскія брашна на гнилую володу, сладкіе меда на болотну водицу».... И западала въ юную голову Гриши крѣпкая дума — какъ бы ему въ дебряхъ пустынныхъ постомъ и молитвой спасти свою душу... Разросталась, расширялась у него та дума, и, глядя на синеву дремучаго лѣса, что за рѣчкой виднѣлся на краю небосклона, только о томъ и мыслилъ Гриша, какъ бы въ томъ лѣсу келейку поставить, какъ бы тамъ въ безмятежной пустынѣ молиться, какъ бы дивнымъ оwoщемъ питаться, честнымъ житіемъ вѣкъ свой подвизаться, столпъ ради подвига себѣ поставить и стоять на томъ столпѣ тридцать лѣтъ несходно, не лежаъ и колѣнъ не преклоняя, отъ персей рукъ не откладая, очей съ неба не спуская...

Стоить, бывало, стоитъ юный келейникъ, вперя въ даль свои очи, стоитъ, ничего не слышитъ, по душѣ у него сладость разольется, и самъ не знаетъ отчего, онъ заплачетъ; заструятся по впалымъ, блѣднымъ ланитамъ горючія слезы, и запоетъ онъ тихонько стихъ въ похвалу пустынѣ:

О, прекрасная мати-пустыня!
Самъ Господь тебя, пустыню, похваляетъ:
Отцы во пустыняхъ скитались,
И ангелы имъ помогали...
Прекрасная ты пустыня,
Прекрасная ты рання,
Любимая моя мати!
Прими ты меня, мати-пустыня,
Отъ юности моея прелестной!
Научи меня, мати-пустыня,
Жить и творить Божье дѣло!

И долго, долго, бывало, тихимъ, тоскливымъ напѣвомъ поетъ Гриша свою пѣсню, глядя на синеву лѣсную. Спустится на землю вечерняя тѣнь, черной полосой вытянется лѣсъ по закраю неба, а онъ все поетъ да поетъ любимую пѣсню... Яркія звѣзды одна за другой загораются въ небѣ, полный мѣсяцъ выкатится изъ-за лѣса! серебрянымъ лучомъ обольетъ онъ широкіе луга и сонную рѣчку, бѣлоснѣжные песчаные берега и темныя, нависшія въ воду ракиты, а Гриша, ни голода, ни ночнаго холода не чуя, стоитъ босой на покрытой росой луговинѣ и поетъ-распѣваетъ про прекрасную мать-пустыню...

Подвизался Гриша житіемъ строгимъ; въ великіе только праздники вкушалъ горячую пищу, oprичъ хлѣба да воды ничего въ ротъ онъ не бралъ, Строгій былъ молчальникъ, празднаго слова не молвилъ, только, бывало, его и слышно, когда распѣваетъ свои духовныя псалмы... И что ни дѣлаетъ, гдѣ ни ходитъ, все молитву Господню онъ шепчетъ.

На усадьбѣ Евпраксіи Михайловны много жило народу: тутъ стояли заводы кожевенный, салотопный, свѣчной, клееварный, тутъ же кошму изъ шерсти валяли, овчины выдѣлывали, — однихъ работниковъ что тутъ жило! А кромѣ того по торговой части прикащики да артельщики и другіе наемные люди — и всѣ-то жили въ особыхъ избахъ, каждый со своимъ семействомъ. Такъ устроила своихъ домохадцевъ добрая, заботливая обо всемъ Евпраксія Михайловна. По задворью, по огороду, по всему широкому усаду день-деньской народъ такъ и суетъ, такъ и кипитъ, такъ и носится роемъ. Съ ранняго утра до поздней ночи стономъ стоятъ голоса... На такомъ-то великомъ многолюдствѣ, на такой-то суетѣ шумной слова ни съ кѣмъ не молвилъ Гриша келейникъ... Ходитъ, опустя очи долу, ничего не видя, ничего не слы-

ша, и беззлобно, безотвѣтно переносить злыя насмѣшки рабочихъ, щипки да рывки мальчишекъ. Но глумленья, укоризны и всякой досады отъ нихъ Гриша келейникъ не боялся, всѣ озлобленья суетныхъ людей принималъ съ весельемъ, почитая ихъ за благодѣянья... Зато пуще огня, пуще поlying боялся онъ женскаго пола. Наслушался отъ переходящихъ старцевъ, и самъ въ книгахъ начитался, что женская лѣпота горше всякаго другаго соблазна, что самыхъ строгихъ подвижниковъ врагъ человѣческаго рода, діаволъ, всегда ищетъ кого поглотить, уловляетъ въ геенскія сѣти женской, грѣховной красотой...

А молодыя дѣвчата — десятковъ до трехъ ихъ жило на усадѣ — изловятъ, бывало, Гришу на огородѣ либо на вспольѣ, хватятъ его за руки, да и ну — вокругъ себя вертѣтъ, тормошитъ, обнимать бѣлыми, какъ молоко, полными, упругими руками... А сами звонкими, смѣющимися голосами страстно, любовно ему напѣваютъ:

Монашекъ, монашекъ,
Купи намъ калачикъ,
Мы тебя, монашекъ, поцѣлуемъ,
Подъ ракитовымъ кусточкомъ побалуемъ...
Монашекъ, монашекъ,
Купи намъ калачикъ.

Молитву за молитвой творить бѣдный Гришутка, крѣпко зашуривъ глаза, чтобъ не встрѣтиться взоромъ съ свѣтлыми, пуще огня, палящими дѣвичьими очами... Дня по два, по три послѣ того искушенья бывалъ онъ самъ не въ себѣ... И накладывалъ онъ постъ втрое строже, насыпалъ въ каморкѣ кремней и битыхъ стеколъ, ходилъ по нимъ босыми ногами, клалъ тысячи по три поклоновъ, налагалъ на плечи желѣзны вериги, и

прилежно читалъ книгу Аввы Дорофея. Хочется заглушить въ душевномъ тайникѣ память о жгучемъ, томительномъ, захватывающемъ дыханье чувствъ, что сладко-огненной струей пробѣгало по всѣмъ его суставамъ и, ровно пламенной иглой, насквозь кололо его бѣдное сердце, когда бѣлолицыя, полногрудыя озорницы, изловивъ его, сжимали въ своихъ жаркихъ объятыхъ, обдавали постное лицо горячимъ, сладострастнымъ дыханьемъ.... Стоитъ Гриша на кремняхъ, на битыхъ стеклахъ, передъ книгой Аввы Дорофея, громкимъ голосомъ истоиво и мѣрно ее читаетъ, а все слышится ему звонкій хохотъ Дуняши, самой озорной изо всѣхъ усадскихъ дѣвокъ... Завсегда, бывало, эта Дуняша первая подѣлываетъ на келейника дѣвокъ, первая подманитъ подругъ на всполье, первая затащитъ Гришу въ кругъ дѣвичій, первая заведетъ игры, первая успѣетъ обвить шею постника жаркими руками, и съ громкимъ, далеко разносящимся въ вечерней тиши смѣхомъ успѣетъ прижать отуманенную голову его ко груди своей лебединой....

Стоитъ Гриша, борзо, истоиво лѣстовку перебирая, безсчетно вкладетъ земные поклоны, а потомъ читаетъ «Скитское Покаянье»: «Согрѣшилъ есмь душею, и умомъ, и тѣломъ, сномъ и лѣнностью, во омраченіяхъ бѣсовскихъ, въ мыслѣхъ нечистыхъ». Такъ шепчетъ Гриша, глядя въ «Скитское Покаянье», по слова звучатъ безъ участія ума — помыслы мятежнаго, полного прелестей міра возстаютъ передъ нимъ въ обольстительныхъ образахъ, и таинственный голосъ несется изъ глубины замирающаго сердца... Сладко, соблазнительно онъ говоритъ ему: «Помнишь Дуню молодую?... Помнишь, какъ глаза у ней горѣли?... Помнишь, какъ грудь колыхалась?..»

Вздрогнетъ всѣмъ тѣломъ Гришутка, вырвется отчаян-

ный вопль изъ души его. Самъ себя пугается, торопливо ограждаетъ себя крестнымъ знаменемъ и, судорожно схвативъ съ налож «Скитское Покаяніе», громко барабанить, не спуская глазъ съ книги.

«Грядеть міра помышленіе грѣховно, борють мя страсти и помыслы мятежны.— Помилуй, Господи, раба окаяннаго, севернаго, безумнаго, неистоваго, злопытливаго, неключимаго, унылаго, вредоумнаго, развращеннаго...»

А голосъ свое:

«Вспомни, какъ горѣли очи ясныя, какъ рдѣлись багрецомъ щеки-маковъ цвѣтъ... Вспомни, какъ, дрожа всѣмъ тѣломъ, изнывая въ сердечной истомѣ, она обняла тебя... какъ прильнула къ тебѣ алыми устами, какъ прижала тебя къ бѣлоснѣжной груди...»

«Изми мя отъ врагъ моихъ,» громко читаетъ по книгѣ келейникъ: «и отъ востающихъ на мя; изми мя отъ руку діаволу; отжени отъ мене помраченіе помысловъ, духъ нечистъ и лукавнующій; избави мя отъ сѣти ловчи, не вниди въ судъ съ рабомъ своимъ...»

А голосъ сердечный:

«Брось молитву!.. Вонъ изъ кельи!.. Къ ней поди!.. Посмотри, какъ въ свѣтелѣ она спитъ одна у окна... Высоко поднимается грудь, и раскрыты уста, и дыханье ея горячо...»

«О, Господи!.. падаю...» шепчетъ келейникъ: «спаси...»

А голосъ:

«Какъ бы сладко прильнуть къ красотѣ молодой!»

Послѣднія силы собралъ Гришутка, прогнать бы только лукаваго бѣса... И врѣпко ухватилъ онъ лѣстовку, хочеть молитву читать на прогнанье бѣсовскихъ мечтаній... Но сухія, дрожащія уста нѣхотя вторять тай-

ному, сердечному голосу: «Какъ бы сладко припасть къ ея персамъ щекой огневой...»

А гдѣ она огневая?.. Всю въ постѣ изсушилъ...

Вдругъ стукнуло оконце... растворилось. Въ бѣлыхъ рукавахъ, въ бѣломъ передникѣ, въ блѣднорозовомъ сарафанѣ, съ распущенными длинными темнорусыми волосами, въ вѣнкѣ изъ свѣжихъ васильковъ, вся облитая сіяньемъ мѣсяца, лукаво улыбаясь и прищуря искрометные глазки, глядитъ на постника бѣлотѣлая, полногрудая красавица Дуня. Страстью горячеей, ничѣмъ несдержимой, страстью любви пышетъ она...

— Здравствуй, Гриша голубчикъ!... Здравствуй, дорогой мой, желанный!...—яснымъ голоскомъ крикнула и, заливаясь рѣзвымъ хохотомъ, кошечкой прыснула къ подругамъ на вполѣе. И въ тиши ночной раздается надъ рѣчкой дѣвичья пѣсня:

Мы поѣдемъ, дѣвки, лень, лень, лень,
Мы поѣдемъ молодой, молодой...

Стоитъ Гриша босой на кремняхъ, на стеклахъ, какъ вкопанный,—лѣстовка изъ рукъ выпала, «Скитское Покаянье» на полу валяется, давятъ плечи тяжелыя вериги. Тихо шепчетъ келейникъ: «Ахъ, ты Дуня, моя Дуня!..»

А съ поля несутся веселые звуки ночнаго хоровода:

Какъ во городѣ было во Казани
Сдуниннай-най-най — во Казани.
Молодой чернецъ постригался,
Сдуниннай-най-най — постригался.

А свѣжій воздухъ майской ночи теплымъ, душистымъ потокомъ такъ и льется черезъ отворенное Дуней оконце въ душную келью стоящаго на кремняхъ и стеклахъ

постника. Тихо рыдаетъ отшельникъ, по распаленному лицу его обильно струятся слезы, но онъ не такъ ему сладки, какъ тѣ, что лились прежде, когда, глядя на зеленый лѣсъ, въ самозабвеніи, пѣвалъ онъ пѣсню въ похвалу пустыни.

Идутъ день за день, годъ за годомъ — Гриша все живетъ у Евпраксіи Михайловны. Темнѣютъ бревенчатая стѣны и тесовая крыша богадельной кельи, — поднимаются, разрастаются вокругъ нея кудрявыя липы, рукой отрока-келейника посаженные, а онъ все живетъ у Евпраксіи Михайловны. И самъ сталъ не таковъ, какимъ пришелъ — и ростомъ выше, и на видъ возмужалъ, и русая борода обросла блѣдное, исхудалое лицо его.

Много всякаго народа перебивало на глазахъ Гриши: раскольники ближніе и дальніе, каждый трудникъ, каждый переходной богомолецъ, идутъ, бывало, въ Евпраксію Михайловну о всяку пору, ровно подъ родную кровлю. Кто ни брякнетъ желѣзнымъ кольцомъ о дубовую калитку страннолюбивой вдовицы, кто ни возвѣститъ о себѣ именемъ Христовымъ, всякому готовъ теплый уголъ, будь раскольникъ, будь единовѣрецъ, будь церковникъ — все равно, отказу никому не бывало. «Всѣ люди — Христовы человѣки», говорила Евпраксія Михайловна, когда свитскія матушки, иль читавшія негасимую «каноницы» зачнутъ, бывало, начѣлать ее: сообщаемся-де со еретики, даешь всякому пристанище — и покрещиванцу, и никоніанину, и Богъ вѣсть какимъ инымъ сектамъ.

Много разнаго народа видалъ Гриша; но еще не случилось видѣть такихъ подвижниковъ, про какихъ писано въ Патерикахъ и Прологахъ. «Неужли», думаетъ онъ

бывало: «неужли всѣхъ человѣковъ грѣховная, мірская суета обуяла?.. Неужели всѣ люди работаютъ плоти? Чтѣ за трудники, чтѣ за подвижники?.. Я и младѣ человѣкъ и страстями боримъ, а правила постничества и молитвы тверже ихъ сохраняю.»

Поднимала въ тайникѣ его души змѣину свою голову гордость треклятая. И не мало старался онъ разогнать лукавыя мысли, яко врагомъ внушенныя, яко помыслъ гордыни, отъ нея же—читывалъ онъ—и великіе подвижники съ высоты ангелоподобнаго житія падали... Тщетны труды, напрасны усилія—самообольщеніе и гордость смиреніемъ, гордость многотруднымъ своимъ подвигомъ, неслышно и незримо подтачивали душу его... «И въ самомъ дѣлѣ, думывалъ онъ: чтѣ за постники, чтѣ въ богоданной моей велейѣ привитаютъ? Днемъ, на людяхъ, только у нихъ и слова, какъ Христову рабу довлѣетъ жить на вольномъ свѣтѣ: сладко не ѣсть, пьяно не пить, тѣлеса свои грѣшныя не вынѣживать, не спѣсивому быть, не горделивому, не вопить сокровищъ и тлѣнныхъ богатствъ земныхъ, до сирыхъ, убогихъ быть податливу,—а ночью, какъ люди поулягутся, и уйду я въ каморку—честные старцы по вечерней трапѣзѣ не на правило ночное становятся, а дѣломъ не волоча, къ пуховику на боковую. Иной, бывало, всю ноченьку насквозь деньги просчитаетъ, чтѣ собралъ у христіанцевъ и дателей добрыхотныхъ: другой съ полштофчикомъ до свѣту пробесѣдуютъ; а двое сойдутся—того и жди, что вмѣсто душеспасительныхъ словесъ, про бабъ да про дѣвокъ рѣчь поведутъ... Чтѣ жъ это за трудники, чтѣ за подвижники?..»

Сидитъ, бывало, Гриша, пришибившись въ каморѣ, сидитъ, а самъ въ щелочку смотреть, съ трудниковъ глазъ не спускаетъ, глядитъ, сколь добрымъ подвигомъ

иной старецъ въ тиши ночной подвизается. Но глубоко проникнутый духомъ суевѣрія, не вѣритъ Гриша тѣлеснымъ очамъ, силится прозрѣть очами духовными, гонить отъ мятущагося ума мысль о непотребствѣ старца, и на то свой помыслъ простираетъ: «врагъ-де это, лукавый духъ, бѣсовское мечтаніе грѣшнымъ очамъ моимъ представляетъ»... И начнетъ творить молитву отъ діавольскаго навожденія, а самъ все смотритъ, какъ старецъ съ водочкой бесѣду ведетъ либо деньги считаетъ.

Насилая себя, держа умъ въ такомъ напряженіи, и день и ночь воображаетъ себя окруженнымъ темною силой демоновъ, что, являясь въ соблазнительныхъ образахъ, силится уловить его въ сѣти, совратить съ тѣснаго пути, увлечь въ шумный, полный суеты, многопреlestный міръ... Увѣрился Гриша и въ томъ, что по ночамъ не Дуняша въ оконце постукиваетъ, не она съ нимъ на рѣчкѣ заигрываетъ, но нѣкій отъ зѣіопъ, сирѣчь, бѣсъ преисподній, въ дѣвичьемъ образѣ выходитъ изъ геенны смущати его... «Озаянный-отъ, думаетъ, все больше во образѣ жены съ трудницами борется; и въ книгахъ писано, что въ древнія времена въ киновіяхъ и великихъ лаврахъ синайскихъ, въ пустыняхъ египетскихъ и еиваидскихъ преподобнымъ отцамъ бѣси въ женскомъ образѣ все больше являлись... Такой ужъ у нихъ, у проклятыхъ, скверный обычай! А все на пакость человѣку.»

Приходили разъ къ Евпраксіи Михайловнѣ двое старцевъ, оба раскольничьи мнихи. Одинъ сказался изъ Чернолѣсскаго скита, другой—бродячимъ инокомъ.—Такихъ немало по захоlustьямъ. Наскучить жить въ скитѣ, гдѣ надо правиламъ подчиняться, настоятелю повиноваться, иль будучи изгнаны изъ обители за безчинство, непутные старцы пускаются бродить по бѣлу свѣту. У од-

ного добраго человѣка поживуть, у другаго, да этакъ бродя изъ деревни въ деревню, изъ города въ городъ, вѣетъ свой межъ людей и проколотатся. И такіе есть, что не только въ скитахъ не живали, не видывали ихъ. Надѣлъ изволомъ манатейку съ кафтыремъ, и пошелъ странствовать да слыть за инока честнаго.

Скитскій старецъ—звали Мардаріемъ—пріѣхалъ въ Колгуевъ на монастырской подводѣ съ просительнымъ письмомъ къ «благодѣтельницѣ» Евпраксіи Михайловнѣ отъ чернолѣскаго игумена Пафнутія: прислать на монастырскую потребу ржицы да пшеницы, маслица да рыбы, а будетъ милость—и деньжонками не оставить. Былъ тотъ Мардарій старецъ тучный, красная рожа, плѣшь во весь лобъ, рыжая борода, широкая, круглая, чуть не по поясъ. Отдавъ жирную скитскую лошадь на попеченье работникамъ Евпраксіи Михайловны, онъ зашелъ сначала въ батрацкую избу, снялъ мѣховой треухъ съ головы, распоясалъ красный гарусный кушакъ, нагольный тулупъ, и обрядился во весь иноческій чинъ: свиту надѣлъ, камилавку съ кафтыремъ, въ лѣвую руку лѣстовку взялъ и сталъ какъ надо быть иноку. Въ пути такой одежды носить не дерзалъ; въ уѣздѣ—исправникъ да становой, въ городѣ—городничій. Какъ разъ за такую одежду, какъ за виѣшнее оказательство ереси, угодишь за рѣшетку. Войдя къ Евпраксіи Михайловнѣ, Мардарій положилъ уставной, семипоклонный началъ, и поклонясь въ поясъ на всѣ стороны, подошелъ къ хозяйкѣ. Евпраксія Михайловна, какъ ни богата, въ какомъ почетѣ ѿи жила, творить по уставу метанія, къ стопамъ Мардарія припадая, говоритъ ему: прости, честный отче! благослови, честный отче!

— Богъ простить, Богъ благословить, отвѣчаетъ Мар-

дарій, и вручая вдовицѣ просительное письмо игумна — заводитъ рѣчь уставную:

— Христіанскія жизни добродражательнице, ко смиреннымъ, бѣднымъ, убогимъ скорая помощнице, вѣрная хранительница святоотеческаго преданія, добродѣтелями, яко солнце, сіяющая, смиреніемъ, яко бисеромъ многоцѣннымъ, украшенная, честная вдовице, Божія раба Евпраксія! Ко твоей любви убогіе притекаемъ, отъ твоихъ великихъ щедротъ обильныя милости чаемъ. Се же и письмо просительное отца нашего игумна Пафнутія и всей о Христѣ честной братіи. Обнищавъ, госпоже, оскудѣхъ: озлоблени суще въ обители нашей, гладу и хладу и всякой тѣснотѣ и угнетенію, нищетѣ же и нагохожденію прелани баше, къ тебѣ вопіемъ, многомилостивая вдовице, Евпраксія! Отверзи щедрую руку твою, благоволи отъ праведныхъ трудовъ своихъ нѣкое подаваніе нищенствующей братіи учинити, да узриши сыны сыновъ своихъ и да сподобишися велія и богатыя милости отъ самого Царя небеснаго въ сей вѣкъ и въ будущій,

— Садитесь милости просимъ, честный отче, отвѣчаетъ Евпраксія Михайловна:—рада по силѣ-помощи. Чѣмъ васъ потчивать, батюшка? Дѣвнцы, кликните Грину! Здоровъ ли, батюшка, отецъ Пафнутій?

— Здравъ тѣлесне, въ душеспасительныхъ подвигахъ обрѣтается, отвѣчалъ Мардарій, садясь.

Это было въ моленной горницѣ. Вся передняя стѣна уставлена древними, богато-украшенными иконами; подъ ними висятъ дорогія пелены: парчевыя, бархатныя, золотомъ шитыя, жемчугомъ низанныя. Передъ иконами столпныя свѣчи, негасимыя лампы... На скамьяхъ три невѣстки Евпраксіи Михайловны, да съ полдюжины святскихъ матерей и канонницъ, а у притолоки бродячій старецъ—отецъ Варлаамъ—здоровенный, долговязый па-

рень лѣтъ тридцати пяти, изкрасна рыжій, съ прыгающими глазками и рѣдкой бородкой длиннымъ клинышкомъ. Поклонился Мардарій Варлааму, тотъ ему «метанія» сотворилъ и сѣлъ на свое мѣсто.—Оба ни гугу; сами другъ на дружку поглядываютъ.

Закусочку подали. Изобильна была предложенная трапеза на утѣшеніе иноковъ: пера паюсная, стерлядь вислая, вязига въ укусуѣ да тавранчукъ осетрій, грузди да рыжики, пироги да левашники, ерофеичу графинчикъ, винограденькаго невеликая бутылочка.

— Благословите, отцы честные, откушайте, — потчуетъ иноковъ гостепріимная вдовица.

— Можно, порывисто молвилъ Мардарій, и, чинно положивъ три поклона, принялся за вязигу, Варлаамъ рыбнаго употреблять не дерзаетъ. «По обѣту пятый годъ на сухоядѣніи обрѣтаюся,» говоритъ. Опрichъ хлѣба да груздочковъ, ни къ чему не приступилъ.

— Водочки то, отцы честные, водочки-то откушать?

— Не подобаетъ, также порывисто отвѣтилъ Мардарій. А Варлаамъ даже повѣсть отъ Пандока *) рассказалъ, откуда взялось хмѣльное питіе и какъ оно человѣка отъ Бога отводитъ, къ бѣсомъ же на пагубу приводитъ.

Не нарадуется, глядя на воздержныхъ и подвижныхъ гостей, Евпраксія Михайловна. И она, и келейницы, и канонницы прониклись чувствомъ высокаго къ нимъ уваженія. а у Гриши, что, войдя по призыву хозяйки въ горницу, сталъ смиренно у притолки, сердце такъ и распаляется: привель-де наконецъ Господь увидѣтъ старцевъ благочестивыхъ, строгихъ, столь высокихъ подвижниковъ. Духъ у Гриши занимается, творить онъ мыслен-

*) Раскольничье новосоставленное (въ XVIII вѣкѣ) сочиненіе, наполненное вздорами о картофелѣ, табакѣ, чаѣ и пр.

ную молитву, благодаря Бога, что приводится ему послужить столь преподобнымъ старцамъ.

— Побесѣдуйте межъ себя, честные отцы, — низко кланяясь Мардарію и Варлааму, говоритъ Евпраксія Михайловна, когда кончили они трапезу: — просвѣтите насъ, скудоумныхъ, разумной бесѣдой своей.

И велѣла канонницѣ сыновей кликнуть, и они бы насладились отъ духовныя трапѣзы, отъ премудрой бесѣды святоподвижныхъ отцовъ.

Пришли. Усѣлись. Глянули старцы другъ другу въ очи и, нахлобучивъ камилавки, опутивъ главы долу, повели благочестную бесѣду.

— Рцы ми, брате, началъ Мардарій: — кто умре, а не истлѣ?

Мало помедливъ, тихимъ гласомъ, истово, учительно отвѣчаетъ ему Варлаамъ:

— Лотова жена — та умре, но не истлѣ, понеже въ столпъ сланъ претворися — соль же не истлѣваетъ. И до днесъ тотъ сланный столпъ стоитъ во странѣ Палестинской, на святой на рѣцѣ Іорданѣ.

Вздыхаетъ Евпраксія Михайловна, охаютъ и отираютъ слезы келейницы, а Гриша дивится скорому и столь мудрому отвѣту честнаго отца Варлаама.

— Что есть, брате, продолжаетъ Мардарій: — ключъ древянъ, замокъ вѣднъ, заяцъ убѣже, ловецъ утопе?

— Ключъ древянъ — жезлъ Моисеевъ, замокъ вѣднъ — Чермное море, заяцъ убѣже — Моисей со Израильтяны, ловецъ потопе — Фараонъ зломудрый, царь египетскій.

Подумалъ малое время Мардарій, еще вопросъ предложилъ:

— Что есть, брате, стоитъ градъ на пути, а пути къ нему нѣту; идетъ посоль нѣмъ, несетъ грамоту неписанную?

— Градъ на пути—то Ноевъ ковчегъ, понеже плаваше по непроходному пути, сирѣчь по потопнымъ водамъ; посоль нѣмъ—то есть чистая голубица, а грамота неписана—то есть сучецъ масличный, его же принесе въ ковчегъ голубица къ Ною на увѣреніе познанія, что есть суша.

Ной праведный, зря той сучецъ, съ сынами и дщерями, со скотомъ и со птицы и со всякимъ гадомъ, бывшимъ въ ковчегѣ, едиными усты и единымъ сердцемъ прославиша благодѣющаго Бога.

— А осмѣлюсь, отецъ Мардарій, васъ спросить, вмѣшалась хозяйка:—всякіе ли скоты были у Ноя въ ковчегѣ?

— Всякіе, матушка Евпраксія Михайловна, всякія были; одной твари не было ..

— Какой же это, батюшка?

— Рыбы! во все горло закричалъ Варлаамъ и, схвативъ обѣими руками осетрій тавранчугъ, пошелъ уписывать его за обѣ щеки. Всѣ переглянулись. А отецъ Варлаамъ къ ерофеичу десницу простираетъ.

— Прорвало! сквозь зубы прошепталъ Мардарій, и еще ниже опустилъ главу свою.

— Батюшка!.. Отецъ Варлаамъ! съ ужасомъ вскочивъ съ лавки, вскрикнула одна изъ канонницъ:— Не сквернись ради Господа!

— Не замай его, Матренушка, молвила тихонько Евпраксія Михайловна, удерживая за рукавъ канонницу. — Не видишь развѣ? — Христа ради юродствуетъ...

А Гриша ногъ подъ собой не слышитъ. Не понимаетъ, что вокругъ него дѣлается. И бесѣда мудрая, и безобразіе немалое. «Что жъ это такое,—думаетъ онъ,—прямымъ ли дѣломъ отецъ Варлаамъ юродствуетъ, или это врагъ лукавое мечтаніе очамъ моимъ представляетъ?»

Мардарій пришипился.— ни гу-гу, только лѣстовку

перебираетъ. А отецъ Варлаамъ стаканчикъ на лобъ, да еще, да еще. И псалму запѣлъ:

Прошу выслушать мой слогъ,
Что въ печали сложить могъ,
Во темныхъ во гѣсахъ...

— Подтягивай, Мардарій!

— Провидецъ, провидецъ! зашептали матушки-келейницы. — Съ роду не видывалъ отца Мардарія, а узналъ ангельское имя его.

Однакожь Мардарій не подтягиваетъ, опуствя голову смотреть внизъ да половицы считаетъ! А Гриша шепчетъ молитву на отогнаніе бѣсовскихъ мечтаній и думаетъ: «чесо ради бысть знаменіе сіе?» А Варлаамъ-то заливается: —

А вотъ наша вся отрада:
Хлѣбъ, вода—и вся награда—
Живи да не тужи...

— Да подтягивай же, Мардашка!... Хвати стариной!.. А ты, раба Божія Евпраксія, водочки-то подлей!

— Винограденъкаго не соизволите ли, батюшка? отвѣчаетъ Евпраксія Михайловна, наливая въ рюмку сантуринскаго.

— Не подобаетъ!... Настойки давай!... Мать твою какъ звать?

— Евдокіей, отче, Евдокіей.

— Ладно, я ужю по ней канонъ за единоумершаго справлю... Съ поклонами!... А водочки-то подлей. — Ну, пой же, Мардашка; подтягивай и вы, красавицы-дѣвицы, скитскія бѣлицы... Валяй!

Щи да кашу поставляютъ,
За велико почитаютъ—

Изрядной вотъ обѣдъ.
Пирожка кусокъ дадутъ,
То подумаешь и тутъ,
Какъ-то его съѣшь.

— Валяй, матери!... Катай, канонницы!
И пѣвецъ сладкогласный, оглянуться не успѣли, какъ
поѣлъ всѣ пироги и левашники.

Вмѣсто водокъ, сладкихъ винъ —
Поставляютъ квасъ одинъ:
И то за гостя чти.

— Да подлей же настойки-то, Михайловна!

По обѣдѣ всѣ по кельямъ,
И какъ будто отъ бездѣля,
Правило несемъ.
Тогда съ горя и досады
Понскать пойдешь отрады —
Во деревню, за лѣсокъ...

— А на деревнѣ-то пташечки-сударушки! Вотъ та-
кія жь красотки, какъ вы!

И пошелъ канонницъ хватать да щупать.

— Юродствуетъ, шепчутъ онѣ, юродствуетъ!

А Варлаамъ допѣваетъ пѣснь душеспасительную:

Лишь пойдешь за монастырь
Да возьмешь въ руки костыль,
Вслѣдъ уже бѣгутъ.
Какъ злодѣи набѣжали
И какъ вора сохватили,
Тутъ же цѣпью грозятъ.
Вина хотя не видалъ,
А игуменъ закричалъ:
„Протрезвить должно его“.

— А я не капельки ни пьянъ. Дьяволъ пьянъ, а инокъ
никогда не бываетъ пьянъ: это все бѣсъ....

Приведуть въ келью, запрутъ,
Ключъ игумну отдадутъ.
А ты тутъ хоть умри!
Сутки двое такъ томятъ,
Ничего не говорятъ,
Глядятъ, аки звѣрь!

Да какъ пустится въ присядку. И пошелъ иную
псалму припѣвать:

Эй ты, калина-малина!
Валяй старцы на Бисериху!
А дѣвки да молодки
На Купалу на Ивана,
Да на самого болвана,
Эй, на Ярилу-молодца!
Ужь и я ли не Ярила?
Ужь и я ли не Гаврила?
Эхъ вы, голубки,
Глядите-ка старцу сюда!

И цапъ-царапъ молодую хозяйкину невѣстку за рукава бѣломиткалевые.... Запустилъ десницу за воротъ...

— Чтѣй-то за безобразіе?... Господи! — закричала невѣстка, недавно взятая изъ Москвы и еще не знавшая такихъ подвиговъ преподобныхъ отцовъ.

— Юродствуетъ, матушка, юродствуетъ! шепчутъ ей.
— Это онъ плодъ чрева твоего благословляетъ.

Спровалили кой-какъ блаженнаго юроду въ Гришину велью. Не обошлось безъ грѣха: дорогою на усадѣ двухъ работниковъ искровенилъ... Добравшись до мѣста, не разоблачась, повалился на пуховикъ и тотчасъ захрапѣлъ во всю ивановскую.

Не разъ случалось Гришѣ видать безчиніе старцевъ; но такого и онъ еще не видывалъ. Когда, бывало, они ночью, въ келейной тиши, тихомолкомъ безчинствуютъ, всю бѣду на дьявола онъ сваливалъ. «Извѣстно», ду-

масть: «окаянный силёнъ; горами качаетъ. Представить человѣку сонное мечтаніе либо неподобное видѣніе — ему нипочемъ». Но сколь ни вспоминалъ юный келейникъ изъ всего прочтеннаго имъ — въ «Патерикахъ», въ «Прологахъ», въ «Книгѣ о Старчествахъ» и въ разныхъ «Цвѣтникахъ» и «Сборникахъ», — нигдѣ нѣтъ того, чтобы бѣсъ, вселясь въ инока, при двадцати человѣкахъ, такіа дѣла творилъ. — «Развѣ что въ самомъ-дѣлѣ юродствуетъ?» — Объ юродахъ же Гриша читалъ и слышалъ не мало, самому жъ видать ихъ еще не случалось... «Юродъ — отецъ Варлаамъ, думаетъ онъ; иначе какъ же можно, чтобы иноку при мірскомъ народѣ, въ камилавѣхъ, въ кафтырѣ, грибезовскимъ горломъ сваредныя пѣсни пѣть, плясать бѣсовски и непотребства чинить?»

Но когда ночью услышалъ Гриша бесѣду проспавшагося Варлаама со стариннымъ пріятелемъ его Мардаріемъ; когда узналъ онъ, что Варлаамъ за пьянство изъ десяти скитовъ былъ выгнанъ, а за непотребство два раза въ острогѣ да въ рабочемъ домѣ сидѣлъ, а одинъ разъ своя же братья, раскольники, ему за безчинство на дѣвичьихъ посидѣлкахъ бороду спалили, — смекнулъ тогда юный подвижникъ, что варлаамово юродство на иную стать уложено.

«Что жъ это за старцы, что за столпы правой вѣры? размышляетъ Гриша. — Гдѣ жъ тѣ искусные старцы, что меня бы, грѣшнаго, правиламъ пустынной жизни научили? Гдѣ жъ тѣ люди, что правую бы вѣру уму моему раскрыли?... Неужли кромѣ меня нѣтъ на свѣтѣ чловѣка, чтобы истиннымъ подвигомъ подвизался, и снй боримъ діаволомъ устоялъ бы въ прельщеняхъ, не поругался бы святому своему обѣщанью?»

Шире и шире разрастались горделивыя думы въ распаленной головѣ Гриши. Высокоуміе вконецъ его

обуяло. Еще поглядѣлъ онъ на нѣсколькихъ старцевъ, еще послушалъ ихъ разговоръ — и сказалъ Богу на молитвѣ:

«Господи! есть ли человѣкъ праведенъ, паче мене?»

Съ ранней молодости наслушался Гриша о нынѣшнихъ послѣднихъ временахъ, о томъ, что родился антихристъ и пустилъ по землѣ нечестіе: стали люди брады брить, латинску одежду носить, чай, треклятую траву, пить, табачное зелье курить, пачпортъ съ бѣсовской печатью при себѣ держати.

Куда дѣваться отъ него? Смотрить въ книги, видить, что отъ злобы антихриста истинные Христовы рабы имутъ бѣжати въ горы и вертепы, имутъ хорониться въ пропасти земныя; а кто не побѣжитъ изъ смущеннаго міра, тотъ будетъ уловленъ въ бѣсовскія сѣти и погибнетъ погибелью вѣчной... Ключомъ выпить горячая кровь — только то и держитъ на умѣ Гриша, какъ бы найти ему искуснаго старца, жителя пустыни, чтобъ бѣжати съ нимъ въ дебри лѣсныя. И распалалось злобой Гришино сердце на всѣхъ, кого считалъ онъ антихриста слугами. Лелѣялъ онъ въ душѣ своей правило раскольничьихъ ревнителей: «съ табашникомъ, со щепотникомъ и бритоусомъ и со всякимъ скѣбленнымъ рыломъ — не молись, не дружись, не бранись». И дошелъ до убѣжденія, что «ни коніанина пришибить — семь пятницъ молока не хлѣбать». И не дрогнула бъ рука у него, еслибъ зло сотворить кому изъ церковниковъ.... Евпраксія Михайловна и тѣни не имѣла такой нетерпимости, не разъ журила она Гришу за вырывавшіяся у него подъ-часъ злобныя слова, но журьба доброй хозяйки его не трогала. Мрачно молчить, слушая рѣчи ея, и душою болѣть: «вотъ, дескать, и добра, и милостива, а вдалась же въ суету грѣховную: совѣмъ обміршилась».

Глядя на безчинство старцевъ, на безобразіе переходящихъ богомольцевъ, не думаетъ больше Гриша, что бѣсы его смущаютъ, гордыня вконецъ обуяла его. Безъ грусти, безъ сердечной истомы смотритъ онъ въ щелочку изъ своей каморки, какъ честныя отцы со штофомъ бесѣдуютъ, иной разъ и курочкой не брезгаютъ. Безчинство старцевъ, ихъ разговоры о вещахъ непотребныхъ, радуютъ его. Насмотрѣвшись на нихъ, спѣшитъ онъ босыми ногами на кремни да битыя стекла, налагаетъ вериги, кладетъ земные поклоны сотню за сотней. Уста шепчутъ кичливую молитву о прощеніи безчинныхъ старцевъ, а въ душѣ тайный голосъ твердитъ: «Господи! да есть ли же гдѣ-нибудь человѣкъ праведенъ, паче мене?»

Пересталъ Гриша на рѣчку ходить, пересталъ отъ зари до зари воспѣвать прекрасную мать-пустыню, забылъ про сладкія слезы, что во время бывшее по цѣлымъ часамъ текли изъ глазъ его, устремленныхъ на чернѣвшую вдали полосу лѣса.

Зато сильнѣе прежняго мучило Гришу другое. Многого онъ начитался, многого наслушался отъ привитавшихъ въ его кельѣ. Не разъ слыжалъ, какъ поповщинскіе раскольники спорили межъ себя насчетъ новаго австрійскаго священства; много разъ слыжалъ, какъ поморцы хулятъ поповщину за поповъ, еедосѣвцы поморцевъ за браки, филипповцы еедосѣвцевъ за то, что не по уставу кладутъ поклоны, а бѣгуны сопѣлковскіе всѣхъ проклинаютъ, кто въ своемъ домѣ живетъ. И всѣ-то другъ друга обзываютъ еретиками, всѣ-то чужому толку наносятъ укоры, всѣ хвалятъ одну свою вѣру...

И день, и ночь размышляетъ Гриша: «Гдѣ жъ правая вѣра, гдѣ истинное ученіе Христово?» И молится Гриша со многими воздыханьемъ, и со многими слезами, да по-

шлетъ къ нему Господь человѣка, что указалъ бы ему правую вѣру.

Разъ, позднимъ вечеромъ, ранней весною, звякнуло желѣзное кольцо калитки у дома Евпраксіи Михайловны. Тихимъ, слабымъ, чуть слышнымъ голосомъ кто-то сотворилъ Ісусову молитву. Привратникъ отдалъ обычный «аминь» и отперъ калитку. Вошелъ древній старецъ высокаго роста. Преклонныя лѣта, долгіе подвиги сгорбили станъ его; пожелтѣвшіе волоса неровными, включенными прядями висѣли изъ-подъ шапочки. На старцѣ была дырявая лопатынка, на ногахъ протоптанные корцовые лапти; за плечами невеликій пещуръ.

— Чтѣ тебѣ, дѣдушка? спросилъ привратникъ.

— Охъ, родименькой! зашамкалъ беззубый старикъ, задыхаясь и тяжело опускаясь на прикалитную скамью:— указали мнѣ боголюбцы путь въ домъ сей ко благочестивой вдовицѣ, къ Евпраксіи Михайловнѣ.

Привратникъ, не впервые принимавшій странниковъ, впустилъ его.

— Одинъ что ли, старче, аль еще кто есть съ тобой? спросилъ онъ его.

— Одинъ, родимой ты мой, одинъ.

— Пойдемъ, старче.

И повелъ его въ домъ. Евпраксія Михайловна вечернее правило тогда съ канонницами справляла. Ведѣла старца ввести.

— Миръ дому сему, сказалъ онъ, устѣвно, истово помолясь передъ облитыми лампаднымъ свѣтомъ, серебropозлащенными иконами, и до самой земли повлонился хозайтѣ.

— Садись, старче Божій, садись, обогрѣйся! Вишь у

тебя лопати́нчика-то какая ветхая ¹⁾. А на дворѣ-то морозно, время-то погодливое... Сядь-ка вотъ здѣсь, старче... Да велите-ка, матери, Гришеньку кликнуть, «Господь, молъ, гостя даровалъ». Сними пещурь-отъ, старче; ишь какъ умаялся. Принесите горячаго кушанья, матери. Да топлена-ль у Гриши келейка-то? Пустошничать что-то зачалъ, Христось съ нимъ. Да и старцы давно не привитали — третья никакъ недѣля. Не диво — непогодъ такая, распутица. Сними-ка ты, старче Божій, пещурь-отъ.

И не дожидаясь отвѣта, сама стала снимать со старца ношу его; но коснувшись плечъ отшатнулась и прошептала молитву. Она тронула плохо прикрытыя рубищемъ, вросшія въ тѣло старца желѣзные вериги.

Старецъ снялъ пещурь. Евпраксія Михайловна, бережно, творя молитву, поставила его подъ образа.

Вошелъ Гриша. Полузамерзшій старецъ маленько поотдохнулъ въ жарко-натопленной моленной.

— Господа ради, сокрый меня грѣшнаго на малое время въ стѣнахъ твоихъ, боголюбивая матушка, — тихо проговорилъ онъ.

— Рада всей душой, старче. А можно ль святое имя твое узнать?

— Грѣшный инокъ Досиѣей...

— Ахъ, батюшка, отче Досиѣее! Что жъ ты не повѣдалъ ангельскаго своего чина?

И творя «метанія» — какъ она, такъ и бывшія съ нею въ моленной, устѣвно поклонялись старцу по дважды, приговаривая: «Прости, честный отче! благослови, честный отче».

¹⁾ Лопать, лопатинка — рубище (въ восточныхъ и приволжскихъ губерніяхъ), верхняя одежда (въ Сибири и на Сѣверѣ).

— Богъ простить, Богъ благословить, — отвѣчалъ Досиѣей. И самъ сотворилъ всѣмъ «метанія».

— Откуда грядешь, куда путь держишь? заговорила Евпраксія Михайловна, послѣ уставнаго обряда.

— Града настоящаго не имѣю, грядущаго взыскую, — отвѣчалъ старецъ: — путь же душевный подобаетъ намъ, земнымъ, къ солнцу правды держати, аще тако Отецъ небесный устроить. Тѣлесный же путь кто исповѣсть?

«Бѣгунъ сопѣловскій», думаетъ Гриша, давно наметавшійся середь переходящихъ богомольцевъ.

— Праведны рѣчи твои, отче Досиѣе, праведны твои рѣчи, — полушопотомъ, набожно говорила Евпраксія Михайловна.

Нѣсколько минутъ молчанья. Старецъ сидитъ, тяжело опустившись; движеніемъ губъ творить онъ молитву, а словъ не слышно. Радостнымъ ликомъ, свѣтлыми очами смотритъ вдовица на прихожаго трудника, и тоже тайно молитву творитъ. Безмолвно сидятъ келейницы, ѣстиво перебирая лѣстовки. Мѣрно чиваетъ маятникъ стѣнныхъ часовъ, чтó висѣли у входа въ моленную.

— Въ пустынѣ жилъ я, матушка, — тихой рѣчью заговорилъ обогрѣвшійся старецъ. — Въ пустынѣ я жилъ — недалѣко отсюда — въ Поломскихъ лѣсахъ. Не малое время провождалъ, грѣшный, въ пустынѣ... Келейку своими руками построилъ, печку сложилъ ради зимняго мраза; помышлялъ тутъ и жизнь свою грѣшную кончить... А вотъ — двѣ недѣли тому — на самое Сборное воскресенье попущеніе Божіе было. Отлучился азъ, грѣшный, ради тѣлесныя нужды, дровишекъ набрать изъ буреломника. Подхожу къ келейкѣ — только дымокъ отъ головешекъ мало-мало курится... Сгорѣла!... Немалое время жилъ я въ той келейкѣ, матушка, сорокъ лѣтъ, и не было ко мнѣ ни ѣзду, ни ходу; сорокъ лѣтъ людей не видалъ...

Сгорѣла!... Привыкъ я къ келейкѣ, матушка, чаялъ въ ней помереть, домовину выдолбилъ—думалъ въ ней лечь, въ келейкѣ стояла у меня... Сгорѣла!... Годы мои старыя, а плоть немощна. Не снести безъ келейки зимняго мразу—треба нову поставить... И вотъ, слыша отъ боголюбцевъ про твои великія добродѣтели, добрелъ я до тебя, Евпраксія Михайловна,—дай пережить у тебя до лѣта; не оставь меня, грѣшнаго, ради Христа. А лѣтомъ, Богу изволющу, побрелъ бы я опять во свою пустыньку, опять бы кельеночку поставилъ, домовинушку бы сдѣлалъ... Не оставь Христа ради!

И дряхлый Досиеей палъ къ ногамъ Евпраксіи Михайловны. А она его поднимаетъ, сама земное поклоненіе творить, а слезами такъ и обливается.

— Слышала,—говорить,—старче, слышала про ваше несчастіе. Пала и къ намъ вѣсть, что исправникъ въ Поломски лѣса выѣзжалъ—старцевъ ловить, келейки жечь. Экой злорадный какой, прости Господи!

— Не кори его, Евпраксія Михайловна, сказалъ на то Досиеей.—Не моги корить.—Аль не знаешь завѣта: «твори волю пославшаго»?... Послушаніе паче поста и молитвы... Тутъ не злорадство его, а Божія воля... Безъ воли-то Господней власъ со главы человѣка не падаетъ. И то надо памятовать, что житіе дано намъ тѣсное, путь узкій, терніемъ, волчцами покрытый. Терпѣть надо, матушка, терпѣть, Евпраксія Михайловна:—и терпѣнію надо стяжать душу свою.... Слава Христу, Царю небесному, что посѣтилъ и меня своимъ посѣщеніемъ... Вотъ что!

— Праведны, старче, рѣчи твои,—сказала Евпраксія Михайловна:—Правда во устахъ твоихъ! Но за что жъ они на насъ такъ лютуютъ? Вѣдь и они во Христа Бога вѣруютъ. За что же?

— На то Господне смотрѣніе. Стало-быть надотаетъ. Не испытуй Сотворшаго!.. — строго промолвилъ старецъ.

Досиоея напоили, набормили; Гриша въ келью его проводилъ.

— Богъ спасетъ, родименькій, Богъ спасетъ, — говорилъ старецъ на усердныя послуги Гриши, когда тотъ, затепливъ лампадку передъ иконами, къ мѣсту прибралъ старцевъ пещуръ, закрылъ ставни, а потомъ съ обычными «метаніями» простился и благословился по чину.

— Богъ проститъ, Богъ благословитъ, отвѣтилъ Досиоей. — Охъ ты, мой любезненькій!... Спасибо тебѣ... Поди-ка ты, малецъ. подь-ка, рабъ Божій, спокойся.

Ушелъ Гриша въ каморку за печку-голанку. — И тотчасъ къ щелкѣ.

И видитъ: оставшись въ манатейкѣ и въ келейной камилавкѣ, хотя и былъ истомленъ труднымъ путемъ, непогодой, на великое ночное правило старецъ остановился, читаетъ положенныя по уставу молитвы. Часъ идетъ, другой, третій. — Гришу сонъ клонитъ, а старецъ стоитъ на молитвѣ. — Заснулъ келейникъ, проснулся, къ щелкѣ тотчасъ — старецъ все еще на правилѣ стоитъ.

Дожилъ Досиоей у Евпраксіи Михайловны до той поры, какъ рѣки спали и можно стало лѣсомъ ходить. Нигуда не выходилъ онъ. Кромѣ Евпраксіи Михайловны да ея сыновей, никого къ себѣ не пускалъ. Не только въ Колгуевѣ, на самомъ усадѣ Гусятниковыхъ мало кто зналъ о прохожемъ старцѣ. — Гриша былъ при немъ безотлучно.

Не видалъ еще онъ такихъ старцевъ. — Смирилъ въ себѣ гордыню, увидѣвъ, что Досиоей не впримѣръ строже его правила исполняетъ, почти не сходитъ съ молитвы, ѣстъ по сухарику на день, а когда подерѣпляетъ своимъ древнее тѣло свое — Господь одинъ знаетъ.

Собрался Досиѣей въ путь-дорогу. Евпраксія Михайловна денегъ давала — не взялъ; новую свиту, сапоги — ничего не беретъ; взялъ только ладану горсточку да пятокъ восковыхъ свѣчъ. Ночью, передъ отходомъ старца, сѣлъ Гриша у ногъ его и просилъ поучить его словомъ. Въ шесть недѣль, проведенныхъ Досиѣемъ въ кельѣ, не удалось Гришѣ изобрать часочка для бесѣды. То на правилъ старецъ стоитъ, то «умную молитву» творить, то въ безмолвіи обрѣтается.

— Скажи, отче, повѣдай рабу своему, въ коей пустынѣ спасалъ ты душу свою; гдѣ подвигомъ добрымъ подвизался? Меня тоже въ пустыню влечетъ, на безмолвное, трудное житіе... Повѣдай же, отче, повѣдай, гдѣ такая пустыня?

— Нѣтъ моей красной пустыни!... Нѣтъ ея больше!... съ грустью отвѣтствовалъ старецъ:—Сгорѣла моя келейка, домовинушка въ ней сгорѣла... Пришелъ, анъ только однѣ головешки...

— Слышалъ, отче, слышалъ... Ироды... Пилаты!...

— Гдѣ Ироды, гдѣ Пилаты?—вставъ съ лавки и во весь ростъ выпрямляясь, строго Гришу спросилъ Досиѣей.

— А твои лиходѣи?... Никоніане!... Укажи мнѣ ихъ, отче, укажи твоихъ злодѣевъ.—Я бы зубами изъ нихъ череваковытаскалъ.

— Во Христа ты вѣруешь?—спросилъ старецъ Гришу, строго глядя на него.

— Вѣрую, отче святой—по старинному вѣрую.

И перекрестился истово двуперстнымъ знаменіемъ.

— А слыхалъ ли ты, друже, какъ Христось на Лобномъ мѣстѣ, на крестѣ за Жидовъ молился?

— Читалъ, отче... Господь грамотѣ сподобилъ меня, самъ про это читалъ.

— А читалъ ли, что передъ тѣмъ отъ нихъ Онъ терпѣлъ?... И заушенія, и заплеваніе, и по ланитамъ біенія... А не было за нимъ грѣха ни единого... И все-таки за мучителей молился... А намъ-то что повелѣлъ Онъ творити? Самую-то первую заповѣдь какую Онъ далъ?... Помнишь ли?... Любить враговъ повелѣлъ.. Читалъ ли о томъ?

— Читывалъ, отче.

— А читалъ ли, что всякая кровь възшется?

— Читывалъ... Да ихъ вѣдь не грѣхъ. Они вѣдь еретики.

— Они люди, Гришенька! Всякъ человѣкъ кровью Христовой искупленъ. Кто проливаетъ кровь человѣка— Христову кровь проливаетъ. Таковъ и съ богоубійцами Жидами равную часть пріемлетъ.

Быстро подскочилъ Гриша ко старцу... Смиренія какъ не бывало. Глаза горять, кулаки стиснуты.

— Да ты какого согласу самъ-отъ будешь? спросилъ онъ Досиееа нахальнымъ тономъ.

— Христіанинъ.

— Хвостомъ-то не вилай, не отлынивай! Не напоганилъ ли ты у меня своимъ еретицкимъ духомъ келейку?... Не по никоновой ли тропѣ идешь?

— Держуся книгъ филаретовскихъ и іосифовскихъ...

— А говоришь, что Никоніанинъ такой же человѣкъ, какъ и мы, старымъ крещеньемъ крещенные? По твоему, пожалуй, и въ пищѣ, и въ питіи общеніе съ ними можно имѣть?

— Можно, Гришенька. — Мало того что можно, — должно.

— Да ты въ своемъ ли умѣ?

— Должно. Знай, что споры о вѣрѣ — грѣхи передъ Господомъ. Всѣ мы братья, всѣ единого Христа исповѣ-

дуюмъ. Не помнишь развѣ, что Господь, по землѣ ходивши, и съ мытарями ѣлъ, и съ язычниками — никого не гнушался? Какъ же мы-то дерзнемъ?.. Святѣ, что ли, мы Его?...

— Да вѣдь они щепотники, въ три перста молятся.

— А сколькими перстами повелѣлъ Господь Самаряннѣ молиться?... Читалъ ли ты, что Богу надобно кланяться духомъ и истиной?... А два-ли, три-ли перста сложишь... это ужъ само послѣднее дѣло...

— Уйди отъ меня!.. Уйди, окаянный! отскакивая отъ старца, закричалъ Гриша.—Исчезни!..

«Это бѣсъ лукавый; черный эѳіопъ во образѣ старца пришелъ меня смущати», думаетъ Гриша и почасту ограждая себя крестнымъ знаменьемъ, громко читаетъ молитву на отогнаніе злыхъ духовъ.

— Запрещаю тебѣ, вселукавый душе, діаволе!... Не блазни мя мерзкими и лукавыми мечтаніями, отступи отъ мене и отыде отъ мене, проклятая сила непріязни, въ мѣсто пусто, въ мѣсто бесплодно, въ мѣсто безводно, идѣже огонь и жупель и червь неусыпающій...

А старецъ въ ноги Гришѣ... Слезами обливаясь, молить не убивать души своей челоувѣконенавидѣніемъ... Долго молилъ, наконецъ всталъ, положилъ на путь грядущій семиповлонный начѣлъ.

— Самъ Господь да просвѣтитъ умъ твой и да очиститъ сердце твое любовію, — сказалъ Доснѣей заклинавшему бѣсовъ келейнику и тихо вышелъ изъ кельи.

Гриша самъ не въ себѣ. Вѣрить несомнѣнно, что цѣлыя шесть недѣль провелъ онъ съ бѣсомъ.—Не одной молитвой старался онъ очистить себя отъ невольнаго оскверненія: возложилъ вериги, чтобъ не скидать ихъ до смерти, голымъ тѣломъ ложился на времени и битыя стекла, цѣлый день впрохи въ ротъ не биралъ, обрекая себя

на строгій, безъядний постъ на столько же дней, на столько ночей, сколько пробылъ онъ съ Досиѣемъ.

Но цѣлый день и весь вечеръ чудятся ему разныя мечтанья: стуки въ столѣ, бѣсовскіе звуки въ стѣнахъ, топоты ножныя, скаканія, свистъ и голкъ, страшныя кличи и нелѣпыя грезы, гудѣнія свирѣли, волынки и бубновъ. И чѣмъ больше склонялся день къ вечеру, чѣмъ гуще и темнѣй становилися сумерки, тѣмъ громче и громче слышались Гришѣ бѣсовскіе звуки. Вотъ и молодой мѣсяцъ блеснулъ въ небѣ золотымъ краемъ, звѣздочки вспыхнули на востоцѣ, а заря вечерняя блѣднѣетъ. Стихъ людской гомонъ, настала теплая, благовонная майская ночь, а Гриша все борется съ бѣсами, все читаетъ молитвы...

И слышитъ: издали, съ рѣчки, изъ-за зеленыхъ ракъ несутся звуки волынки, гудка, новорожденной свирѣли и громкой пѣсни семиковской:

Покумися, кума, покумися,
Мы семячкою березкой покумися.
Ой Дядь-Ладо! честному Семику,
Ой Дядь-Ладо! березкѣ моей,
Еще кумушкѣ, да голубушкѣ: —
Покумися!
Покумися!
Не сваряся, не браняся!
Ой Дядь-Ладо! березка моя!"

— Иждену жъ я тебе, дѣше прокляте!... Иду брань сотворить со діаволомъ! воскликнулъ Гриша и, выбѣжавъ быстро изъ кельи, устремился на всполье.

И видитъ: многое множество красныхъ дѣвицъ поетъ и пляшетъ у надрѣчныхъ ракъ. Всѣ въ бѣломъ, у всѣхъ на головахъ вѣнки, у всѣхъ въ рукахъ березовыя вѣтки. Одалъ молодые парни сидятъ—кто съ сурной, кто

съ волынкой, кто съ новорощенной свирѣлю. Въ пол-
ночный, дѣвичій семиковъ хороводъ имъ мѣшаться не
слѣдъ... И слышитъ Гриша ясные, веселые голоса жи-
ваго семиковского хоровода:

Въ Арзамасѣ, въ Арзамасѣ,—на украсѣ
Соходилися молодухи въ единъ кругъ,
Они думали крѣпкую думу за-едино:
Ужъ мы сложимтесь, молодки, по алтыну,
Мы пойдемте къ арзамасскому воеводѣ.
„Охъ, ты, батюшка нашъ, арзамасскій воевода!
Ты прими, сударь, пожалуйста, не ломайся,
Дай намъ волю, дай намъ волю надъ мужьями!“

Бодро, твердымъ шагомъ, съ поднятымъ вверхъ дву-
перстнымъ крестомъ, бѣжитъ Гриша на борьбу съ бѣ-
совскою силой. Громко, истово читаетъ заклятья:

— Запрещаю вамъ, стихійныя силы и всякія порожд-
енія діавола!... Заклинаю васъ страшнымъ и пристраш-
нымъ, неприступнымъ...

А семиковский хороводъ все громче да громче:

Какъ возговорить арзамасскій воевода:
„Вотъ вамъ воля, вотъ вамъ воля надъ мужьями.
Вотъ вамъ воля, вотъ вамъ воля на недѣлю“....
Что за воля, что за воля на недѣлю?
Все едино, все едино, что неволя.“

— Исчезни и отыди въ злосмрадный огонь геенскій,
княже бѣсовскій, со аггелы своими!... Отыди въ мѣсто
пусто, въ мѣсто безводно, въ мѣсто безплодно, — заклин-
яетъ Гриша.

А у раки въ игра своимъ чередомъ. Другую пѣсню
запѣваютъ:

„Дай намъ шильцо да мыльцо,
Бѣлое бѣлильно,
Да зеркальцо,

Копейку да денежку—
За красную дѣвушку!
Ой—Дидь, Ладо!
Семика честнаго яичницу!“

— Запрещаю тебѣ, вселукавый дѣше, проклятый Сатано!... — говоритъ Гриша, приближаясь къ бѣсовскому полку.

Но дѣвицы, завидя его, разомъ вострепнулись. Съ гикомъ, съ гамомъ завели старую пѣсню:

„Монашекъ, монашекъ,
Купи намъ калачикъ!
Мы тебя, монашекъ, поцѣлуемъ,
Подъ ракитовымъ кусточкомъ побалуемъ.“

И вереницей бинулись на Гришу. И ну его цѣловать миловать, къ сердцу прижимать... А онъ, все-таки видя не дѣвъ земныхъ, но бѣсовъ преисподнихъ, знай читаетъ свое, посылая ихъ «въ мѣсто пусто, мѣсто безводно, мѣсто безплодно»...

И невѣдомо какъ то случилось, — но нѣкій отъ черныхъ эеіопъ, во образѣ полной жизни и огня, высокогрудой Дуняши, смутилъ строгаго постника, строгаго молчальника, строгаго веригоносителя, что недавно съ полнымъ сознаньемъ говорилъ на молитвѣ: «Господи, есть ли человѣкъ праведенъ, паче меня»....

И сотвори ему бѣсъ павость велію.....

Встало солнце. Цѣлый день Гриша отплывался, вспоминая, что стало съ нимъ. Хочетъ молитву читать, но бѣсъ, во образѣ Дуни, такъ и лѣзетъ ему въ душевные очи. Все-то мерещится Гришѣ — ракитовой кустикъ надъ сонною рѣчкой, бѣлоснѣжная грудь, чуть прикрытая миткалевой сорочкой.

Лишь на третій день пришелъ въ себя Гриша. И

вспомня про ночь: про ракиты, про рѣчной бережокъ — залился онъ горючими слезами. «Погубилъ я житіе свое подвижное!... Къ чему былъ этотъ постъ, къ чему были эти вериги, эти кремни и стѣкла?... Не спасли отъ искушенія, не избавили отъ паденья... Загубилъ я свою праведную душу на вѣки вѣковъ»...

На другой день послѣ того, какъ бѣсъ, во образѣ Дуни, сотворилъ Гришѣ пакость велию, попросился къ Евпраксіи Михайловнѣ на ночлегъ инокъ, какихъ въ кельѣ у нея еще не бывало. Сухой, невысокаго роста, съ живыми, черными, какъ уголь горящими глазами, былъ онъ одѣтъ въ суконное полукафтанье, плотно-застегнутое на мѣдныя, шарообразныя, невеликія пугови. Рѣденькая борода была тщательно расчесана: недлинные, но гладко примазанные волосы спускались съ головы вудрывыми, черными, какъ смоль, прядями. Поступь тихая, степенная, осторожная — ни дать, ни взять, кошачья. Инокъ былъ такой чистенькій, такой гладенькій, рѣчь была такая томная, сладостная, вкрадчивая. Былъ не старъ, звалъ себя Ардаліономъ.

Дня три онъ прожилъ у Евпраксіи Михайловны, и не бывало еще никого, кто бы такъ по сердцу пришелся Гришѣ, какъ этотъ постникъ и молчальникъ. Хотя, по его словамъ, и держалъ онъ странствіе только по такимъ людямъ, что сами древнихъ обычаевъ держатся, а все-таки ѣлъ и пилъ изъ своей посуды; воды, бывало, не зачерпнетъ изъ общей кадки, самъ сходитъ на рѣчку, самъ почерпнетъ водицы въ берестяной свой туесокъ. И къ варсву, что принесетъ, бывало, ему Гриша съ поварни Евпраксіи Михайловны, пальцемъ не коснется, окомъ даже не взглянетъ, пока не очиститъ молитвой, не положить

сотни земныхъ поклоновъ: столь доброопасную строгость въ общеніи съ малознаемыми людьми имѣлъ. — Сперва все допытывался онъ у Гриши объ Евпраксіи Махайловнѣ, да не про то, какъ душу спасаетъ, какого держится толку, изъ какихъ старцевъ у нея отецъ духовный, а въ какомъ капиталѣ, каковы у нея дѣла по торговлѣ, воротились ли изъ Москвы сыновья, за наличныя-ль деньги товаръ они продали. — И все будто стороной, мимоходомъ. Говорить ему Гриша, что знаетъ, про чтó услыхалъ ненарокомъ; а отецъ Ардаліонъ тяжело вздыхаетъ: «Охъ, суета, суета! говоритъ, какъ-то за ту суету на страшномъ Христовомъ судищѣ отвѣтъ давать? Всякимъ людямъ, чадю, уготована часть въ царствіи небесномъ; внидутъ въ селенія праведныя и тати, и разбонники, и блудники, и сластолюбцы, аще добрымъ покаяніемъ, постомъ и молитвою очистятъ грѣхи свои; не внидутъ же токмо еретики и богатый.... Нѣтъ имъ части въ славѣ Божіей!»...

Ночью съ правила не сходить Ардаліонъ — лѣстовокъ по сту стоять.

По душѣ пришелся Гришѣ такой строгій, суровый, а проклятія на впадшихъ въ суету такъ и льются потокомъ изъ устъ его. На третью ночь, когда ужъ все стихло, и Ардаліонъ, поставивъ въ особомъ углу мѣдныя образа свои — чужимъ иконамъ онъ не поклонялся, — хотѣлъ становиться на правило, — робко, всѣмъ тѣломъ дрожа, подошелъ къ нему Гриша. Кладетъ передъ нимъ уставныя «метанія», къ ногамъ припадаетъ.

— Жаждетъ душа моя, говоритъ, учительнаго словеси твоего, отче святыи, стремится къ тебѣ духъ мой.... Не отвергни меня грѣшнаго!

— Чего ты хочешь, чадю, отъ меня неискуснаго! тихо спрашиваетъ Ардаліонъ, сидя на скамьѣ.

— Дай мнѣ часть въ молитвахъ твоихъ праведныхъ,

дозволь съ тобою на правило стать... А потомъ учи меня... До смерти готовъ служить тебѣ, до смерти готовъ отъ тебя поучаться.

— Добръ изволь твой, чадо!... Добръ твой изволь!... Но на общеніе въ молитвѣ съ тобой дерзать не могу.

— Отче святой, — я правой вѣры, я старой вѣры — нѣкое ереси нѣтъ во мнѣ..... Великій я грѣшникъ передъ Господомъ; но ни еретикомъ..... ни идоложрецомъ не былъ.

И градомъ катились слезы по щекамъ восторженнаго Гриши.

— Въ нынѣшнія, послѣднія времена, — тихой, вкрадчивой рѣчью заговорилъ Ардаліонъ: — міръ преисполненъ ересей... Благодать взята на небо, и стадо избранныхъ вѣрныхъ Христовыхъ рабовъ малѣтъ день-отодня. Да, чадо, вселенная стала пуста, нѣтъ въ ней больше истиннаго благочестія, темный облакъ злолутыхъ ересей всю землю мракомъ покры. Пустилъ врагъ — діаволъ по людямъ многопрелестную власть свою. Все осквернено: и грады, и сѣла, и дома, и стогны — смрадъ Сатаны дышетъ повсюду. Какъ волки въ овчихъ жожахъ, являются слуги его, глаголя: «я правой вѣры, я старой вѣры». Всѣ старообрядцами нарицаются — и тѣ, что зовутся поповщиной, а вѣра ихъ пестра, и тѣ, что поморцами прозваны ѡедосѣвцами, филипповцами — но всѣ они одинаго порожденія, геенской ехидны. Крещеніе ихъ — нѣсть крещеніе, но паче оскверненіе. — Всякъ, имѣяй часть съ ними — еретикъ и отъ Бога отверженъ.... Какую бѣ строгую жизнь ни повелъ онъ въ трудахъ, въ постѣ, въ молитвѣ, въ милостыни, въ нищелюбіи и страннолюбіи — все трудится. На челѣ и на деснѣй рудѣ его — антихриста печать.... Уготованъ онъ діаволу и аггеломъ его, того ради, что онъ — еретикъ.

— Гдѣ жъ правая вѣра, отче святой? Скажи... Выведи меня на истинный путь.

— Вѣра истинная — въ пещерахъ, въ вертепахъ, въ пропастяхъ земныхъ. Теперь все въ мірѣ растлѣно прелестью антихриста, — и земля, нечестіемъ людей, на тридцать сажень оскверненная, вопіетъ къ Богу, проситъ поглотить ее огнемъ и очистить отъ скверны человѣческой. Кто спасенія ищетъ, все долженъ оставить — и отца, и мать, и родныхъ, и друзей, ото всего отречься и бѣгать въ пустыню. Не слѣдуетъ жить подъ одною кровлей — твоя ли она, чужая ль, все-равно — бѣги и странствуй по землѣ, дондеже воззоветъ ты Господь. Свой кровь имѣть — грѣхъ незамолимый, никакими молитвами его не избудешь, никакими поклонами его не загладишь, никакимъ дѣломъ душевнаго спасенія отъ него себя не очистишь. Буди яко птица небесная, — тогда вся вселенная будетъ твоя!... Бѣги и брань твори со антихристомъ!...

— А гдѣ онъ, отче? И какъ съ нимъ брань творити?...

— Брань со антихристомъ — противленіе заповѣдямъ его. Прехвальнѣе того подвига и спасительнѣе для души нѣтъ ничего.

— Я готовъ, отче, — порывисто вскрикнулъ Гриша, вскочивъ на ноги.

До того онъ сидѣлъ при ногахъ Ардальона.

И мигомъ сіявшее душевнымъ восторгомъ лицо его омрачилось. Снова припалъ онъ къ стопамъ Ардальона и, обливаясь слезами, заглушая слова рыданьями, молвилъ:

— Недостойнъ я, отче святой, недостойнъ такой благодати. Отъ юности моей бороли мя страсти, не устоялъ окаянный... Не устоялъ супротивъ сѣтей діавольскихъ:

осквернилъ тѣло и душу.— Палъ я, отче святыи... Погубилъ цѣломудріе!...

— Что такое? Повѣдай мнѣ, чадо, безо всякой утайки,— какъ отцу духовному повѣдай.

И сказалъ ему Гриша повѣсть дней своихъ отъ того дня, какъ взять былъ въ келейку Евправсіи Михайловны, сказалъ, какъ думалъ онъ подвигомъ молитвы и изможденіемъ плоти спасти душу, и какъ съ нимъ боролся дьяволъ.. Все. все повѣдалъ ему до самой той ночи, какъ на праздниѣ Семива онъ, въ умѣ иль внѣ ума, соблазненъ былъ нѣкимъ отъ зѣіопъ...

— Встань, чадо,— кроте, съ любовію отвѣчалъ Ардаіонъ на его слезы и рыданья. — Сіе есть плотское токмо прегрѣшеніе, сіе есть не грѣхъ, но токмо паденіе. И велико твое паденіе, но всякъ грѣхъ — опричь еретичества — таково оплаканный, не токмо прощается, но покааніемъ паче возвышаетъ душу павшаго. Есть грѣхи тѣлесныя горше того, тѣ слезами не очищаются. — Таковъ бракъ... Сіе есть смертный грѣхъ, потому что въ бракѣ человекъ каждый день падаетъ и не встаетъ, и даже грѣхъ свой виѣняетъ въ правду. То грѣхъ незамолимый — прямо ведетъ онъ во тьму кромѣшную!... А кто падетъ, какъ ты палъ, и покается — чистъ отъ грѣха. Хочешь ли очиститься ото всякія скверны?

— О! хочу, отче святыи! Но какъ?... Научи, наставь!...

— Должно креститься въ правую вѣру и имя другое принять... Паспорты и всякія бумаги откинуть, ибо на нихъ антихриста печать. И податей не платить:—то служеніе врагу-антихристу. И ни къ какому обществу не приписываться:— то вступленіе въ сонмище антихриста и сѣденіе на сѣдалищахъ губителей. И ежели вопросятъ тебя: кто ты и коего града? отвѣтствуй: «града настоящаго не имѣю, а грядущаго взыскую». И твори брань

со антихристомъ... Повлекуть тебя на судилище — молчи... Претерпи раны и поношенія, претерпи темничное заточеніе, самую смерть, но ни единого слова отвѣтствовать не моги, и тѣмъ сотвори крѣпкую брань со антихристомъ. Помни то, что первые мученики съ людьми препирались—и сколь свѣтлые вѣнцы получили; ты же со антихристомъ, сирѣчь съ самимъ діаволомъ, боротися имешь, и еще пострадаешь доблественно, паче всѣхъ мученикъ вѣнецъ получишь, начальнѣйшимъ надъ ними будешь, понеже не съ простымъ человекомъ, но съ самимъ діаволомъ побѣдиши... Хочешь ли креститися въ правую вѣру?

— Хочу, отче святой, хочу...

— А знаешь ли, чадо—какимъ узкимъ, какимъ труднымъ путемъ, волчцами и терніемъ покрытымъ, входятъ избранники въ сію область спасенія?.. Вѣдаешь ли, какимъ подвигомъ ищущіе правой вѣры достигаютъ свѣтлаго собора вѣрныхъ, ихъ же имена писаны въ книгѣ животной?... О, сколь труденъ подвигъ!... Сколь неудобно-симо то иго!

— Повѣдай мнѣ о томъ подвигѣ, отче!... Я готовъ...

— Ни постъ, ни вериги, ни иные твои подвиги, ими же добрѣ подвизался еси, не спасутъ тебя, чадо, не введутъ во область спасенія, куда, яко елень на потоки водные, столь жадно стремится душа твоя!.. Всеу трудился, ни во что примѣнились молитвы твои, деннонощныя стоянья на правилѣ, постъ, воздержаніе, отъ людей ненавидѣніе... Всеу трудился еси!... А сколь свѣтлы селенія земныхъ ангеловъ, праведниковъ во плоти, сколь неизреченныя радости въ ихъ избранномъ соборѣ!... И я знаю путь къ тому собору, и могу показать оный путь!...

— Скажи, мнѣ отче!... Скажи путь, въ онъ же пой-

ду!...—всѣмъ тѣломъ дрожа и лобзая ноги Ардаліона, съ изступленьемъ говорилъ Гриша.—Отдамъ тѣло на раздробленіе: узнать бы лишь тотъ путь, и хоть на часъ единъ войти въ райскія свѣтлицы земныхъ ангеловъ!... Что нужно мнѣ, отче, чтобы достигнуть свѣтлаго собора избранныхъ?...

— Смиреніе и послушаніе.... Слышишь ли?— послушаніе!

— Готовъ, отче, тебѣ и всѣмъ въ правой вѣрѣ сущимъ оказать всякое послушаніе...

— Не простое то послушаніе, но совершенное отсѣченіе своей воли, совершенная смерть всякаго помысла, всякаго пожеланія... Ты долженъ будешь дѣлать только то, что велятъ, своей же воли отнюдь не имѣть... Можешь ли принять на себя столь тяжкое иго?

— Могу, отче!

— Иго неудобноносимо, другъ... Тяжелъ того подвига нѣтъ на землѣ и никогда не бывало... Во истину ли можешь снести его?... Вѣдь ты долженъ будешь творить всякую волю наставника, отнюдь не разсуждая, но паче вѣруя, что всякое его велѣніе—есть даръ совершенъ, свыше сходяй... Что бъ ни повелѣлъ онъ тебѣ—все твори... И хотя бъ твоему непросвѣщенному уму и показалось его велѣніе соблазномъ, хотя бъ духъ гордыни, гнѣздящійся въ сердцѣ, и сказалъ тебѣ, что повелѣнное—грѣховно и богопротивно—не внемли глаголу лестчу—твори повелѣніе... Твори безъ думы, безъ разсужденія, то только помни, что буетъ Божіе—премудрость есть человѣкомъ.

— Какъ же это, отче? слегка поколебавшись спросилъ Гриша... А ежели, примѣромъ сказать, — повелѣтъ молоку въ постъ хлебать?

— Хлебай безъ разсужденія!... Мало того — велятъ человѣка убить—твори волю пославшаго....

— Еретика!... готовъ!... Не скверню рукъ, паче же омыю ихъ океанною кровію!... Какъ пророкъ Ілія вааловыхъ жрецовъ—перепластаю еретиковъ, сколько велишь!

— Не одного еретика, врага Божія... Велѣлъ бы я тебѣ, послушанія ради,—самому въ срубѣ сгорѣть, гладомъ смерть пріять, засыпать себя рудожелтыми песками, въ пучину морскую кинуться: твори волю мою. — И если хоть единъ помыслъ грѣховнаго сомнѣнія, хоть одна мысль сожалѣнія внидетъ въ душу твою—всеу трудился—уготованъ ты антихристу и аггеломъ его...

Вздрогнулъ Гриша.

— Можешь ли ходить путемъ вѣрныхъ? Хочешь ли, да имя твое вписано будетъ въ книгу животную?

— О, хочу, хочу!

— Пляши и пой пѣсню бѣсовскую! прищура глаза и зорко глядя на Гришу, сказалъ Ардаліонъ.

Ровно варомъ обдало Гришу. Отпранулъ отъ старца на другой конецъ кельи, ужасомъ покрылось лицо его. Поднявъ руку съ крестнымъ знаменемъ, задыхаясь отъ внутренняго волненія, читаетъ онъ:

— Заклинаю тебя страшнымъ именемъ Господа Бога живаго — отыди въ мѣсто пусто, въ мѣсто безводно...

— О маловѣръ! съ укоромъ, качая головой, сказалъ Ардаліонъ.—О несмысленный Галать!... Гдѣ жъ твое послушаніе?... Гдѣ же отсѣченіе воли?... Гдѣ отриновеніе помысловъ гордыни?... Нѣтъ, друже, неудобноносно для тебя иго... Не можешь подъяти его празднымъ и раздвоеннымъ умомъ твоимъ... Сего малаго испытанія не могъ снести—внялъ глаголу духа лестча и лукава... Всеу трудился!.. Нѣтъ тебѣ части въ свѣтломъ сонмѣ

избранныхъ!—Влачи жизнь въ сѣтяхъ антихриста!.. Погибай погибелью вѣчною, буди тамъ, идѣже смола кипящая, огонь неугасимый, червь неусыпающій... Говорилъ я, что ты долженъ творить всякую волю наставника, не смущаться духомъ, паче же вѣровать, что буетъ Божіе—премудрость есть человѣкомъ?... Поди отъ меня!.. Что мнѣ и тебѣ?.. Кое общеніе свѣту ко тьмѣ?... Маловѣръ несмысленный!.. Не видать тебѣ горъ Кирилловыхъ...

— Чего?

— Горъ Кирилловыхъ, что у Малаго Китижа ¹⁾. Стоять онѣ надъ Волгой-рѣкой, рядомъ съ горой Оползень... Когда по Волгѣ плыветъ сплавная росшива мимо тѣхъ чудныхъ горъ Кирилловыхъ и на той росшивѣ всѣ люди благочестивые,—Кирилловы горы разступаются, какъ врата великія растворяются, и выходятъ оттуда старцы лѣпообразные, единъ по единому... Прощѣли тѣ старцы въ пустыни невидимой, яко крини сельные и яко финики, яко кипарисы и древа не старѣющія; просіяли тѣ старцы, яко каменіе драгое, яко многоцѣнные бисеры, яко звѣзды небесныя... Выходятъ старцы лѣпообразные, въ поясѣ судоходцамъ поклоняются, просятъ свезти ихъ поклонъ, заочное цѣлованье братьямъ Жигулевскихъ горъ... И когда росшива проходитъ мимо тѣхъ Жигулевскихъ горъ, должны судоходцы исполнить приказъ старцевъ горъ Кирилловыхъ, должны крикнуть громкимъ голосомъ: «Охъ, вы, гой еси, старцы жигулевскіе!... Привезенъ вамъ поклонъ отъ горы Кирилловой:—кирилловы старцы съ вами прощаются, прощаются они, благословляются»... Разступаются тогда высокія горы Жигулевскія, растворяются врата великія, бѣлымъ алебастромъ объ ину пору забранныя, и выходятъ на берегъ

¹⁾ Городецъ на Волгѣ — Нижегородской губерніи, Балахонскаго уѣзда.

старцы лѣпообразные, единъ по единому... И поднявъ паруса бѣлые, вольной птицей полетитъ росшива на Нѣзовье... Не насвистывай вѣтра, бурлакъ, лежа на брюхѣ—безъ свиста парусá легкіе наѣдятся вѣтра могучаго—понесутъ росшиву куда надобно... А забудь судоходцы исполнить завѣтъ горы Кирилловой—возстанетъ буря великая, разверзутся хляби водныя и поглѣтять росшиву съ судоходцами.—Таковы блаженные старцы горы Кирилловой, таковы лѣпообразные старцы Жигулевскихъ горъ...

— Гдѣ жъ тѣ горы? Гдѣ жъ тѣ старцы? спросилъ вполголоса Гриша...

— Куда ходу нѣтъ маловѣрамъ... Къ нимъ можетъ пройти только истинный рабъ Христовъ, воли своей не имѣющій, въ душѣ помысловъ нечистыхъ не питающій, волю пославшаго творящій безъ разсужденія... И не только въ Жигуляхъ и на горѣ Кирилловой процвѣтаютъ кринны райскіе, во иныхъ во многихъ пустыняхъ невидимыхъ просіяли свѣтомъ невечернимъ свѣтила богоизбранныя... Путь же ихъ правъ, вѣра истинна; имена ихъ въ книзѣ животной написаны... И сіяютъ тѣ свѣтила отъ древнихъ лѣтъ... Тамъ, за Керженцемъ—пролегаетъ дорога, давнымъ-давно запущенная. Нѣтъ по ней ѣзду коннаго, нѣтъ пути пѣшеходнаго, а не зарастаетъ она ни лѣсомъ ни кустарникомъ... То — «Батыева тропа».. Проходили тутъ Татары поганые отъ стольнаго града Володимира въ чудный Китижь-градъ. И тотъ чудный градъ доселѣ невидимо стоитъ на озерѣ Свѣтломъ Ярѣ... Лѣтнимъ вечеромъ, когда гладью станутъ воды озера, ни вѣтеръ рябью не кроетъ ихъ, ни рыба, играючи, не пускаетъ широкихъ круговъ; — сокровенный градъ кажетъ тѣнь свою: въ водномъ лонѣ виднѣются церкви Божьи златоглавыя, терема княженецкіе, хоромы боярскія... Живутъ въ томъ градѣ,

люди блаженные, пустынные жители преподобные... Тамо жизнь безпечальная; жизнь безъ воздыханія, день немерцаемый, утѣхи райскія... И всякъ человѣкъ, иже смирилъ душу свою послушаніемъ, увѣдаетъ путь въ чудный градъ тотъ и вкуситъ отъ блаженной жизни живущихъ тамо земныхъ ангеловъ.

— Скажи тотъ путь...

— Послушаніе безъ разсужденія!... Кто возжелаетъ всѣмъ сердцемъ, всею душою, всѣмъ помышленіемъ оставить сей многопрелестный міръ; кто неразвоеннымъ умомъ, несомнѣнно, безъ разсужденія, общается идти въ благоутѣшное пристанище, тому чудныя врата сокровеннаго града отворятся... Никому въ мірѣ не повѣдавши, ни отцу, ни матери, ни роду, ни племени, творя лишь послушаніе наставника, ступай тропой Батыевой—иди, тщетнаго въ себѣ не помышляя, и о томъ, чтобъ вспять возвратиться, не думая... Будешь терпѣть лютый гладъ, будешь терпѣть мразный холодъ, — иди тропой Батыевой—пролагай стезю ко спасенію, направляй стопы въ чудный Китижъ-градъ... Нападутъ звѣри лютые, наскочить на тебя змѣя подкодная, — иди тропой Батыевой, пролагай стезю ко спасенію, направляй стопы въ чудный Китижъ-градъ... Возстанетъ буря великая, хлынутъ на тебя ручьи дождевые, заскрипятъ по лѣсу сосны столѣтнія, повалятся деревья буреломныя, — иди тропой Батыевой, пролагай стезю ко спасенію, направляй стопы въ чудный Китижъ-градъ... Накинутся лютые демоны, нападутъ на тебя змѣи огненныя, окружаютъ тебя эіопы черные, заградить дорогу сила преисподняя, — а ты все иди тропой Батыевой—пролагай стезю ко спасенію, направляй стопы въ чудный Китижъ-градъ...

— Скажи мнѣ путь, въ онъ же пойду!... Хоть бы денѣкъ тамъ пребыть.

— Тамо — жизнь безконечная. Часъ одинъ — здѣшнихъ сто годовъ... И не одинъ таковой сокровенный градъ обрѣтается; много ихъ по разнымъ мѣстамъ и пустынямъ Господомъ Богомъ ради избранныхъ поставлено... Ради тѣхъ, что бѣгаютъ отъ антихриста въ горы, вертепы и пропасти земныя, по реченному Ефремомъ Сириномъ.... Тамъ же, за Волгой, на озерѣ-Нестіарѣ другой сокровенный градъ... А подальше въ лѣсу невидимая церковь стоитъ. Въ стары годы стояла она въ Василь-городѣ, на Сурѣ на рѣкѣ. — Былъ праздникъ Господень — Преполовеньевъ день, пошелъ крестный ходъ на Суру воду святить, — двинулась за крестами и церковь Божія... Сура-рѣка разступалася, какъ ворота растворялася, принимала людей, что за крестами шли, принимала и церковь Божию... И перенеслась церковь за Суру за рѣку, за Волгу-рѣку, за Ветлугу-рѣку и доселѣ стоитъ невидимо — въ лѣсахъ... а въ какихъ — повѣдать тебѣ, маловѣру, нельзя... Стоять въ ней люди васильгородскіе и будутъ стоять до втораго Христова пришествія... Бысть одинъ мужъ благочестивъ и боголюбивъ, житель единыя веси, неподалеку стоящей. Изыде той мужъ въ лѣса, ловитву звѣрамъ дѣюще, и Божиимъ изволеніемъ открылась ему церковь Васильгородская. Пошелъ рабъ Христовъ, слышитъ: восьмой ирмосъ канона на святую Пасху поютъ: «Сей нареченный и святыи день»... Сладко райское пѣніе, вокругъ церкви благоуханіе, свѣтъ лучезарный окрестъ сіяетъ... Мужъ тотъ не знаетъ — во снѣ онъ, или въ восторгѣ.... Прослушалъ одинъ только ирмосъ, и пошелъ обратнымъ путемъ восвояси, слава и благодаря Бога за видѣнную столь чудную вещь... И егда прииде въ весь свою — ни единого знаемаго обрѣтъ, и ни одинъ житель той веси его не позналъ. И бысть молва велія и многое разсужденіе въ людѣхъ. — Мужъ же той имя свое повѣдать имъ,

глаголи, что лишь наканунѣ отыде изъ веси той въ лѣсъ, звѣриныя ради ловитвы, жену и дѣтей своихъ называя и домъ свой указуя... И дивляхуса вси... По малѣ времени обрѣтоша по сосѣдству мужа древня, ему же бѣ вѣще ста лѣтъ. И повѣда той старецъ: «бывшу мнѣ во отрочествѣ, слыхалъ азъ, многогрѣшный, отъ родителей, былъ-де въ ихъ веси человекъ добродѣтельный и благочестивый, имя то самое имѣяй, каковымъ пришлецъ сей чудный себя нарицаетъ... Тотъ человекъ во едино время отыде въ лѣсъ, звѣриныя ради ловитвы, и не возвратися»... И повѣда людямъ чудный мужъ, како видѣлъ онъ въ дебряхъ лѣсныхъ церковь Васильгородскую и слышалъ ангелоподобное пѣніе. И егда повѣда, испусти духъ и преселися въ жизнь вѣчную... И познаху люди, что егда блаженный единъ ирмосъ: «Сей нареченный и святой день» слушалъ — сто годовъ протекло, и болѣе. И восхвалиша Господа и рекоша другъ ко другу: «дивенъ Богъ во святыхъ своихъ!»... И азъ знаю путь къ церкви Васильгородской и могу указать тотъ путь несомнѣнно спасенія ищущему...

— Отче, отче! скажи мнѣ...

— Имѣешь ли послушаніе?

— Имѣю, отче... Я сейчасъ... И взирая распаленными глазами на Ардаліона, подперъ руки въ боки, готовый пуститься въ плясъ. Запѣлъ-было:

Какъ во городѣ было, во Казани...

— Довольно...—сказалъ Ардаліонъ.—Больше не надо, Благо твое послушаніе... Аще всегда будешь таково творити волю мою безъ разсужденія—узриши благая Іерусалима... Можешь ли теперь же творить брань со антихристомъ?

— Могу, отче.... Гдѣ?... Покажи треклятаго, да брань сотворю.

— Антихристъ, чадо, многоглавенъ, многоуменъ и многоязыченъ. Все, что не нашей вѣры—антихристъ. Вся эта пестрая поповщина, хромья души, какъ бывшая хозяйка твоя со всѣмъ своимъ мерзкимъ отродьемъ — антихристъ!

— Иду—задушу и ее, и всѣхъ!...

— Щука умретъ—зубы останутся... Не тронь... Зубы вырви у ней.

— Какіе зубы?...

— Зубы ада — его сила... Сила днешняго антихриста—деньги... Ими все творится пагубы ради человѣческой... Можешь ли вырвать зубы изъ мерзкихъ челюстей его, окаяннаго?

— Могу, отче. Знаю, гдѣ сундукъ. Въ моленной. Хожу туда по ночамъ лампадки поправлять. Могу, отче!.. Иду...

И пошелъ-было въ двери.

— Постой, сказалъ Ардаліонъ.—Время не у приспѣ... Часъ не пришелъ... Хочешь ли креститься въ правую вѣру?

— Хочу, отче... Гдѣ же?

— Идемъ на рѣчку—время благопріятно.

Пошли.... И въ ночной тишинѣ перекрестилъ Ардаліонъ Гришу подъ той ракистой, гдѣ сжималъ онъ въ объятіяхъ Дуню.... Полная луна блѣднымъ свѣтомъ обливала обнаженное тѣло юнаго изувѣра, когда троекратно, подъ рукой Ардаліона, погружался онъ въ свѣжія струи рѣчки. — Ночь благоухала, небесныя звѣзды тихо, безмолвно мерцали, въ лѣсу и въ прирѣчныхъ ракистахъ раздавалось громкое пѣнье соловьевъ.

И нарекъ Ардаліонъ имя ему—Геронтій.

— Благослови, отче! съ изступленнымъ жаромъ сказалъ Геронтій наставнику, когда воротились они въ келью.

— Благословенъ грядый во имя Господне!...

Безъ ума, со всѣхъ ногъ бросился Геронтій. — Ардаліонъ сталъ поспѣшно собирать въ пещуръ пожитки: чутко слушая, не зашумѣли-ль. Печку потомъ затопилъ.

Принесъ Геронтій сундукъ. Насилу дотащилъ.

Сундукъ разбили. Деньги вынули, бумаги въ печь покидали.

— Въ пустыню! молвилъ Ардаліонъ.

И наскоро положивъ семипоелонный «началъ», вышли на всполье, рѣчку въ бродъ перешли и бѣгомъ пустились къ лѣсу.

Дни черезъ три хоронили Евпраксию Михайловну — умерла въ одночасье.

Запутались съ той поры Гусятниковы.

Петергофъ
1860.



ДѢДУШКА ПОЛИКАРПЪ.

ДѢДУШКА ПОЛИКАРПЪ.

Пріѣхавши на Валковскую станцію, вышелъ я изъ тарантаса, велѣлъ закладывать лошадей, а самъ пошелъ пѣшкомъ впередъ по дорогѣ. За околицей, у вѣтренной мельницы, сидѣлъ старикъ на завалинѣ. На солнышкѣ лапотки плелъ. Я подошелъ къ нему, завелъ разговоръ. То былъ крестьянинъ деревни Валковъ, отецъ стараго мельника; всѣ его звали «дѣдушкой Поликарпомъ».

Сколько ему лѣтъ — никто не зналъ, и самъ онъ не помнилъ. Одно только сказывалъ, что несъ тягло еще въ ту пору, какъ «царица Катерина землю держала». Крѣпко жаловался старина на нынѣшни времена, звалъ ихъ «останными», потому-де, что восьмая тысяча лѣтъ въ доходѣ, и антихристъ во Египетской странѣ родился. Слово за слово, разговорились мы съ дѣдушкой.

— Чтѣ, спросилъ я его, много ль помолунамельницѣ-то?

— Какой помолъ, родименькій! Какой помолъ! Наши мѣста безхлѣбныя. У насъ, кормилецъ, по всей волости хлѣбъ-отъ плохо родится. Каковъ ни будь урожай, долѣ Святой своего хлѣба не хватить; иной годъ съ Тимоѣея Полузимника ¹⁾ на базарѣ покупаемъ.

¹⁾ Двадцать второе января.

— Земли-то у васъ, кажется, довольно.

— Эхъ, родименькій, кака земля по нашимъ мѣстамъ! И много ее, да пути-то нѣтъ. И велико поле, да не родимо. Погляди, какова земля-то: — лѣсъ да песокъ, болота да мочажины... Какой у насъ хлѣбъ?... Земля же холодная: овсы иной годъ уродятся, ну и льны тоже, а рожь за-всегда плохо бываетъ. А ежели на счетъ пшеницы аль проса, такъ этихъ хлѣбовъ у насъ и въ заведеніи нѣтъ, сѣмена погубить, ежели посѣять. Гречей тоже мало займуются, для того, что каждый годъ морозами ее, сердечную, бьетъ. Такія ужъ наши мѣста!

— А встарину какъ бывало?

— Какъ можно встарину! Встарину все лучше было, на что ни взглянешь, все лучше было. И люди были здоровѣе, хворыхъ да тѣлесныхъ, ка-жись, и вовсе не бывало въ стары-то годы. И все было дешево, и народъ-отъ былъ проще, родимый ты мой. А урожаи въ стары годы и по нашимъ мѣстамъ бывали хорошіе. Всѣ благодарили Создателя. У мужичка, бывало, года по два да по три немолоченный хлѣбъ въ одоньяхъ стоитъ... А въ нынѣшни останны времена не то... Обѣзжай ты, родимый, всѣ наши мѣста: и Заузолъ, и Ячменскую волость, и Лыковщину, и Жары, нигдѣ ты одинаго одонья не увидишь, чтобы про запасъ заготовленъ былъ. Въ стары-то годы, родименькій, «вулижки» ¹⁾ жгли, на нихъ рожь-то, бывало, самъ-восемь да самъ-десять. А въ нынѣшни года, вулижекъ жечь не велятъ — лѣсные завелись, полѣсовныя. Отъ этихъ отъ самыхъ лѣсныхъ вулижка теперь въ такую цѣну станеть, что

¹⁾ Кулига — тоже что валки, чища, чищоба, огнище — расчищенный, выкорчеванный и выжженный подъ пашню лѣсъ.

палить ее ужь и не изъ чего... А бывало, встарину-то, въ лѣтнюю пору, передъ Ильинымъ днемъ, куда ни поглядишь — тамъ изъ лѣсу дымокъ, въ другомъ мѣстѣ, въ третьемъ... Иной разъ мѣстахъ въ десяти разомъ горить... А нынче не велятъ, запретъ положонъ.

— Что жъ это за кулиги такія, дѣдушка, для чего онѣ?

— А видишь ли, родной.... Пойдетъ, бывало, мужикъ въ лѣсъ, свалить ельнику сколько ему надо, да, сваливши деревья, корни-то выроетъ, а потомъ все и спалить. А чтобъ землю-то получше разрыхлить, по веснѣ-то на огнищѣ рѣпы насѣетъ. А къ третьему Спасу ¹⁾ хлѣбцемъ засѣетъ. Землица-то Божья безо всякаго удобренья такой урожай дастъ, что Господа только благодарить... Самъ-восемь, самъ-десять урожай-отъ бывалъ. А теперь не то, — съ глубокимъ вздохомъ прибавилъ дѣдушка, — теперь не велятъ кулижекъ палить.

— Да нельзя же, дѣдушка, волю надъ лѣсомъ дать. Пожжешь его безъ толку, такъ послѣ не то что на отопку, на лучину ничего не останется.

— Вѣстимо, родименькій. Извѣстно дѣло, мужику нельзя въ лѣсу воли дать... Какъ можно! всякое запрещеніе для порядковъ дѣлается. Только земля-то у насъ ужь больно скудна, безъ навозенья ничего не родить. Такія ужь наши мѣста! Сѣмена надо сгубить, коль хорошенько не унавозишь полосу. А на кулижкахъ-то и безъ навозу хлѣбецъ родился. Такъ-то оно и хорошо было.

— Что жъ вы получше не навозите землю-то? Навозьте ее больше.

¹⁾ Шестнадцатое августа.

— Вѣстимо такъ, родимый, землю по нашимъ мѣстамъ какъ можно больше надо навозить. Какого хлѣба съ нея безъ навозу взять? Безъ навоза никакъ нельзя... Только скотинка-то у насъ больно плохонька. Вотъ что, кормилецъ!... Ужъ куда съ нашими коровенками землю удобрять какъ слѣдуетъ!... Никакъ невозможно... Посмотри-ка ты, какая по нашимъ мѣстамъ скотина? Сама ледащая, именно какъ пословица молвится: «коровенка меньше котенка». Слава только одна, что скотина. Вонъ на Горахъ ¹⁾ скотина хорошая, крупная: каждая корова барыней смотреть, оттого тамъ и хлѣбъ родится хорошъ. А у насъ что? Мѣста ужъ такія у насъ.

— Такъ заведите хорошую скотину.

— Извѣстно дѣло, родименькій, что отъ хорошей скотины больше навозу... Это такъ, это ты истинну правду молвилъ.... А намъ безъ удобрення никакъ невозможно... Вотъ начальники-то наши, дай имъ Богъ многолѣтно здравствовать, хермы ²⁾ тоже у насъ завели и скота хорошаго пригнали на нихъ..... Такой славный скотъ, что любо-дорого посмотреѣть. И мужичкамъ было хотѣли давать на племя такую скотину, строгостью даже приказывали разбирать ее по дворамъ безданно, безпошлинно. — Дай Богъ имъ здоровья, господамъ начальникамъ!... Ужъ такое они объ насъ глупыхъ попеченіе принимаютъ, что сказать нельзя. И не стоимъ мы такихъ милостей. Право слово, не стоимъ.

— На расхватъ, чай, разобрали жалованныхъ-то воровъ?

— Какъ возможно, родимый? Намъ ли такую скотину

¹⁾ На „Горахъ“— значить на правой сторонѣ Волги, „Нагорные“ жители правой стороны Поволжья.

²⁾ Фермы.

держать?... Нѣтъ, нечего Бога гнѣвить,— помиловало начальство: ни единой коровки не дали... Всей волостью поклонились тогда мужички управляющему, по чемъ тамъ съ души пришлось, поблагодарствовали... Далъ Господь — откупились. Помиловали начальники, дай Богъ имъ, нашимъ добродѣямъ, здоровья — не роздали коровушекъ. Прописали гдѣ слѣдуетъ, «желающихъ не оказалось».

— Какъ же такъ, дѣдушка?—Даромъ такое добро вамъ давали, а вы не брали? Что жь это значитъ?

— А то значитъ, родимый, что ужь такія у насъ мѣста.... Мѣсто мѣсту вѣдь рознь. — Начальники-то наши, извѣстно дѣло, каждому человѣку добра хотятъ, одначе ихне добро въ иномъ мѣстѣ впрямь добромъ выйдетъ, только надобно будетъ Бога вѣчно молить за него, а въ иномъ, можетъ и неподалеку гдѣ нибудь, отъ того добра мужикъ-отъ волкомъ взвоетъ... Земля-то наша Свято-русская больно ужь велика стала, кормилецъ: съ одного-то мѣста ее не обзришь... Вотъ, примѣрно сказать, про казенну скотину мы съ тобой валякали: по здѣшнимъ мѣстамъ наши ледація, коровенки не впримѣръ способнѣй крупнаго скота. А какихъ-нибудь за тридцать верстъ, хоть у нагорныхъ, крупна скотина — истинно безцѣнное сокровище. У насъ вѣдь по всѣмъ нашимъ мѣстамъ поемныхъ луговъ вовсе нѣтъ, и пожней-то, сѣнныхъ-то, значитъ, покосовъ, маловато. По плантамъ и много, да въ наличіи не предвидится... Да и что за покосы? Бѣлоусъ, да осока, да донникъ — и все тутъ. На что наши коровенки, и тѣ по раменямъ пасутся, а сыты не бываютъ, зимой стоятъ на соломѣ, для того, что посыпки-то взять негдѣ, и на свой-отъ обиходъ хлѣбушко съ базару покупаемъ... Ну, отъ такого корму не диви, что здѣшняя скотина — кожа да кости. По этому по самому крупному скоту у насъ и невозможно быть:—зимнимъ дѣломъ и самъ голодомъ насидишься, и

жалованну корову сморишь; а лѣтомъ гдѣ ее пасти? У насъ по покосамъ да по раменямъ: собашникъ, болиголовъ, лютикъ, бѣшеница, молочай, жабникъ ¹⁾. Ну, какъ казенна-то корова да нахватается этой дряни, съ голодухи-то? Вези подъ оврагъ, да принимай отъ начальства остуду, не умѣль-де, мошенникъ, жалованной скотины соблюсти. И то сказать, въ способныхъ-то мѣстахъ не хитро дѣло мужику казенну корову во дворъ взять, да хитрое дѣло держать ее. Дадутъ тебѣ корову, и надворъ приставятъ за ней. Зачнутъ къ мужику наѣзжать: понавѣдаться, здоровенько ли, молъ, жалованна-то коровушка поживаетъ, держитъ ли хозяинъ ее въ теплѣ да въ холѣ. А вѣдь самъ ты, родименькой, знаешь, что наѣздъ-отъ начальства изъ кошны деньгу волочетъ: и курочку ему заколи, и говядины купи, и калачика, а по питейной части, окромѣ простаго, винограденькаго потребуется. По этому по самому, родимый, мужички наши отъ казеннаго скота и откупились, для того что жалованна-то корова не впримѣръ дороже купленной обойдется. — Нѣтъ, на что ужъ намъ хороши коровы?.. Намъ бы вотъ кулижки позволили, вѣкъ бы стали Бога благодарить.

— Самъ же ты, дѣдушка, сказалъ, что кулижки лѣсъ губятъ, и что запретъ на нихъ положенъ ради порядковъ.

— Вѣстимо, родненькій. Знамо дѣло, для порядковъ. Какъ же намъ жить безъ порядковъ?... Никакъ нельзя... Примѣромъ сказать, хотъ объ лѣсѣ, нельзя не молвить, что губленье губленью розъ.... Самъ посуди, кормилецъ,

¹⁾ Собашникъ — *Cynoglossum officinale*; болиголовъ — *Chaerophyllum*; лютикъ — *Aconitum*; бѣшеница — *Cicuta virosa*; молочай — *Euphorbium palustre*; жабникъ — *Ranunculus bulbosus*, — травы болѣе или менѣ ядовитыя.

какое губленье лѣсу отъ кулижки? Много ли мѣста подъ нее надоть?... И то сказать—лѣсъ-отъ на кулижки палать вѣдь не строевой, не дровяной, а больше все заборникъ да прясельникъ. А заборнику да прясельнику по нашимъ мѣстамъ такое мѣсто, что, какъ ты его ни руби, онъ изъ земли такъ и лѣзеть, ровно преть его оттуда кто.

— Дѣдушка! да вѣдь отъ прясельника и хорошій лѣсъ загорится. Тогда что?

— А какъ ему загорѣться-то, родимый?... Хорошему-то лѣсу? Лѣсной-отъ пожаръ по низу не ходитъ, верхомъ все. А кулижку-то прежде повалать да потомъ зажгутъ—она и горитъ низомъ, по верху ходу ей нѣтъ.

— Какъ же можно попусту лѣсъ губить? Жечь его задаромъ? Жаль такого добра.

— Точно, правда, родимый. Лѣсъ вещь дорогая, дорогая, кормилецъ; какъ не жаль лѣса, когда онъ горитъ? Ужъ такъ его жаль, такъ жаль, что и сказать не можно. Какъ этакъ увидишь, что лѣсокъ-отъ гдѣ-нибудь загорѣлся, — такъ горько станетъ, подумаешь: «вотъ растилъ его Господь долгія лѣта, и стоялъ онъ, человѣка дожидаячись, чтобъ извелъ его на показанную Богомъ потребу, а теперь за грѣхи наши — горитъ безъ пути»... Да вотъ, неподалеку отъ насъ, въ Наумовской волости такая палестина лѣсу выгорѣла, подумать страшно: отъ Рождествина почитай до Толмазина, верстъ на тридцать выхватило. А лѣсъ-отъ былъ кондовый, дерево-то не охватишь. Загорѣлось отъ Божьей воли, отъ молоньи, а друго дѣло, не знаю. Ну, дерево-то хоша и обгорѣло, а все-таки было годно для того, что въ лѣсномъ-то пожарѣ только хвоя да сучья горятъ, а самому дереву вреда нѣтъ. Наши мужички и хотѣли было купить тотъ горѣлый лѣсъ, на сплавъ чтобъ его въ низовы города. И купцы приѣзжали, не по одинъ разъ смотрѣли, тоже хотѣли купить. За

весь-отъ, что́ его погорѣло, два ста тысячъ на монету давали, а Василій Трофимычъ, что́ нами въ ту пору заправлялъ, отписалъ къ самому большому начальству, что тѣхъ денегъ взять мало, коли, дескать, сдѣлать торги, такъ больше дадутъ. Требовалъ, видишь, родименькій, Василій-отъ Трофимычъ двадцать тысячъ благодарности, а его не ублаговорили. — Поэтому и прописалъ, чтобы лѣсъ не продавать, казнѣ-де убытки будутъ. На третій годъ послѣ пожару межевой наѣзжалъ, велѣно ему было доподлинно вымѣрять, много ль погорѣло казеннаго лѣсу, и сосчитать сколько придется на продажу бревенъ, и какой толщины будутъ они. Ну, палестина не малая — скоро ли ее вымѣряешь? Наѣзжалъ года по два, — да все-то, кормилецъ, въ саму рабочую пору. Понятыхъ сбивалъ, подводы, ну и благодарности тоже требовалъ, безъ того ужъ нельзя. Да окромѣ благодарности: харчевня, да свѣчныя, да питейныя. Однѣхъ питейныхъ что́ вышло! Человѣкъ-отъ былъ пьющій, народъ-отъ съ нимъ тоже до винца охочій; бывало каждый Божій день два, либо три штофа пѣннику. Ну, послалъ межевой планты куда слѣдуетъ; по времени и вышло объ лѣсѣ рѣшенье: торги произвести, кто больше дастъ, тому его и продать. А рѣшенье-то послали послѣ пожару на восьмой годъ: той порой лѣсъ-отъ подгнилъ, вѣтромъ его повалило, и остались однѣ гнилыя колоды: лежать комлемъ вверхъ и новому лѣсу расти не даютъ, корни-то выворотило, землю отъ того всю изрыло. Не то чтобы купить, съ казны еще стали просить, мѣсто-то бы только очистить... Такъ и запропало Божье мѣсто: гарь теперь одна, не пролезешь. Грибы даже не растутъ, только и пользы что малиннику много разродилось. Мѣсто хоть совсѣмъ брось, только бѣглымъ да срывающимъ скитникамъ жилье уготовали, а больше ничего.... Такъ вотъ оно что, роднень-

кой, примолвилъ дѣдушка, немного помолчавши. — Какъ можно сказать, чтобъ мы не жалѣли лѣсу? Сердце кровью обольется, какъ завидишь лѣсной пожаръ. Думаешь: «ну, какъ и этотъ лѣсъ задаромъ пропадетъ?» Какъ намъ не жалѣть лѣсу, родимый? Вѣдь его Богъ не про кого, что про насъ, выростилъ.

— Ты сказалъ, дѣдушка, что хлѣбъ-отъ у васъ плохо родится. Что жъ, промыслами кормитесь?

— Какъ же, родименькой. Промысломъ только и живемъ, издѣльемъ то-есть. Хлѣбца-то мало, кулижекъ-то палить не велятъ, такъ мы все больше около лѣску и промышляемъ. Котора деревня ложки точить, котора чашки, по другимъ мѣстамъ смолу сидятъ, лыко дерутъ, рогожи ткутъ: только лѣскомъ и живемъ, родимый! Оттого-то лѣсокъ-отъ и любъ намъ, оттого-то мы его и жалѣемъ— вѣдь онъ нашъ поилецъ, кормилецъ.

— За попенныя лѣсъ-отъ берете?

— За попенныя, кормилецъ, за попенныя. Какъ же можно безъ попенныхъ? Не велятъ. Да попенныя что? Деньги не великія, заминки только много отъ нихъ... Лѣсной-отъ тоже вѣдь баринъ, стало-быть, благодарности требуетъ. Да это бы еще ничего— безъ благодарности какъ же ему и быть, на то онъ лѣсной. А вотъ иные больно не подходящи бываютъ, и на руку крѣпки: чуть ему слово, онъ тебя изобьетъ какъ ему хочется. Станешь съ нимъ порядкомъ говорить, а онъ свое: «развѣ, говорить, не знаешь, что ты весь въ моихъ рукахъ — застану, говорить, съ топоромъ въ лѣсу, до смерти могу убить... Знаешь ли, говорить, что когда лѣсной порубку преслѣдуетъ, дозволяется ему вора изъ ружья застрѣлить? Такъ поэтому ты, говорить, и долженъ ухо востро держать и меня почитать больше чѣмъ исправника аль окружного, потому

что тѣ только спину тебѣ вздеруть, а я, ежели захочу, до смерти могу застрѣлить.»

«Нашъ лѣсной Иванъ Васильичъ—добрый, хорошій баринъ—а этакъ же иной разъ нашего брата попугиваетъ. Спервоначалу-то думали—морочить. «Какъ же можно ему человѣка застрѣлить», этакъ, знаешь, думаемъ. Да грамотѣи, изъ нашихъ мужичковъ, доподлинно въ законныхъ книгахъ вычитали, что лѣсная стража, ежели кого преслѣдуетъ, можетъ того человѣка убить, и смертное убійство въ грѣхъ ей не вѣняется. Такая статья есть, кормилецъ... Отъ этого лѣсной нашему брату страшнѣй всякаго: другой баринъ, какъ великъ ни будь, все-таки живота лишитъ не можетъ, а лѣсному это, стало-быть, можно. Правду сказать, таковыхъ случаевъ не слышать, а все-таки страху много. Какъ же послѣ того не ублаговторишь ты его? Умирать не своей смертью кому охота? Хотя, можетъ-быть, онъ только для острастки тавія рѣчи говорить, однако жъ все дѣло въ его рукахъ. Ну, а какъ стрѣльнеть? Тогда что?»

«Вотъ еще эти издѣльны билеты у насъ! Такую заминку дѣлають, что просто не приведи Господи! Что мужикъ ни сработаетъ: смолы ль насидитъ, кадушекъ ли, ведеръ ли надѣлаетъ, чашекъ ли наточитъ, — на всяко издѣлье, какъ его на продажу везти, долженъ у лѣснаго билетъ выправить. И въ тотъ билетъ на дорогѣ всякій у тебя смотреть, лѣнливый развѣ про билетъ не спрашиваетъ... И на перевозахъ съ нимъ задержка, и на базарѣ хлопотъ не оберешься. А въ города да на ярмонки лучше не ѣзди. Всякій тамъ съ тебя сорвать норовитъ: и городничій, и квартальный, и исправникъ; будочникъ привяжется — и буточника ублаговтори, не то скажетъ, что издѣлье изъ краденаго лѣса: тебя послѣ того по судамъ и затаскають. А билетъ дають одинъ, сколько мужикъ ни

наработаетъ товару, ему все одинъ билетъ. Иной разъ и повезъ бы издѣлье самъ на базаръ, а сына на другой бы послалъ, да страшно: билетъ-отъ не разорвать стать, а куда безъ билета пріѣхалъ, тамъ скажутъ, что ты воровское издѣлье привезъ, и такъ тебя оборвутъ, что долго будешь помнить, каково безъ издѣльнаго билета на базаръ выѣзжать.

«Тоже вотъ и на счетъ штрафныхъ за неуборку вершинъ и сучьевъ. — Это ужъ выходитъ для насъ немножко и обидно, родименькой. Самъ ты посуди, кому хочется штрафованнымъ быть? Штрафъ-отъ хоть не великъ, да слово-то будто обидно. Да этотъ же штрафъ лѣсной беретъ напередъ, заодно съ попенными, точно тому дѣлу такъ и надо быть, чтобы каждый человѣкъ штрафился. Ты возьми хоть два, хоть три гривенника — за тѣмъ мы не стоимъ, — да штрафомъ-то не зови, а то вѣдь, что тамъ ни говори, все же выходишь ты человѣкъ нехорошій, коли штрафъ съ тебя взять. Да что еще лѣсной-отъ говорить, какъ придешь къ нему за билетомъ! «Ты, говоритъ, вершины-то да сучья не убирай, а какъ отъ этого казенному лѣсу порча, такъ и подай за то гривенникъ штрафу, да подай напередъ, чтобы нослѣ мнѣ тебя не розыскивать.» Оно и обидно таки рѣчи слушать: вѣдь это все одно, что скажутъ тебѣ, казну-де ты обворовалъ. Такимъ дѣломъ обзывать невиноватаго, кажись бы, не надо.

«А куда убирать вершины да сучья — ни у насъ, ни по другимъ волостямъ мѣстъ не отведено... А мѣста наши ровныя: ни горъ, ни овраговъ верстъ на сотню во всѣ стороны нѣтъ, валить-то вершины да сучья и некуда. Разъ было кучились мужики лѣсному, всѣмъ міромъ кланялись, «уважьте, молъ, ваше благородіе, такое мѣсто». Такъ онъ поди-ка какъ разлютовался. — «Учить, говоритъ, меня вздумали? Объ васъ же, говоритъ, начальство заботу принимаетъ, нарочно штрафы учредило, чтобы

вась отъ дѣла не отрывать, а вы же, мошенники, еще неблагодарны остаетесь! Да пикни, говоритъ, у меня кто нибудъ хоть единое слово, не то что безъ промыслу — безъ дровъ, безъ лучины оставляю. Лишу и тепла, и свѣта на всю зиму зименскую». Да весь міръ въ зашей. Опослѣ еще похвалялся нашему головѣ: «вотъ, говоритъ, отведу я имъ мѣсто верстъ за пятьдесятъ, такъ узнаютъ кузькину мать». Что ты станешь дѣлать, родимый мой?

«Да нашъ — баринъ добрый и смирный, Иванъ-отъ Васильичъ. Бога надо благодарить за такое начальство. Просто сказать — душа-человѣкъ. Другой разъ и покричитъ, и побьетъ, и убить изъ ружья погрозится, а все же съ нимъ говорить хоть можно — на рѣчи охочій. И много еще милости сказываетъ, дай Богъ ему многолѣтняго здравія. Хоть бы насчетъ лажу. Вѣдь прежде, родименькій, цѣлевый-отъ четыре рубля двадцать пять копѣекъ ходилъ, а потомъ его на три съ полтиной поворотили. Теперь деньги у мужика хоть и тѣ же, да счетомъ-то ихъ стало меньше, оно будто ихъ и не хватаетъ. И по всѣмъ мѣстамъ въ нынѣшни времена, гдѣ ни послышишь — лажъ-отъ вездѣ порѣшился, а нашъ Иванъ Васильичъ, дай Богъ ему здоровья, до сихъ поръ лажемъ милуетъ. Попенны деньги, — тѣ на серебро беретъ, а на счетъ иныхъ сборовъ, которы ему слѣдуютъ: за троицы березки, за вѣники, грибной сборъ, орѣховый, за стрѣльбу дичины, дровяныя, лучинныя, харчевыя, это все, дай Богъ ему здоровья, съ лажемъ принимаетъ. Оно нашему брату и повыгоднѣй... Поэтому — хоть иной разъ Иванъ Васильичъ какого непослушника и поизобидитъ, а все жъ мы довольны имъ остаемся: отецъ родной — не баринъ.

«За такимъ лѣснымъ какъ Иванъ Васильичъ, дай ему Богъ многолѣтняго здравія, жить можно, и только Бога надо благодарить... А вотъ въ Липовской волости лѣсной-

отъ Петръ Егорычъ— вотъ ужъ бѣда: строгій—настрогій и самый не подходящий. Слова съ мужикомъ не молвить, глядить волкомъ, и все норовить тебя въ зубы. Какъ ты его ни ублаговляй, ему все мало. «Мѣсто мое, говоритъ въ Питерѣ, не у васъ въ трущобѣ съ волками да съ медвѣдями, такъ за это за самое, говоритъ, ты и долженъ меня ублаготворить. Да помни, говоритъ, расканалья ты этакая, что надо мной есть палата, и потому я самъ подъ сборами нахожусь». Что съ такимъ баринкомъ подѣлаешь? А нашему брату безъ лѣсу никакъ невозможно; лѣсомъ только и живемъ.

Придетъ къ Петру Егорычу мужикъ за билетомъ, попенны принесетъ, ну и почести сколько слѣдуетъ, да коли баринъ на тѣ пору въ сердцахъ—въ карты проигрался, алъ жену въ городъ за покупками снаряжаетъ, заломить онъ такую благодарность, что затылокъ затрепичить. А какъ мужикъ зартачится, да въ цѣнѣ не сойдутся, Петръ Егорычъ ему и молвить: «приходи завтра».—Завтра, да завтра, да дѣло-то до Евдокѣи Плющихи ¹⁾ и дотянетъ. Придетъ мужикъ на Евдокѣю, онъ билетъ ему выдастъ и окромѣ попенныхъ,—каковъ есть мѣдный грошъ,— не возьметъ. И давать станетъ, еще зарычитъ, ровно медвѣдь: «я человѣкъ благородный, на подлости не пойду, мундира марать не стану. Какъ ты смѣлъ, говоритъ, мошенникъ этакой, взятку мнѣ давать? Да за это, говоритъ, въ Сибирь можешь угодить, коли я захочу». Швырнетъ благодарность-то, обругаетъ, иной разъ поколотятъ. А въ билетѣ пропишетъ, что выдалъ его не на Евдокѣю, а на Крещение, либо на Спиридона Поворота ²⁾. Мужикъ, коли не былъ ученъ, сдуру-то, пожалуй, обра-

¹⁾ Первое марта.

²⁾ Двѣнадцатое декабря.

Печерскій. Разсказы.

дуются, что дешево выправилъ билетъ, да на радостяхъ за топоръ — и въ лѣсъ. И только-что успѣтъ онъ свалить деревья, что въ билетѣ прописаны, Петръ Егорычъ передъ нимъ, ровно изъ земли выросъ. Вспоротъ приказетъ, веревками руки-ноги скрутитъ, и велитъ полѣсовнымъ въ городъ его везти, — рубилъ-де не въ урочное время. Потому видишь ты, родименькій, съ Евдокѣина-то дня рубѣй лѣсу запретъ, дѣй-того что тутъ въ соку онъ бываетъ. Ну, ладно, хорошо. — Наругается досыта, ружье на мужика наставитъ, говоритъ: «убью, и отвѣчать не буду: чорту баранъ готовъ ободранъ. Давай пятьдесятъ цѣлковыхъ, не то по суду больше возмуть». Есть у мужика деньги, дастъ, нѣтъ — подѣ судъ его. — Тамъ и распоясывайся какъ знаешь, да еще въ тюрьмѣ насидишься.

Попался этакъ ему мой внучекъ, деревни Жужелки крестьянинъ, Василій Блинныевъ. — Моя-то дочка, видишь ты, въ Жужелку выдана: такъ Васька-то внучкомъ мнѣ и приходится. Затребовалъ съ него Петръ Егорычъ шесть золотухъ; тотъ заупрямился, не далъ. Онъ возьми да дѣло-то и затяни за Евдокѣю, на Сорокѣ мучениковъ ¹⁾ билетъ-отъ выдалъ, а прописалъ, что выданъ за день до Рождества. Васютка, дѣломъ не волоча, въ лѣсъ: свалилъ пятьдесятъ никакъ деревъ, что въ билетѣ прописаны, да только-что свалилъ, Петръ Егорычъ и шастъ на то самое мѣсто. Поругалъ, поколотилъ, убить погрозился, пятьдесятъ цѣлковыхъ спросилъ. Васька не далъ: онъ его въ городъ. Что жъ ты думаешь, родимый? Оцѣнили каждое бревно, по росписанію, въ два цѣлковыхъ, да съ Васютки по суду семьсотъ рублей на монету безъ лажу и взяли. Вдвое, вишь, по закону взысканье-то полагается. — Что

¹⁾. Девятое марта.

станешь дѣлать? Мужикъ былъ справный, по всей волости немного такихъ было, теперь въ раззоръ раззорили его. Пять лошадей держалъ, полная чаша, а теперь ровно бобыль какой, и коровенки-то ребятишкамъ на молоко даже нѣтъ. И въ палату ходили, къ губернатору: вездѣ сказали, что дѣло сдѣлано, какъ быть ему слѣдуетъ.

Ужъ бранилъ же я Ваську, и клюкой побилъ. «Зачѣмъ, говорю, песъ ты этакой, не убоготворилъ лѣснаго шестью золотухами, зачѣмъ опять, говорю, не далъ ты ему пятидесяти цѣлковыхъ, какъ онъ въ лѣсу тебя накрылъ?»... Да что толковать? стараго не воротить. Да, родименькой, супротивъ вѣтру не подуешь... Вотъ за Васькино упрямство и покаралъ его Господь. И самъ-отъ разорился, и ребятишкамъ по міру придется идти.

Да, родименькій, ужъ оно такъ и слѣдуетъ. На то и порядки уставлены, чтобы ихъ исполнять. Вѣдь они для насъ же, глупыхъ, начальствомъ ставятся, безъ порядковъ како ужъ жить? А кто супротивъ порядковъ пойдетъ, тотъ отвѣчай и спиной, и мошной. Это ужъ такъ слѣдуетъ. Вотъ и внучку такія же рѣчи я баялъ, да ужъ нечего дѣлать.— Ну, какъ ему можно было согрubitъ передъ Петромъ Егорычемъ? Вѣдь лѣсной — начальство, а по нашимъ мѣстамъ начальство-то самое первое, для того что лѣсомъ только и дышимъ. А передъ начальствомъ имѣй голову наклонну, а сердце покорно. Начальства должно во всемъ слушаться, и велѣно за него Бога молить. Какъ же можно было ему огорчать Петра Егорыча? И ближній человѣкъ, и болѣзнь утробы моей, а надо правду говорить. Что въ самомъ дѣлѣ?

И какой еще чудной Васютка-то! Чему скорбить! «Мнѣ, говорить, не то обидно, что меня ободрали да нищимъ пустили, а то, что судили меня съ Прошкой Малыгинымъ: — ему особенны права дали, а меня разо-

рили.» А Прощка Малыгинъ, родименькій, ихней же деревни мужиченка есть — воръ отъявленный — давно ему мѣсто въ Сибири аль въ «рестанской» ротѣ, да все только въ подозрѣніи остается. Спервоначалу-то и онъ былъ справный мужикъ, да хмѣлемъ зашибся, ну, а зеленó на пагубу дано, къ добру оно не приведетъ. Съязвшался Прощка съ кабацкими сидѣльцами, пропиль что было у него, сталъ изъ дому таскать, да старикъ отецъ еще живъ, приостановилъ. Связался Прощка съ ворами да съ бѣглыми солдатами, и пошелъ за добромъ черезъ заборъ ходить да на большой дорогѣ у тарантасовъ чемоданы рѣзати. Маялись съ нимъ, маялись жуфельски мужики — однавожь поймали съ полицнымъ. Судъ наѣхалъ — временное, значить, отдѣленіе. Проживало въ деревнѣ недѣли двѣ. Дорого обошлось жуфельскимъ Прощкино дѣло!... Вѣдь кто по суду ни наѣхалъ, всякому припасай и чаю съ сахаромъ, и вина, и всякихъ харчей. Въ двѣ-то недѣли всѣхъ куриць въ Жуфель перерѣзали, что барановъ перекололи, а свиней, гусей и всякой животины не столь переѣли, сколь озорствомъ разбросали.. Да что тутъ говорить — извѣстно дѣло: воръ воруетъ — міръ горюетъ; а воръ попалъ — такъ и міръ пропалъ. У Прощки обыскъ дѣланъ былъ: подъ поломъ много краденаго нашли. Посадили Прощку въ острогъ; сидитъ годъ, сидитъ другой, отѣлся на острожныхъ-то калачахъ — быкъ-быкомъ сталъ. На третій годъ Прощкино дѣло рѣшили. Привели его въ судъ выслушивать рѣшенье, и Васютку моего туда жъ пригнали. Спервоначалу Васьеѣ рѣшенье вычитали: взять съ него семьсотъ на монету, а послѣ того Прощкѣ стали вычитывать. Вычитываютъ Прощкѣ такой судъ: «слѣдовало бы тебя, деревни Жуфельки вора, Прощку Малыгина, за твое великое воровство послать на житье въ дальны губерніи, да по статьѣ

закона замѣна выходить, и по этой статьѣ слѣдуетъ тебя, Прошку, въ «рестанску» роту на полтора года. А какъ-де въ нашей губерніи «рестанской» роты покамѣстъ еще не завели, такъ по этому самому случаю тебѣ, Прошкѣ, по другой статьѣ друга замѣна выходить: сидѣть тебѣ, вору, въ рабочемъ домѣ два годатри мѣсяца. А какъ въ рабочемъ домѣ и безъ тебя, вора Прошки, много сидѣльцевъ и посадить тебя, мошенника, некуда, такъ по этому случаю выходить тебѣ по третьей статьѣ третья замѣна: велѣно тебѣ, Прошкѣ, дать восемьдесятъ пять розогъ при полиціи». Прочитавши такой судъ, судья спросилъ Прошку: «доволенъ ли, говоритъ, рѣшеньемъ?» А Прошка ногъ подъ собой не слышитъ: радъ-радешенекъ, что замѣсто дальней губерніи спиной отвѣтить можетъ. Поклонился судѣ въ ноги: «много, говоритъ, доволенъ вами, по гробъ жизни, говоритъ, не забуду вашей милости.» А судья ему: «погоди, говоритъ, вѣдь тебѣ, вору грабителю, еще особенны права будутъ». Прошка призадумался. «Что жъ думаетъ. — спину-ль вдругорядъ стануть драть, въ острогѣ ль еще сидѣть доведется, али деньги потребуются?...» А судья ему: «перво дѣло, говоритъ: — не бываетъ тебѣ сиротскимъ опекуномъ; второ дѣло: не будутъ тебя въ свидѣтели брать; третье дѣло: не стануть на мірской сходѣ пускать; четвертое, говоритъ, дѣло: — ни въ головы, ни въ старшины, ни даже въ сотскіе аль въ десятскіе не стануть тебя выбирать во всю твою жизнь». Повалился Прошка въ ноги, слезами заливаётся: «Отцы мои родные, говоритъ, благодѣтели вы мои, ужъ коли такія есть до меня ваши милости, нельзя ли приписать, чтобъ и подвѣдъ-то съ меня не брали?...» Однакожь подводами Прошку не помиловали, гоняетъ очередь съ другими наряду.

Вотъ на это на самое и обижается Васютка: «Какъ же, говоритъ, это такъ? По Прошкину дѣлу—воръ Про-

шка; а по моему дѣлу — воръ не я. Какъ же съ меня семьсотъ цѣлковыхъ взяли, а ему правá дали, и сталъ онъ теперь счастливъ на всю свою жизнь?» Я говорю: «ты, Вася, молчи, на то порядокъ, и всякому свое счастье, а надо всѣми Богъ. И ты, говорю, Бога не гнѣви:—лѣснаго почитай, супротивничать не моги, а кому какое счастье Господь на судъ посылаетъ: не тебѣ, сиволапому, о томъ разсуждать. Какъ ты себѣ ни мудри, а Богъ надъ нами, и супротивъ начальниковъ ходить не велѣно. А такая супротивность, говорю, какъ твоя передъ Петромъ Егорычемъ, по всему хуже Прошеина воровства»...

Въ это время послышался колокольчикъ. Тарантасъ подѣхалъ къ мельницѣ, и я простился съ дѣдушкой Поликарпомъ.

— А не можешь ли ты, родименькій, кулижки-то намъ выхлопотать? проговорилъ онъ, когда я сѣлся въ тарантасъ.

— Эхъ, ты!... Еще съ кулигами тутъ! А ты знай ковырай свои лапотки—да языкъ-то не больно распуцай, молвилъ ямщикъ. — Еще кулиги захотѣлъ!... Какія ужъ тутъ кулиги! Вѣдь что ли, ваше высокородіе?

— Поѣзжай. Прощай, дѣдушка.

И лихой ямщикъ помчалъ по гладкой дорогѣ. Встрѣчались мужики съ бочками смолы, съ ведрами, кадлушками, корытами и другимъ лѣснымъ издѣльемъ. Они торопливо сворачивали съ дороги и, издали снявъ шапки, низко кланялись. Ждали, что и я потребую издѣльнаго билета.

МЕДВѢЖІЙ УГОЛЬ.

МЕДВѢЖІЙ УГОЛЬ.

Въ Зимогорской губерніи есть уѣздный городъ Чубаровъ—глушь страшная.

Тому городу другаго имени нѣтъ, какъ Медвѣжій Уголь.

Что за дорога туда! Ровная, гладкая — ни горки, ни косогора, ни ѣздовочка, — скатерть-скатертью. Мѣста сыроваты, но грунтъ хрящевикъ: цѣло лѣто ливня лей, грязи́ей не будетъ.

Не перероютъ чубаровску дорогу водоройны, не наплыветъ на нее съ боковъ текучей грязи и всякой мерзости, и въ рабочую пору разсылный не выгонитъ на нее мужика, съ лопатой на плечѣ да съ краюхой хлѣба въ пѣстерѣ, верстъ за двадцать отъ дому — чинить путь-дорогу ради благополучнаго проѣзда его превосходительства господина губернатора.

Благодарятъ Создателя мужики чубаровскіе, не больно обидна по ихнимъ мѣстамъ повинность дорожная. Зато скорбятъ, плачутся и Богу жалуются тѣ, кому судьба даровала жребій заправлять натуральными повинностями. Съ какою завистью, съ какой затаенной злобой смотритъ исправникъ чубаровскій на уѣзды сосѣдніе! Тамъ и глина размывистая, и горы съ ѣздовками, и топи, и гати — и заготовка фашишника!.. — Не столь попъ великому посту да богатому покойнику радъ, сколько рады въ тѣхъ уѣздахъ исправ-

ники октябрю мѣсяцу, когда росписаніе дорожныхъ участковъ составляется. А въ Чубаровѣ, въ этомъ «чортовомъ болотѣ», не то что отъ росписанія, отъ самаго даже развода участковъ никакой поживы нѣтъ. «Плохой уѣздъ, алтынный уѣздъ!...» говорятъ про него и въ губернскомъ правленіи, и въ губернаторской канцеляріи.

Пытался исправникъ чубаровскій, Иванъ Алексѣичъ Чирковъ, избыть бѣду неизбывную, пытался исправить— бѣду непоправимую. Вздумалъ дѣло сотворить и самому бы тепленько было, и кого послѣ него дворянство въ исправники выберетъ, помянулъ бы добромъ предмѣстника, панихиду бы отпѣлъ за покой души его. Не удалось...

Получаетъ отъ губернатора предписаніе. Требуется, онъ, «для государственныхъ соображеній, подробнаго и тщательнаго описанія дорогъ почтовыхъ, торговыхъ, проселочныхъ, какъ искусственныхъ, такъ и грунтовыхъ, съ показаніемъ удобствъ и неудобствъ оныхъ, какъ въ видахъ административной коммуникаціи, такъ и въ отношеніи къ вящему распространенію мѣстной торговли и промышленности, представивъ притомъ свои соображенія о проложеніи новыхъ болѣе удобныхъ путей сообщеній, въ видахъ общей государственной пользы.»

Иностраннымъ языкамъ Иванъ Алексѣичъ не обучался, потому «административной коммуникаціи» не разумѣлъ, но на «споспѣшествованіи» придумалъ штуку разыграть.

Какъ дважды два доказалъ онъ губернскому начальству, что народъ обѣднѣлъ и промыслы упали, и въ торговлѣ застой оказался, самое даже отечество бѣдствуетъ единственно по той причинѣ, что чубаровская почтовая дорога проложена не тамъ, гдѣ слѣдуетъ быть. Для «вящаго преуспѣнія и споспѣшествованія къ развитію», Иванъ Алексѣичъ придумалъ новую дорогу тамъ проложить, гдѣ самъ лѣшій подумавши ходитъ. Зато, сколько

мостовъ, сколько гатей!... Всѣ эти топи, мочажины, болота, теперь лежація впустѣ, не принося никому пользы, уже представлялись ему богатой оброчной статьей въ видѣ гатей, ежегодно перестилаемыхъ, мостовъ, каждый годъ перекрашиваемыхъ. Во снѣ и наяву мерещится ему, какъ изъ вонючихъ, никуда негодныхъ болотъ прыгаютъ въ карманъ золотенькіе, и сыплются пачки бумажекъ радужныхъ. Прекраснымъ благодатнымъ мѣсяцемъ сталъ для него холодный, дождливый октябрь!

Жидъ Мессію или концессию на желѣзную дорогу такъ ждетъ, какъ ожидалъ Иванъ Алексѣичъ разрѣшенія на свое представленіе. И вдругъ: «будетъ въ виду вашъ проектъ при общемъ соображеніи объ устройствѣ грунтовыхъ дорогъ въ государствѣ».

Ждетъ Иванъ Алексѣичъ общаго соображенія, ждетъ, ждетъ, и вдругъ умираетъ, запарившись въ банѣ: русскій человѣкъ, по-русски и померъ. Былъ оплаканъ семьей, секретаремъ и становыми. Почесала въ затылкѣ губернаторская канцелярія, сморщилось губернское правленіе; его превосходительство при всѣхъ изволилъ сказать: «Жаль — исправникъ былъ расторопный».

И приказалъ въ губернскихъ вѣдомостяхъ некрологъ его напечатать.

Прошло не мало времени и послѣ блаженной кончины Ивана Алексѣича, разрѣшенія на представленіе не было. До сихъ поръ благодарятъ Создателя мужики чубаровскіе, что не ѡбидна имъ повинность дорожная, до сихъ поръ скорбятъ, плачутся, Богу жалуются тѣ, кто вѣдаетъ въ Чубаровскомъ уѣздѣ натуральными повинностями.

Хороша дорога въ Чубаровъ, — скатерть-скатертью.

Подъ самымъ городомъ вдругъ стало меня немилосердно поталкивать. Чѣмъ дальше, тѣмъ хуже. Заметало тарантасъ во всѣ стороны, того и гляди—на бокъ. Во весь опоръ скакавшія лошади шагомъ пошли.

— Что за дорога? вскрикнулъ я.

— Городская, отвѣчалъ ямщикъ.

Такіе плоды преуспѣнія городского хозяйства обыкновенны. Съ терпѣньемъ Іова ждалъ я минуты, когда подъѣду къ длинному, версты на полторы черезъ болото построенному мосту. Другой конецъ его упирался въ главную и единственную городскую улицу. Издали бѣлѣлась и свѣтлѣлась широкая гладь мостового полотна. «Ну, думаю, отдохнуть мои косточки».

Не тутъ-то было: ямщикъ своротилъ направо, и потащился топкимъ болотомъ; колеса вязли по ступицу, добрые кони едва духъ переводили.

— Куда ты, куда ты? крикнулъ я ямщику.— Ступай по мосту.

— По мосту?

— Ну, да, по мосту.

— Заказанъ. Вонъ и шлахбанъ спущенъ.

Въ самомъ дѣлѣ, возлѣ развалившейся будки былъ спущенъ ветхій шлахбаумъ. Кромѣ воронъ, сидѣвшихъ на перилахъ, да квакавшихъ въ болотѣ лягушекъ, ничего живаго вокругъ не было, но никто не дерзалъ, поднавъ шлахбаумъ, проѣхать заповѣднымъ мостомъ. Столь свято исполняются въ Зимогорской губерніи начальственные распоряженія.— Губернія благонадежная...

— Отчего жъ по мосту нѣтъ ѣзды?

— Заказано. Казенный сталъ, берегутъ, отвѣтилъ ямщикъ.

— Зачѣмъ же его строили?

— А губернаторъ наѣдетъ, либо изъ наибольшихъ кто.

— Давно ль такіе порядки?

— Не такъ чтобъ давно, отвѣчалъ ямщикъ, помахивая кнутомъ надъ лошадьми...— Эхъ вы, голубчики, ну, ну, ну—у!... Съ самыхъ съ тѣхъ поръ, какъ мосты да дороги на земство поворотили, и зачали ими алхитехтуры заправлять... Эхъ, вы, ну, ну!... А прежде дорога и здѣсь была знатная, и по мосту ѣздили всѣ невозбранно... Ну, ну, соколики!

— Отчего жъ запретили по мосту ѣздить?

— Кто ихъ знать?... Такіе порядки!... Эхъ, ну, ну, вы!... Кормиться тоже и алхитехтурамъ надо, безъ того нельзя!... Эхъ вы, матушки, вывози, вывози, поштенныя!... Ёсть, пить всякому надо... Только нашему брату совсѣмъ бѣда!... Глядь-ва, кака маята конямъ-то!... Ну, тащи, тащи, соколики!... А прежде алхитехтуровъ да анженеровъ слыхомъ не слыхать!... Эхъ, ну, ну, вы!

Мучимые комарами, что толелись надъ болотомъ, съ полчаса промаялись мы. Проѣзжая мимо моста съ тоненькими, старенькими стойками, понялъ я расчетъ строителей. Сдѣлавшись съ подлежащей властью, то ль еще творять они по глухимъ мѣстамъ, такія ль еще бѣды строятъ народу Божьему! А все больше Поляки да Нѣмцы.

Въ «Медвѣжьемъ Углу» гостинницъ нѣтъ. Привезли меня въ Абрамовнѣ, что содержитъ единственный въ городѣ постоянный дворъ. По счастью, нашлась порожняя горенка; тамъ кой-какъ я расположился. Объ удобствахъ рѣчи не было, и за то слава Богу, что комнатка нашлась.

Не успѣлъ оглядѣться, какъ услышалъ сильнѣйшій храпъ. Кто-то рядомъ отдыхалъ въ часъ полуденный. Богатырскіе звуки неслись изъ сосѣдней горенки, куда вела растворчатая, сильно покоробленная и не очень плотно затво-

рванная дверь. Она была заперта чернымъ, рѣпчатымъ замкомъ ¹⁾ на двухъ вѣльцахъ. Вошла здоровенная дѣвка въ засаленномъ, темносинемъ, китаечномъ сарафанѣ, пестромъ ситцевомъ передникѣ и сильно поношенномъ шелковомъ платкѣ на головѣ.

— Самоварчикъ вашей милости не поставить ли?

— Какой теперъ самоваръ!....Кто это у васъ такъ похрапываетъ?

— А Гаврила Матвѣичъ, отирая передникомъ потное лицо, отвѣчала работница Абрамовны.

— Какой Гаврила Матвѣичъ?

— А Уткинъ Гаврила Матвѣичъ, подрядчикъ,—отвѣчала работница, удивленная моимъ незнаньемъ такой знаменитости.— Острогъ строить, наѣзжаетъ за работой приглядѣть. Завсегда у Федосьи Абрамовны становится.

— Купецъ? спросилъ я.

— Какъ вашей милости сказать? Не больно разумѣю я отвѣтить-то.... Купецъ, надо быть, молвила работница. Пишется деревни Бѣлавки удѣльнымъ крестьяниномъ, вотъ недалеко отсель деревня Бѣлавка есть. Тамъ и домъ у него, и крупчатка о четырехъ поставахъ, фабрику недавно полотняную поставилъ въ Бѣлавкѣ-то. Самъ-отъ больше въ губерніи ²⁾ проживаетъ. По всему какъ есть купецъ. По свидѣтельству что ль какъ-то торгуетъ, не умѣю сказать доподлинно: наше дѣло женское—до всякой точности не доходимъ. Да вы дальній, видно?

— Дальній.

— То-то.

— А почему ты узнала, что дальній я?

¹⁾ Черный, т.-е. желѣзный висячій замокъ. Рѣпчатый—наподобіе сплюснутаго шара, рѣпой.

²⁾ Въ губернскомъ городѣ.

— А Гаврилы-то Матвѣича не знаете. Его всѣ знаютъ. И начальство, и всѣ большіе господа.

— Вотъ какъ!

— Да-а.... Гаврилу Матвѣича всѣ знаютъ. Такъ самоварчикъ не потребуется?

— Нѣтъ, не потребуется.

— Ну, ладно.

Ушла. А храпъ Гаврилы Матвѣича громче да громче раздавался по моему «покойчику». Силъ не стало, и хоть жаръ еще не свалилъ, хоть и усталъ я съ дороги, но—не слышать бы этого храпу, пошелъ смотрѣть на Медвѣжій Уголь.

Городъ какъ городъ. Каменный соборъ на грязной, немощеной базарной площади, нескончаемые заборы, незатѣйливой наружности бревенчатые домики, дырявые тротуары, заваленныя всякой гадостью и травой поросшія улицы, каменные присутственныя мѣста, развалившаяся больница, ветхій навѣсъ съ пустыми разохшимися бочками, съ испорченными пожарными трубами, — словомъ, то, что каждый видалъ не въ одномъ десяткѣ русскихъ городовъ. Не по торговымъ иль промышленнымъ надобностямъ возникали наши Чубаровы... При учрежденіи губерній тѣнули пальцемъ на картѣ, сказали: «быть городу», и сталъ городъ. Оттого тѣмъ городамъ и чуждѣ городская жизнь. Сколь бы ни хлопотали о хозяйствѣ «медвѣжьихъ угловъ», какіе бъ ни сочиняли инвентари ихъ имуществъ, какія бъ ни прозводили изслѣдованія, какъ бы затѣйливо ни составляли росписи доходовъ и расходовъ, по силѣ коихъ, безъ разрѣшенія высшаго начальства, лишней метлы купить нельзя, — «медвѣжьихъ углы» на вѣки вѣчные останутся «медвѣжьими углами». Зато сѣла, что на бойкихъ, привольныхъ мѣстахъ построены, запросто, какъ Богъ послалъ—съ каждымъ годомъ богатѣютъ, каменные дома въ тѣхъ

селахъ, что грибы, растутъ, кипятъ торговля, заводятся училища, больницы, даже библіотеки. Иваново, Павлово, Лысково, Кукарка:—сравните съ ними «медвѣжьи углы»... Гдѣ городъ, гдѣ деревня?...

Въ полчаса весь городъ узналъ. Ни единой живой души, ни единого звука, ровно чума прошла, ровно вымеръ Чубаровъ... Спитъ, плотно пообѣдавши, «Медвѣжій Уголь». Изъ города спящаго сномъ временнымъ пошелъ я въ городъ спящихъ непробуднымъ сномъ. Тамъ, среди простыхъ крестовъ и голубцовъ, видѣлись кой-гдѣ каменные памятники да обитые жестью столбики, строенные по правиламъ доморощеннаго зодчества... Читаю надгробныя надписи. Кромѣ изреченій изъ священнаго писанія, встрѣчаются другія.

„Подъ камнемъ симъ лежитъ коллежскій секретарь Котовъ,
„Рожденъ былъ отъ дворянъ, отечеству служить готовъ,
„Отецъ дѣтей невинныхъ и плачущей вдовы супругъ,
„Въ жизнь добродѣтель, онъ умеръ вдругъ,
„Не могли избѣжать той горестной судьбины,
„Чтобъ не вкусить грозящей намъ кончины.“

Вообще надписи длинноваты! Съ надлежащей подробностью означается, за сколько лѣтъ имѣлъ покойникъ безпорочную пряжку, сколько лѣтъ оставалось ему дослужиться до слѣдующаго чина и что подъ судомъ и слѣдствіемъ не находился... Чубаровскіе покойники ранга невысокаго: коллежскіе секретари, титулярные совѣтники; есть маіоръ... Однако, нѣтъ! позвольте—вотъ памятникъ знатнаго человѣка:

„Подъ симъ камнемъ погребено тѣло дѣйствительнаго тайнаго совѣтника, Россійскаго Императорскаго Двора оберъ-камергера, российскихъ орденовъ Святаго Апостола Андрея Первозваннаго, Святаго Благовѣрнаго Князя Александра Невскаго и Святаго Равноапостольнаго Князя Владиміра 1-го класса, прусскаго Чернаго Орла, датскаго Слона и шведскаго Серафимовъ, князя Алексѣя Михайловича (фамилія стерлась).... двороваго его человѣка „Полухта Спиридонова.“

Возвращаясь съ кладбища, пошелъ я къ острогу. Рабочіе выспались и косо брались за работу. Въ ямѣ съ известкой два парня безъ толку болтали весѣлками, работа не спорилась, известка сваривалась въ комья. Къ неумѣлымъ подошелъ крѣпкій, коренастый: невысого роста старикъ. Хотя и стояли іюльскіе жары, на немъ была надѣта поношенная, врытая синей крапеной шубенка, а на головѣ мѣховой малахай.

— Эхъ, вы, горе-ребята!... — молвилъ онъ, подойдя къ известковой ямѣ. — Замѣсить-то, пострѣлы, путемъ не умѣете!... А туда жъ каменьщики!... Эхъ, вы!... Дай-ка весѣлко-то.

И взявши весѣлко, старикъ такъ пошелъ работатъ, что молодому бы въ-пору.

— Эхъ, ты — яма, матушка!... — онъ приговаривалъ. — Хозяйина дожидалась!.. Смотри, горе-ребята, гляди какъ мѣсить слѣдуетъ. Вотъ какъ, вотъ какъ!.. А вы что?... Кисельники!.. Гляди-ка ты!... — Вотъ какъ, вотъ какъ слѣдуетъ!.. А тоже каменьщики!... Эхъ вы, горе!...

Да сразу и замѣсилъ.

— Ванюха!... Для че перекладину-то мало запускаешь?... Какая тутъ прочность будетъ?... Не на одинъ годъ строится... Глубже пуцай.

— Алхитехтуръ такъ велѣлъ, Гаврила Матвѣичъ, отозвался подмастерье, прилаживая перекладину надъ воротами.

— Знаетъ плѣшиваго бѣса твой алхитехтуръ!... А лѣтъ черезъ пять стѣна трещину дастъ, тогда твоего алхитехтура ищи да свищи, а мнѣ отъ начальства остуда... Надо, Ванюха, всяко дѣло дѣлать по-божески... Пуцай, пуцай-ка ты ее глубже. Пуцай!...

И вездѣ, во всѣхъ мелочахъ зоркій глазъ Гаврилы Матвѣича мѣтко слѣдилъ за работой. Во всѣхъ его распоряженьяхъ виденъ былъ не такой подрядчикъ, къ каковымъ

всѣ привыкли. Не хотѣлось ему строить казеннаго дома на живую нитку: начальству въ угоду, архитектору на подмогу, себѣ на разживу, а развалится послѣ свидѣтельства, чортъ съ нимъ: — слабый грунтъ, значить, вышелъ — вина не моя, была воля Божія.

Заговорилъ я съ Гаврилой Матвѣичемъ. Сначала старикъ не больно распоясывался, кинетъ нѣхотя словечко, и пойдетъ покрикивать на Ванекъ да на Гришекъ. Но когда я назвалъ себя старику, онъ спросилъ меня:

— Не про тебя ль, баринушка, слыхалъ я отъ нашего управляющаго, отъ Ивана Владимірыча?

— Можетъ статься. Знакомъ съ нимъ.

— Такъ и есть... Слыхалъ про тебя. Знаю, что Ивану Владимірычу ты пріятель, значить, человекъ хорошій, худаго человека онъ не похвалить.

— Спасибо на добромъ словѣ, Гаврила Матвѣичъ. Стало быть, довольны вы Иваномъ Владимірычемъ?

— Неча и говорить!... На начальство-то не похожъ, вотъ каковъ человекъ!.. Одно слово: человекъ-душа. И всяку крестьянску нужду знаетъ, ровно родился въ банѣ, выросъ на полатахъ. И говорить-то по нашему, по-русски то-есть, не какъ иные господа, что ихней рѣчи и въ толкъ не возьмешь. Всяко крестьянско дѣло знаетъ, а законъ даетъ по правдѣ да по любви. — Такой баринъ, что живи за нимъ, что за каменной стѣной, самъ только будь хорошъ да поступай поправдѣ да по любви.

— Подрадами занимаешься?...—спросилъ я.

— И подрадами маленько займуюсь, отвѣтилъ Гаврила Матвѣичъ. — Да пропадай они, эти подрады!... Бѣдовое, баринъ, дѣло,

— А что?

— Да что!.. Обиды много, толку мало... Извѣстно — дѣло казенное, каждому желательно руки погрѣть. И казну

забываютъ, и нашего брата не забываютъ. Не приведи Господи!

— Кто жь?

— У кого глаза во лбу да руки на плечахъ. Лѣнивый только обиды тебѣ не сдѣлаетъ... Слышь ты, Митрей! Клади кирпичъ-отъ ровнѣй. Гдѣ у ты глаза-те? Эхъ ты, голова съ мозгомъ!

— А вѣдь мы съ тобой, Гаврила Матвѣичъ, сосѣди.

— Какъ такъ?

— Вѣдь ты на постояломъ?

— У Абрамовны.

— И я тамъ же. Рядомъ съ тобой.

— Ой-ли?

— Да.

— Такъ пойдемъ вмѣстѣ ко дворамъ-то. По пути будетъ.

— Пойдемъ, Гаврила Матвѣичъ.



Весь вечеръ просидѣлъ я со старикомъ. Сначала былъ онъ не очень разговорчивъ: хвалилъ Ивана Владимірыча, толковалъ про обиды, а въ чемъ тѣ обиды—не сказывалъ. Подконецъ разговорился.

— Казенное дѣло, сказалъ онъ,— оттого дорого, что всякъ человѣкъ глядитъ на казну, что на свою кошну: лапу запускаетъ въ нее по-хозяйски. Казной корытоваться непримѣръ способнѣй, чѣмъ взятки брать... Съ кого взялъ, тотъ пожалуй «караулъ» закричитъ, а у матушки казны нѣтъ языка.... За то ее и грабятъ.

Завели счеты да повѣрки, думаютъ руки связать!... Какъ не такъ! Съ тѣми счетами казну грабить сподручнѣе, потому что по счетамъ концы схоронить ловчѣй, а на повѣрку не ангеловъ Божьихъ посылаютъ... Какой че-

ловѣкъ рыло отворотить, когда ему въ зубы калачикъ суютъ?... А?

Постройку взять. Этой частью сѣзмальства займусь. Мальчишкой кирпичъ на лѣсѣ таскалъ, потомъ въ артели быть, а по времени, Богъ благословилъ, хозяиномъ сталъ.... Эту статью знаю вдосталь. Въ прежни годы, баринушка, по этой части совѣсти было больше. Нынче не то. Въ прежни-то годы на всю губернію алхитектуръ одинъ, а нынче гляди-ка чтѣ ихъ развелось. А прїѣзжаетъ все голь и вся-то эта голь хочетъ скорѣй наживы. Анжинеръ хуже. Для того, что анжинеръ форсистѣе. Онъ, видишь ты, съ аполетами — значить, ему денегъ больше надо.

Смѣту составлять. Городничій аль полицмейстеръ заодно. Даютъ справочны цѣны въпятиро выше базарныхъ, а урочное положеніе—дѣло широкое: карасей ловить можно. Нарочно такъ и писано.... Такую сострапаютъ смѣту, что на смѣтны-то деньги, замѣсто одного дома, два либо три выстроишь. Послѣ торговъ, когда желающіе обозначатся, анжинеръ и шлетъ за тобой, говорить:» Ты, бороды, помни, что десять процентовъ мои: это ужъ такъ вездѣ по казеннымъ дѣламъ, да окромѣ тѣхъ десяти казенныхъ» давай еще десять процентовъ «строительныхъ». Не дашь, въ гробъ законопачу, залого твои пропадутъ». — Какъ же, ваше благородіе? молвишь: — не сходно вѣдь? Сходно, говоритъ, будетъ, чортъ ты этакой, для того, что сверхсмѣтны работы тебѣ предоставляю. Исполнять ихъ тебѣ не придется, а деньги, чтѣ получимъ за нихъ, пополамъ. Своей половиной ты все наверстаешь. А контр-аятъ подпишешь, пять процентовъ тотчасъ неси, такъ дѣло будетъ вѣрнѣй». Какъ быть? Подрядчикъ завсегда у него въ рукахъ: можетъ онъ тебя на первомъ же дѣлѣ, на свидѣтельствѣ матеріаловъ, такъ прижать, что жизни не будешь радъ. Въ раззоръ раззорить — самъ-отъ чистъ вый-

детъ, еще крестъ за сохраненіе казеннаго интереса возьметъ, а ты со своимъ усердіемъ да дурацкой простотой купайся. Поэтому хошь на торгахъ и сносишь цѣну, да сносишь такъ, чтобъ двадцать алхитехтурскихъ процентовъ не изъ своего кошельа вынимать, да чтобы не изъ своихъ денегъ и полицмейстеру заплатить, потому что и онъ притѣсненіе можетъ сдѣлать, потому и должонъ ты его задарить.

— Полицмейстера-то зачѣмъ же задаривать, Гаврила Матвѣичъ? Не его дѣло.

— Подрачивъ завсегда въ его рукахъ: всякій часъ можетъ онъ ему пакости сдѣлать. Рабочихъ со стройки согнать: «табельный, дескать, день сегодня». Табеля-то хоть и нѣтъ, да ужъ это его дѣло: какую табель захочетъ, такую и нагонитъ. Перо да бумага въ его рукахъ, а мы люди хоть мятые, а дѣло-то наше все-таки темное. И строительна комиссія для чего нибудь да сдѣлана... И въ ней люди пить, ѣсть хотятъ. Не удовлетворишь, изобидятъ за всяко просто, да такъ, что дома не скажешься. Поэтому на торгахъ и комиссію на памяти удержишь, чтобъ и ей не изъ своего кошельа вынимать. Да еще обѣды: при закладкѣ обѣдъ, при освященіи другой. Тутъ все начальство зови, губернаторскаго повара найми — безъ того нельзя: другого не смѣй нанимать. Полицмейстеръ съ генеральской дворней завсегда другъ-пріятель, споконъ вѣку ведется такъ. Потому и зови повара губернаторскаго, а торговаться не смѣй, не то полицмейстеръ такую тебѣ табель загнетъ, что послѣ не вспомнишься.... Обѣдъ же для такого случаю нуженъ зазвонистый, со всякими, значить, фруктами, съ бакалеями и со всѣмъ какъ оно есть.... А благословясь за работу, алхитехтуръ на стройку къ тебѣ пожалуетъ. Пора лѣтняя, жарко, упарится. «Мѡчи, говоритъ, нѣтъ; дай холодненькаго». А «холодненькое» означаетъ шампанское, подавай бутылку въ три цѣлковыхъ. Наведетъ пріате-

лей, и подлюжиной не управишься. Квартальному надо почестъ сдѣлать, хожалаго уважить, будочниковъ обдарить. Счетець-отъ и выйдетъ кругленькій; оттого на торгахъ и нельзя сносить. Какъ ни вертись, тридцать пять процентовъ безпримѣрно по рукамъ разойдется, себѣ барыша хоть двадцать процентовъ надо, вотъ тебѣ и пятьдесятъ пять. А кому на шею?... Казнѣ.

Про стройку тебѣ говорю, а еще лучше—земляны работы: землю то-есть надо гдѣ скрыть, аль набережную сдѣлать, откосъ, либо дамбу. Урочно-то положеніе, сказать я тебѣ, дѣло широкое, торговъ на большую земляну работу въ обрѣзъ сдѣлать невозможно, для того что съвозъ землю не видно, на какой грунтъ попадешь: единому Богу извѣстно. А копать песчаный, примѣромъ, грунтъ — одна цѣна, глину—другая, каменистый во много разъ дороже. Попадешь на песчаный, а приставленный анжинеръ отписываетъ да деньги изъ казны беретъ за каменистый. Оно, значить, и можно деревеньку купить. Повѣрять приплютѣ ихняго же брата: въ одномъ мѣстѣ учились, одноклассники—всѣ на одномъ стоятъ. Напоить, накормить наѣзжаго, барашка въ бумажкѣ сунетъ товарищу, песокъ за камень пойдетъ. Да какъ и повѣрять-то? Въ одномъ мѣстѣ землю вынуть, въ другомъ ее насыпать—не копать же стать сызнава. А что столбиками-то землю ради повѣрки оставляютъ, такъ не хитрое дѣло лицевой столбикъ изъ какого хошь грунта сдѣлать. На это ихняго брата только и взять... Дотошный народъ, ученый народъ.

А гордіаны какіе, не приведи Господи!... Самый то-есть неподходящій народъ... Былъ у меня лѣтось подрядъ въ Зимогорскѣ, откосъ на Покровскомъ сѣздѣ дѣлали, работами распоряжался Николай Өомичъ, Линевистъ прозывается: не то изъ Нѣмцевъ, не то изъ крещеныхъ Жидовъ, хорошенько сказать не умѣю... Надо быть, изъ выкре-

стовъ... Вотъ ужъ человѣчекъ!.. Такъ и норовитъ оборвать тебя всячески... Слова другаго отъ него не услышишь, какъ «мошенникъ», да «борода», да «каналья». Самъ взятку принимаетъ, а мошенникомъ обзываетъ тебя... Да то и дѣло твердить: «стану я подлостями заниматься? Я вѣдь, говорить, не чернильная душа.... Насъ, говорить, аполетами да усами пожаловали, значить, мундира марать нельзя». Да!... У мундира-то языка нѣтъ, а то бы на весь народъ закричалъ: «шили меня, братцы, на крадены денежки!»...

Ославлены становые съ квартальными, а тѣ непримѣръ добрей, потому что, хоть бы Николай Өомичъ — и казну грабить, и отъ взятки не прочь, только воруетъ да взятку беретъ съ гордостью; и обругаетъ тебя бравши, а подъ пьяну руку и поколотить. А тѣ люди простые, поступаютъ по-христіански: сорвать сорвутъ, да и доброе слово молвятъ, у тебя на душѣ-то и полегче.

Стоить, баринушка, посмотрѣть на Николая Өомича, оченно стоитъ... Посмотри, какъ будешь въ Зимогорскѣ. Ходить гоголемъ, смотреть звѣремъ, воруетъ какъ волкъ, передъ наибольшимъ лебезить ровно Полякъ. — А ужъ вреть какъ, обманывается!... Ни на грошъ въ томъ человѣкъ правды нѣтъ. Въ самомъ дѣлѣ посмотри, стоитъ поглядѣть: забавный, право, забавный.

А на выдумки хитрый! Взялъ я однова подрядъ: на шоссейну дорогу камень для ремонту выставить, разбить его, значить, и въ сажѣнки уесть. Двадцать тысячъ подрядился выставить, на цѣлую, значить, дистанцію, а дистанціей заправлялъ Николай Өомичъ. Шлетъ за мной Юську, солдата Жиденка, что на вѣстяхъ при немъ былъ. Прихожу. Лежитъ мой Николай Өомичъ на диванѣ, курить цыгарку, кофей распиваетъ: только завидѣлъ меня, накинулъ аки бѣсъ и почалъ ругать-ругательски, за что про што — не знаю.

— Ты, говоритъ, чортова борода, подрадь-отъ на камень взялъ?

— Точно такъ, говорю, ваше благородіе, мы-съ.

— А знаешь ли, говоритъ, что ты теперь весь въ моихъ рукахъ? Захочу — по-міру пуцу, — на весь вѣкъ несчастнымъ сдѣлаю. Въ Сибирь могу сослать!.. Въ острогъ на-сидишься!... Руду будешь копать, каналья ты этакая, спину на площади вздуютъ.

А самъ подѣвзжаетъ. Такъ и норовитъ въ рожу, и кулаки наготовѣ.

Это онъ, знаешь, страху напускаетъ. Такая ужъ у нихъ поведенція.

А я:

— Да ты, говорю, ваше благородіе, лучше скажи, что требуется... Для че по пустякамъ кричать!.. Кровь портишь. Печенка неравно лопнетъ...

— А того мнѣ требуется, — оретъ, — чтобъ зналъ ты, мошенникъ этакой, что я твое начальство, чтобъ не смѣлъ ты, поганая бестія, изъ воли моей выходить ни на капельку.

— Какъ же, говорю, можно нашему брату изъ воли начальства выходить? Всякое начальство отъ Бога, это мы знаемъ.

— То-то и есть, — говоритъ. — Ты у меня, чортова борода, гляди въ оба да ходи по стрункѣ, не то въ бараній рогъ согну. Сколько, распротоканалья ты этакая, камню поставить взялся?

— Двадцать тысячъ, ваше благородіе.

— Двѣ тысячи ставъ, а за восемнадцать деньги мнѣ подай.

— Какъ же такъ, говорю, ваше благородіе? Приемка вѣдь будетъ.

— Самъ, говоритъ, принимать стану. А умничать бу-

дешь, по міру, каналью, пущу да въ придачу двѣ шкуры спущу.

Что станешь дѣлать? Человѣкъ хоша небольшой, а управы надъ нимъ нѣтъ. Поставилъ двѣ тысячи, разбилъ. Николай Ѡмичъ Жидятамъ саженокъ изъ глины надѣлать велѣлъ да битымъ камнемъ и обложилъ ихъ. Жиды на то взять, обрядить дѣло, иголки не подточить. По времени изъ округа начальство наѣзжаетъ: скачетъ по шоссе сломя голову, само саженки считаетъ. Всѣ налицо. — Говорить начальство Николаю Ѡмичу: «спасибо за хлѣбъ за соль, а шоссе у тебя исправно». Другое начальство скачетъ изъ самаго Питера, тоже саженки считаетъ: всѣ налицо, чинъ Николаю Ѡмичу, крестіе въ петличку. По времени, сталъ онъ глиняны саженки раскидывать, а самъ отписываетъ: на ремонтъ, дескать, камень весь изошелъ. А чтобъ шоссе то не больно портилось, круглый годъ у него полдороги бревнами заложено: чинять, дескать. Только и снимутъ бревна, какъ начальству проѣхать, а обознивовъ въ шею; да еще выпорять, коли вздумаютъ артачиться.... Здѣшній-отъ мостъ видѣлъ?...

— Видѣть-то видѣлъ, а ѣздить не ѣздилъ.

— Заказанъ. Николай же Ѡмичъ заказалъ. Ему была та работа поручена, а подрядъ за мной оставался. Велѣлъ старый мостишка выстрогать, покрасить, да на старыхъ же стойкахъ и поставить. Съ городничимъ поладилъ.... Вотъ теперь третій годъ ни коннаго, ни пѣшаго, опричь начальства, по мосту не пускаютъ. На тотъ годъ думаютъ, слышь, пускать, ради ремонта значить: ну, тогда хоть и провалится кто, ничего: урочный срокъ вышелъ — значить все въ порядкѣ... А по веснѣ можно наводненіе прописать: снесло; дескать, мостъ волей Божіею. Бумага все терпитъ. А послѣ того Николаю же Ѡмичу и новый-отъ мостъ строить дадутъ.

А съ какой работы барышей нельзя получить, на ту Николай Оомичъ и не двинется. — Гори, тони народъ, — ухомъ не поведетъ. Въ здѣшней губерніи городъ Мухинъ есть, стоитъ на горѣ надъ Волгой. Гора — страсть: стоймя стоитъ, а народъ еще съизстари ухитрился налѣпить по ней домишекъ, живетъ въ нихъ, и горя ему мало. Случается, что иной домъ въ Волгу съѣдетъ, да Мухинцамъ это ни почемъ: поохаютъ, повздыхаютъ, да на томъ же мѣстѣ новы дома почнутъ лѣпить. А Мухинъ хоть на Волгѣ, а городъ безъ воды. За водой на Волгу ходить неспособно: гора крута, а родникъ во всемъ городу одинъ. Еще въ стары годы тотъ родникъ обрядили, а по улицѣ, что подъ гору идетъ, деревянну трубу въ землѣ заложили, да ключъ-отъ въ нее и пустили. Чанъ врыли ведеръ ста въ три, вода-то въ него и стекала, и нивогда въ томъ чану не переводилась. И на домашнюю потребу, и на случай Божія насланія, въ пожарное то-есть время, всегда было ея довольно. Такъ и жили Мухинцы лѣтъ сто, коли не больше, попросту безъ затѣй. Мало-по-малу труба засорилась: дѣло не мудреное. Видятъ Мухинцы городску нужду, приговоръ составили, опредѣлили трубу починить и чанъ новый врыть на счетъ обывателей. Сдѣлали смѣту всего-то въ восемь съ полтиной. А хотя, по закону, городское общество и само можетъ такую дешевую постройку дѣлать, только этого сдѣлать невозможно, потому что начальство обижается, а обидѣвшись однимъ, на другомъ наворачиваетъ. Оттого дума обо всякой постройкѣ, хотя-бъ она кусаного гроша не стоила, губернскому правленію рапортуетъ. Такъ и въ Мухинѣ сдѣлали. Въ губернскомъ правленіи ихнюю бумагу прочиталъ регистраторъ, да и то съ-налету. Видитъ, по строительной части, доложили, слушали, приказали: позаслать въ строительную комиссію. Тамъ свой журналъ слушали и

приказали капитану Линквисту, отправясь на мѣсто, освидѣтельствовать происшедшую въ мухинскомъ «городскомъ водопроводѣ» порчу, и представить свои соображенія о лучшемъ устройствѣ того водопровода. Посмотрѣлъ на бумагу Николай Ѳомичъ, да какъ увидалъ, что всей-то благодати на восемь съ полтиной, плюнулъ даже на нее, да еще промолвилъ: «не тому у насъ въ корпусѣ обучали, чтобъ такой дрянью заниматься».

Проходитъ годъ, пріѣзжаетъ въ губернію мухинскій голова. Какъ водится — поклоны да подносы нужнымъ людямъ. Завернулъ и къ Николаю Ѳомичу, Христомъ Богомъ проситъ его дѣломъ о чанѣ поспѣшить: «вода въдъ совсѣмъ не бѣжитъ, ваше благородіе, оборони Господи—пожаръ, до тла сгоримъ». Какъ накинется на него Николай Ѳомичъ! Обругалъ на чемъ свѣтъ стоитъ и потребовалъ триста цѣлковыхъ благодарности. «Помилуйте, говорить голова, въдъ это дѣло плевое, всего-то восемь съ полтиной. Нельзя ль подешевле?» Какъ зарычитъ, какъ затопаетъ Николай Ѳомичъ; насилу голова ноги упиелъ... Еще годъ проходитъ, труба совсѣмъ засорилась, въ чану, какова есть капля воды, и той не стало... Еще годъ прошелъ — по улицѣ вода стала землю пучить, а тутъ почтовый трактъ пролегаетъ. Изрыла вода дорогу такъ, что и способу нѣтъ. До губернатора жалобы отъ проезжающихъ стали доходить, городскаго голову за нерадѣніе отъ службы удалили. Тотъ, извѣстно дѣло, радъ-радехонекъ, для того, что служба торговому человѣку хуже горькой рѣдьки. Сто цѣлковыхъ Николаю Ѳомичу свезъ, думалъ, знаешь, что отъ него это произошло. Тотъ, ничего, взялъ... Еще годъ, другой проходитъ. — Мухинцы безъ воды волкомъ воютъ, а ему наплевать. Сыскались охотники изъ мѣщанъ сами трубу вычистить, въ Сибирь чуть не угодили: такую статью подвели, что еле-

еле откупились. Приѣзжалъ въ Мухинъ и губернаторъ, посмотрѣлъ и сказалъ «надо починить».

Обыскался медвѣдь по близости Мухина. Пали слухи въ губерніи. А Николай Ѳомичъ на медвѣдя охотъ былъ ходить; какъ слышалъ, такъ и поскакалъ «по дѣлу о водопроводѣ». Медвѣдя застрѣлилъ, водосточной трубы въ глаза не видалъ, для того что зима была, а изъ городскихъ доходовъ прогоны взялъ туда и обратно. И медвѣдя въ губернію на городской счетъ въ особыхъ санихъ везъ: ѣхалъ мишка подъ видомъ инструментовъ.

Донесъ Николай Ѳомичъ: такъ и такъ, ѣздилъ въ городъ. Мухинъ «по дѣлу о водопроводѣ», дѣлалъ нивелировку, грунтъ нашелъ слабый, подземными ключами размываемый, рѣкою Волгой подмываемый, совсѣмъ ни на что не способный; потому деньги за сондировку и нивелировку, полтора ста рублей, въ уплату рабочимъ изъ моей собственности удержанные, покорнѣйше прошу возвратить откуда слѣдуетъ, а для благостоянія города Мухина и для безопаснаго и безостановочнаго слѣдованія по большой дорогѣ казенныхъ транспортовъ и арестантовъ, а равно проѣзжающихъ по казенной и частной надобностямъ, необходимо мухинскую гору предварительно укрѣпить и потомъ уже устроить водопроводъ для снабженія жителей водою».

Поваляли бумагу по разнымъ мѣстамъ, съ годъ времени поваляли, полтора ста цѣлковыхъ велѣли Линевисту изъ мухинскихъ городскихъ доходовъ выдать, а ему приказали смѣту составить на укрѣпленіе горы и на устройство водопровода.

Составилъ же Николай Ѳомичъ смѣту — чуть не миліонъ насчиталъ. Десятокъ-другой такихъ городовъ, каковъ Мухинъ, со всѣми ихъ потрохами продать, такихъ денегъ не выручишь. А дѣло-то, помни, на первыхъ по-

рахъ было въ восемь съ полтиной. Хорошо, видно, планы да смѣты сдѣлалъ Николай Ѳомичъ, награда вышла ему... А Мухинцы ни водопровода, ни чана съ водой до сихъ поръ и во снѣ не видали... Живи какъ знаешь, чинить не смѣй. Дѣло заглохло, улицу совсѣмъ разрыло, дома три повалило, а какъ лѣтошней годъ на самый на Петровъ день случился пожаръ: весь городъ и выдрало. Слѣдствіе сдѣлали. Вышло, что загорѣлся Мухинъ отъ воли Божіей, а виновнымъ никто не состоитъ. Въ пользу погорѣвшихъ подписку сдѣлали, и Николай Ѳомичъ чуть ли не первый два цѣлковыхъ подписалъ: губернаторша собирала — нельзя....

Не могу сказать, какъ по другимъ мѣстамъ, а въ нашей губерніи всякое казенно строенье дѣлается на живу нитку. Поживы-то хочется побольше, потому и желѣзца поубавятъ, и кирпичей не пережженный поставятъ, и балку положить повороче. Барышъ двойной: и отъ стройки перепадеть, и ремонту поскорости требуется.

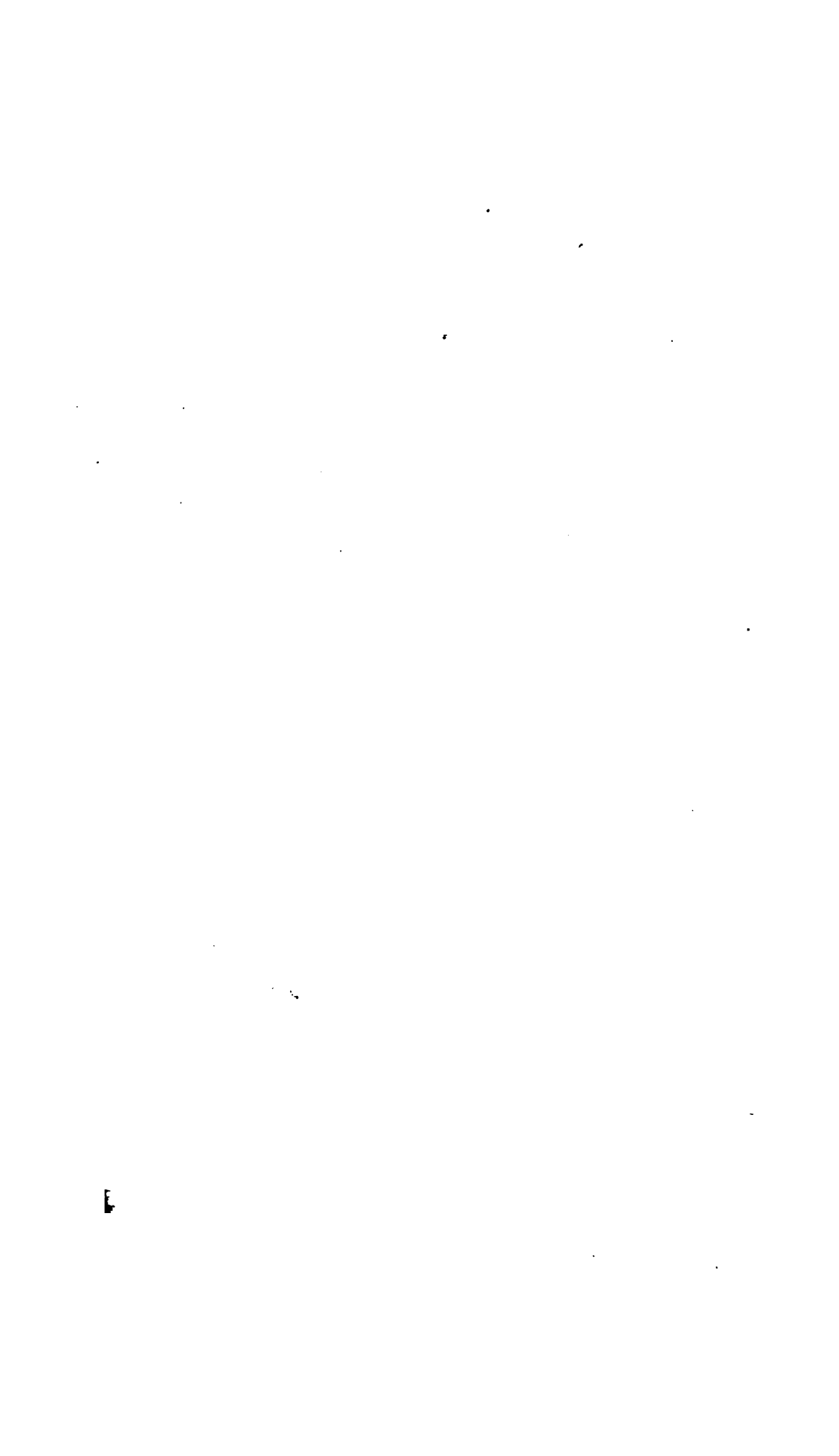
Вотъ отчего казенная стройка въ дорогую цѣну обходится и завсегда бываетъ не прочна. Про другія мѣста не знаю, а у насъ всѣмъ на виду, что случилось. Пятнадцать лѣтъ не прошло, какъ большія работы въ губерніи были; не одинъ милліонъ въ землю засадили, городска казна до сихъ поръ крахтитъ: городъ въ долгу, какъ въ шелку. А на все, что было въ тѣ поры построено — глядѣть горько: губернаторскій домъ снизу доверху трещину далъ, скоро подъ гору поѣдетъ, казармы развалились, откосы обсыпались, сѣзды завалило, отъ набережной слѣда не осталось. Двѣ церкви стариннаго дѣла разсыпались, кремлевская стѣна свалилась, а стояла болѣе трехъ сотъ годовъ... Надо бы было въ горѣ родники отвести. Ихъ не отвели, за то у строителей де-

ревеньки явились; солдаты, что кирпичъ караулили, и тѣ домишки себѣ построили.

А въ стары годы не такъ строили. Видѣлъ ли, баринушка, соборъ у насъ въ губерніи? Пятисотъ годовъ стоитъ, хоть трещину дажь; сводъ на немъ хоть въ замокъ сведень, да завершень осиновымъ коломъ. И держитъ тотъ колъ церковный сводъ шестую сотню годовъ, и стоитъ тотъ сводъ ровно изъ меди вылитый. Встарину-то вѣдь хитрости да умѣнья было поменьше, зато совѣсти было побольше.

Петербургъ, 1857.

НЕПРЕМЪННЫЙ.



НЕПРЕМѢННЫЙ.

Живя въ богоспасаемомъ градѣ Бобылевѣ, познакомился я со всѣми его обывателями, отъ городничаго и соборнаго протопопа до сапожника Абросима и коллежскаго секретаря Маурина, что состоялъ подъ надзоромъ полиціи «за нѣкоторые дебоши въ одномъ изъ столичныхъ городовъ Россійской Имперіи», какъ онъ выражался.

Хаживалъ ко мнѣ Андрей Тихонычъ Подобѣдовъ — «непремѣнный». Это значитъ непремѣнный засѣдатель земскаго суда. По уѣздамъ, съ учрежденія становыхъ, вывелось старинное слово «засѣдатель», и непремѣннаго засѣдателя земскаго суда стали звать просто «непремѣннымъ».

Это было плѣшивенькое, коренастое созданіе, вѣчно въ форменномъ съ гербовыми пуговицами сюртукѣ и въ мухояровыхъ панталонахъ. Добрѣйшій былъ человѣкъ, всякому старался услужить, а въ службѣ до того былъ усерденъ, что хворалъ только въ табельные дни. Что всего замѣчательнѣе — не пилъ.

Онъ изъ старинныхъ столбовыхъ, но захудалыхъ, мелкопомѣстныхъ дворянъ. За отцомъ его по пятой ревизіи въ Д. губерніи было записано двѣнадцать душъ

крестьянъ. Съ теченіемъ времени имѣніе его «пропало безъ вѣсти».

— Затерялось-съ, затерялось, съ грустью и глубокими вздохами говаривалъ Андрей Тихонычъ. — А теперь, пожалуй, душъ двадцать пять народилось бы. Такое ужъ несчастье!... Слѣдовъ отыскать не могу. Пропали души, да и все тутъ.

— А земля-то куда жъ дѣвалась, Андрей Тихонычъ?

— И земля затерялась...

— А документы?...

— И документы затерялись... Такъ-таки все затерялось. Чтò станешь дѣлать? Видно, ужъ на то воля Божія.

— Чтò жъ вы не хлопотали?

— Два раза пробовалъ, да толку не выходило. На гербовыя только истратился. Еще, слава Богу, по манифесту простили. Не то просто бѣда — разориться бы могъ. Вотъ вы, Андрей Петровичъ, въ Петербургѣ служите, стало-быть все знаете... Скажите Бога ради, не предвидится ль по скорости милостиваго манифестика.

— Кто жъ это, кромѣ Государя, можетъ знать?.... А вамъ что?

— Да еще бы разокъ попробовалъ: авось вывезетъ. А не вывезетъ, такъ по крайности тѣмъ бы былъ спокоенъ, что гербовыхъ не привелось бы платить.

Родитель Андрея Тихоныча служилъ, по выбору дворянъ, въ земскомъ войскѣ 1807 года, и потому носилъ золотую медаль на владимірской лентѣ, мундиръ съ малиновымъ воротникомъ и шляпу съ зеленымъ перомъ. Служилъ въ Бобылевѣ по выборамъ до смерти, а умеръ безъ гроша. Въ наслѣдство Андрею Тихонычу, кромѣ безъ вѣсти пропавшихъ двѣнадцати душъ, достался домашній скарбъ, турецкій кинжалъ, ружье Лебеды, да ста полтора книгъ екатерининскаго времени, большею частью

разрозненныхъ. Тихонъ Алексѣичъ Подобѣдовъ жалѣлъ народъ, оттого и померъ нищимъ. Зато крестьяне всего Бобылевскаго уѣзда служили по немъ панихиды, записали имя его въ своихъ поминаньяхъ. Старики до сихъ поръ добрымъ словомъ его поминаютъ.

Единственный его сынъ, Андрей Тихонычъ, чуть не босикомъ бѣгалъ въ уѣздное училище, а научившись тамъ писать скорописью, былъ взятъ родителемъ изъ храма Минервы и введенъ во храмъ Ѳеиды, говоря классически, а если попросту сказать—родитель помѣстилъ его въ первое повѣтье *) бобылевскаго уѣзднаго суда. Тихонъ Алексѣичъ говаривалъ: «уѣздный судъ — всему начало и всему голова: тутъ молодой человѣкъ всему навывкнетъ, тутъ и тяжбныя дѣла, и уголовныя, тутъ всего лучше начинать службу».

Года черезъ три Андрей Тихонычъ получалъ уже по сорока пяти копѣекъ въ мѣсяцъ жалованья. Какимъ богачемъ казался онъ товарищамъ! Тѣ, получая такое же вознагражденіе, были обязаны содержать кто мать старуху, кто вдовую сестру съ ребятишками, кто слѣпаго отца, калѣку. А Андрей Подобѣдовъ живетъ у отца на готовомъ: сытъ, одѣтъ, обутъ, да еще сорокъ пять копѣекъ въ мѣсяцъ... Богачъ!.. Шереметевъ!..

Еще при жизни родителя Андрей Тихонычъ получилъ регистраторскій чинъ и получалъ жалованья по дѣвятиности по восьми копѣекъ въ мѣсяцъ, безъ вычета на госпитали и раненыхъ. Онъ ужъ обзавелся тросточкой, и важно ею помахивалъ, прогуливаясь по дырявымъ тротуарамъ Бобылева, обзавелся зелеными замшевыми перчатками и на кровныя денежки справилъ сукопную шинель гороховаго цвѣта «съ семидесятью семью воротничками» — верхъ щегольства того времени.

*) Часть канцеляріи, то же, что теперь называется „столомъ“.

Счастливым, довольным и собой и міромъ, двадцатилѣтній Андрей Тихонычъ сталъ помышлять о подругѣ жизни. На уѣздныхъ вечеринкахъ присосѣживался къ Оленькѣ, дочери магистратскаго секретаря, говорилъ ей про свое сердце, и хотъ она ему про свое ничего не сказывала, однакожь Андрей Тихонычъ смѣялся, что и красненькую ленточку на груди Оленька для него прикалываетъ, и височки колечкомъ потому приглаживаетъ, что ему такъ нравится...

Вдругъ его родитель, Тихонъ Алексѣичъ, скушавши за ужиномъ шесть сковородокъ грибовъ въ сметанѣ, къ утру лежалъ на томъ столѣ, гдѣ наканунѣ кушалъ вкусные, сочные березовики. Онъ былъ первой жертвой первой холеры въ Бобылевѣ... Остался Андрей Тихонычъ одинъ на своихъ рукахъ. Еще слава Богу, что ни за нимъ, ни передъ нимъ никого не было: одинъ какъ перстъ. А осталась бы обуза на рукахъ: мать, напримѣръ, аль сестры незамужнія, не та бъ участь ему впереди была. Пустился бъ во вся тѣжкая, спился бы съ круга. Всегда такъ бываетъ.

Увидалъ, что на девяносто восемь копѣекъ безо взятокъ жить нельзя. А взятки брать не выучился. Пробовалъ, да онѣ мимо его къ секретарю проскакивали. Ему работа, да на совѣсть гнетъ, а секретарю денежки. Горько стало Андрею Тихонычу. Объ Оленькѣ и думать пересталъ, да и она, видя, что отъ него толку не будетъ, вышла за инвалиднаго поручика и зажила домкомъ на счетъ солдатиковъ.

Тошно стало Андрею Тихонычу въ Бобылевѣ. «Хотъ землю, думаетъ, буду копать, хотъ воду стану носить, а переѣду въ губернію... Авось тамъ другая мнѣ линія выпадетъ».

«Экой я счастливецъ», подумалъ онъ, когда совер-

шенно неожиданно получилъ мѣсто въ одномъ губернскомъ присутственномъ мѣстѣ. Жалованье хорошее, и душа спокойна, оттого что взятокъ брать ни съ кого не приходится. Знай, лупи, дери одну казну-матушку... А это развѣ грѣхъ...

Служилъ, служилъ Андрей Тихонычъ, пряжку безпорочную выслужилъ, титулярнаго получилъ. Человѣкъ смирный, покорный, безотвѣтный, каждое слово начальства, ровно слово изъ Неопалимой Купины, принималъ. Оттого и начальство его возлюбило: каждый годъ Андрей Тихонычъ получалъ наградныя изъ остаточныхъ суммъ. Отъ тѣхъ наградъ, да отъ крупицъ, что отъ казенной соли перепадали, составилъ у Андрея Тихоныча капиталчикъ тысячъ въ пять ассигнаціями.

Однажды занимался онъ въ кабинетѣ его превосходительства, господина статскаго совѣтника Александра Иваныча. И до сихъ поръ въ провинціи статскихъ совѣтниковъ зовутъ превосходительствомъ, а это было еще въ тѣ времена, когда статскимъ совѣтникамъ давали станиславскія звѣзды безъ ленты. Какъ же со звѣздой-то да не генералъ?—Сановникъ!...

Такимъ звѣздоносцемъ-сановникомъ былъ Александръ Иванычъ фонъ-Кабрейтъ. Правилъ онъ много лѣтъ казенной палатой—казенная соль, винокуренные заводы, откупщики, рекрутскіе наборы, торги на поставки и подряды, купеческія свидѣтельства, казенные лѣса, оброчныя статьи, перечисленіе душъ — все подъ его властной рукой... И статьи-то какія все жирныя!... На пять, на десять такихъ саповниковъ раздѣлить—всѣ бы сыты были... И раздѣлили по времени — государственныя имущества въ особую палату отвели, и Василья Трофимыча надъ ними посадили. И Александръ Иванычъ доходовъ не

лишился, и Василій Трофимычъ разбогатѣлъ.—А пріѣхалъ въ губернію въ одной шинелишкѣ.

— А что, сказалъ Александръ Ивановичъ, когда Подобѣдовъ кончилъ работу. — Женатъ ты, Андрей Тихонычъ?

Сроду впервые начальство по имени по отчеству его назвало. У Андрея Тихоныча въ глазахъ зарябило: будто крестикъ въ петличку подвѣсили. И то опять, о чемъ спрашиваетъ его превосходительство. Не по службѣ, а по дѣлу, можно сказать, партикулярному.

— Никакъ нѣтъ, ваше превосходительство, — задыхаясь отъ душевнаго волненія, едва могъ проговорить Андрей Тихонычъ.

— Тебѣ бы, братецъ, жениться... Ты человѣкъ ужъ степенный.

Растаялъ Андрей Тихонычъ.

— Какъ прикажете, ваше превосходительство, — чуть слышно пробормоталъ онъ.

— Приходи ко мнѣ завтра вечеромъ... часу этакъ въ восьмомъ... Слышишь?

— Слушаю, ваше превосходительство.

— Да одѣнься почище... Къ невѣстѣ поѣдемъ.

— Слушаю, ваше превосходительство, — не вѣря ушамъ молвилъ Андрей Тихонычъ.

Какая милость низшла по благодати Божіей! И на мысль не впадало, во снѣ не грезилося!...

Ногъ не слышалъ подъ собой, когда въ темную, дождливую осеннюю ночь крупно и спѣшно шагаль онъ по липкой грязи, возвращаясь отъ его превосходительства въ дальній конецъ города, гдѣ нанималъ горенку у вдовой дьявоницы... «Какое счастье, какое вниманіе начальства!» думалъ онъ. Цѣлую ночь заснуть не могъ. Приходило въ голову о невѣстѣ: «Кто бы такая была?.... — раздумывалъ онъ... — И собой какова, молода ль, не раба ли,

иль какого изъяну не имѣть ли?» Мысль о милости начальства вытѣсняла однако нескромныя мысли о невѣстѣ. «Ну ее совсѣмъ! Милость его превосходительства, вотъ это дѣло!.. По имени по отчеству! Вмѣстѣ, говорить, поѣдемъ!.... Вмѣстѣ!.... Да этого онъ секретарю не скажетъ!»

На другой день разодѣтый, распомаженный Андрей Тихонычъ явился въ назначенное время. Тотчасъ позвали его въ кабинетъ. Александръ Ивановичъ одѣвался:

— Ты куришь? спросилъ его превосходительство. — Гришка, трубку Андрею Тихонычу.

Еслибъ колѣнопреклоненное королевство, долго и тщетно отыскивая властителя, — какъ на примѣръ Испанія, а въ былыя времена Польша — со слезами и съ рыданьями сказало д-ской казенной палаты столоначальнику: «Андрей Тихонычъ, бери корону, царствуй надъ нами!» — едва ли бѣ слова будущихъ вѣрнопопданныхъ настолько смутили его душу, насколько смутили ее слова Александра Ивановича. Его превосходительство трубку табаку изволить предлагать!... Самъ изволить предлагать!.. Не сонное ль видѣніе?.. Нѣтъ. Гришка суетъ ему въ руку длинный черешневый чубукъ съ громаднымъ янтаремъ... Дрожать руки у Андрея Тихоныча, отъ умиленія и слезы въ глазахъ и зѣлень туманомъ.

— Да ты садись, молвилъ его превосходительство, застегивая помочи. — Садись вотъ здѣсь на диванѣ. Покойнѣе будетъ.

Языкъ отнялся у бѣднаго. Хотѣлъ что-то сказать, не смогъ. Въ блаженствѣ таялъ.

«Батюшка, батюшка! думалъ онъ, видишь ли?... Видишь ли ты, до какой чести дожилъ твой Андрюшенька?»

Слезы градомъ лились у Андрея Тихоныча.

— Что съ тобой? спросилъ Александръ Ивановичъ.

— Такъ-съ, ничего, ваше превосходительство. Покойника батюшку вспомнилъ...

— Похвально, молодой человѣкъ (а молодому человеку было за тридцать за пять). Дѣйствительно, въ столь важную минуту жизни должно призвать благословеніе родителей... Хорошо, мой другъ, хорошо!... Похвально!... прибавилъ Александръ Ивановичъ, цѣлуя Андрея Тихоныча.

Отъ полноты чувствъ коровой заревѣлъ Андрей Тихонычъ. Насилу отпоилъ его Гришка холодной водой.

— Садись,—сказалъ Александръ Ивановичъ, когда Андрей Тихонычъ, какъ столбъ, стоялъ на крыльцѣ передъ каретой его превосходительства.

«На козлы аль на запятки?» пришло на умъ Андрею Тихонычу. Лавей втолкнулъ его въ карету.

«Батюшка, батюшка!» чуть не вслухъ сказалъ Андрей Тихонычъ. — Видишь ли?»

Въ первый разъ въ жизни онъ ѣхалъ въ каретѣ. Искѣмъ?..

Приѣхали на «дачу». Такъ въ губернскомъ городѣ Д... у великихъ людей звались домики, гдѣ цвѣли роскошныя цвѣточки... Цвѣточекъ Александра Ивановича — одна изъ многочисленныхъ сестеръ Стрѣльскихъ, что, служа по крѣпостному праву князю Кошавскому, служили съ тѣмъ вмѣстѣ кто Талія, кто Мельпоменѣ, кто Терпсихорѣ въ досчатомъ ветхомъ балаганѣ. По Святцамъ Пелагея, по театру Полина Ивановна, служила Терпсихорѣ, но, отбивъ объ неровный полъ театра рѣзвья свои ноженьки, пятый годъ вѣрно, нелицемѣрно служила Александру Ивановичу. А онъ ее за то на волю откупилъ....

Видѣлъ Андрей Тихонычъ ярко освѣщенныя комнаты.... Видѣлъ, какъ его превосходительство, съ словами «вотъ твой женихъ, Поленька», подвелъ его къ грузной барынѣ, въ распахномъ капотѣ. Видѣлъ, какъ она сунула ему въ губы жирную руку. Видѣлъ, какъ подали шампанское....

Какъ во снѣ. И какъ онъ съ ума не сошелъ?... Золотые часы, серебряная табакерка, енотовая шуба, а главное — милость начальства, и супруга, кажется, не строгая!...

Сыграли свадьбу, и зажили домкомъ Андрей Тихонычъ съ Полиной Ивановной.... И къ Александру Ивановичу по-привыкѣ Андрей Тихонычъ, не съ прежней робостью говорилъ съ нимъ. А говорилъ нерѣдко, потому что господинъ фонъ-Кабрейтъ, хотя свою Полину замужъ и выдалъ, однакожъ нѣтъ, нѣтъ, да бывало и завернетъ къ ней вечеромъ посидѣть. О томъ, о семъ покалякають, потомъ его превосходительство и скажетъ Андрею Тихонычу: Что ты, братецъ мой, все дома сидишь? Съѣзди-ль бы хоть въ театръ что ли, аль въ кому изъ знакомыхъ. Отъѣзжай на моихъ дрожкахъ, ежели хочешь. И поѣдетъ, бывало, въ гости Андрей Тихонычъ...

Мѣсяца черезъ три послѣ свадьбы Полина Ивановна сына принесла. Въ тотъ же день навѣстилъ молодыхъ Александръ Ивановичъ: родильницѣ билетъ въ тысячу цѣлковыхъ «на зубокъ» положилъ, Андрея Тихоныча крѣпко обнялъ и разъ пять поцѣловалъ.

— Ты вѣдь дворянинъ? спросилъ его превосходительство Андрея Тихоныча.

— Такъ точно, робко отвѣтилъ Андрей Тихонычъ.

— Въ родословную записанъ?

— Такъ точно, ваше превосходительство...

— Отецъ твой дослужился до дворянства?

— Никакъ нѣтъ, ваше превосходительство. Нашъ родъ старинный, столбовой, въ шестой части родословной книги. И въ Бархатной Книгѣ записанъ, при Симеонѣ Гордомъ наши предки на Москву выѣхали. Такъ въ нашей граматѣ прописано...

— Очень радъ, очень радъ! сказалъ Александръ Ивановичъ.—Стало быть, новорожденному не нужно, чтобъ у

тебя Станиславчикъ въ петличкѣ висѣлъ, или чтобъ ты коллежскимъ ассессоромъ былъ. Очень радъ!... А то въ нынѣшнее время это немножко затруднительно... О сынъ не безпокойся—Богъ дастъ подрастетъ, доро́га ему будетъ.

Сунулъ въ руку Андрею Тихонычу ломбардный билетъ въ десять тысячъ ассигнаціями, еще поцѣловалъ его со щекъ на щеку и уѣхалъ, говоря на крыльцѣ счастливому супругу:

— Очень радъ, что сынъ твой старинный дворянинъ, очень радъ...

Подарилъ его превосходительство Полинъ Ивановичъ домикъ въ Бобылевѣ. Ни на что онъ ему не пригоденъ былъ, и достался-то по неволѣ: за долгъ ли оставилъ его за собой Александръ Ивановичъ, другое ль что-то въ такомъ родѣ было.

Подоспѣли дворянскіе выборы, его превосходительство говоритъ Андрею Тихонычу:

— Хочешь въ Бобылевъ въ непремѣнные?

Свѣта не взвидѣлъ Андрей Тихонычъ... Мѣсто, на которомъ отецъ его померъ, про которое и мечтать не смѣлъ.

— Ваше превосходительство!..—ваше превосходительство!...—только и могъ онъ выговорить, всхлипывая отъ подступавшихъ рыданій....

— Я тебя выберу.

И выбралъ.

Въ Бобылевскомъ уѣздѣ Александръ Ивановичъ самъ-другъ заправлялъ всѣмъ на выборахъ. Другихъ крупныхъ помѣщиковъ не было.

Бобылевскій уѣздъ обыкновенно присоединяли къ Чернолѣсскому. Его превосходительство каждый разъ бывало и говоритъ чернолѣсскимъ дворянамъ: «По вашему уѣзду я буду власть кому куда прикажете, а по «моему уѣзду» по моему дѣлайте. Вѣдь мыѣ, а не вамъ съ выбранными

чиновниками придется три года возиться. Такъ ужъ вы сдѣлайте милость».

Черномѣссскіе по его и дѣлали. Оттого въ Бобылевѣ губернатора не столько трусили, сколько Александра Ивановича.

Такимъ образомъ его превосходительство и сдѣлалъ Андрея Тихоныча непремѣннымъ.

И какъ былъ ему онъ благодаренъ... Того ему и въ голову придти не могло, что Полина Ивановна поизмялась, и его превосходительству свѣженькой захотѣлось, ради чего и выбралъ онъ Андрея Тихоныча въ непремѣнные.

Въ первое наше свиданье, спрашиваетъ Андрей Тихонычъ меня, привставая со стула:

— Какъ въ своемъ здоровьѣ его превосходительство Александръ Ивановичъ, осмѣлюсь васъ спросить?

— Какой Александръ Ивановичъ?

— Его превосходительства Александра Ивановича не знаете? съ удивленіемъ вскрикнулъ Андрей Тихонычъ. Не могло у него сложиться мысли, чтобъ кто-нибудь могъ не знать его превосходительства. — Напрасно, напрасно, говорилъ онъ, озадаченный моимъ вопросомъ, — человѣкъ извѣстный. Да вы его въ Петербургѣ должны были знать. Вѣдь онъ туда каждый годъ ѣздитъ,—прибавилъ Андрей Тихонычъ.

— Петербургъ не Бобылевъ, Андрей Тихонычъ. Малоли тамъ народу? Всѣхъ не узнаешь, сказалъ я.

— Не имѣлъ счастья бывать въ Петербургѣ, а надо полагать, что такихъ людей, какъ его превосходительство Александръ Ивановичъ, и тамъ не очень много, возразилъ Андрей Тихонычъ... — Пятисотъ душъ отличнѣйшаго имѣнія, статскій совѣтникъ, звѣзда!... Отъ самыхъ господъ министровъ почтѣнъ!... Такихъ людей немного, очень даже немного... Это ужъ позвольте вамъ доложить... Не можетъ

быть, чтобъ по всей Россійской Имперіи много было такихъ людей. Если бы его превосходительство продолжали службу, могли бы губернаторомъ быть, даже министромъ, потому что умъ необыкновенный.

— Отчего жъ онъ не служить?

— Н-н-нельзя-съ, — немножко помявшись, отвѣтилъ Андрей Тихонычъ.

— А что?

— Непріятность въ нѣкоторомъ родѣ, — подсудность небольшая.

— А!

— Не подумайте, что за небреженіе по службѣ. Нѣтъ-съ. По злобѣ, единственно по злобѣ враговъ. У кого ихъ нѣтъ, Андрей Петровичъ? У всякаго есть! — А дѣло его превосходительства, можно сказать, самое пустое: — о казенной поставкѣ...

— А! о поставкѣ! Что жъ, видно, поставка-то не поставилась?

— Правильно изволили сказать, но сами согласитесь, вѣдь соль — матеріалъ сырой. Мало-мальски водой ее хватить, тотчасъ на утекъ, и превращается, можно сказать, въ ничтожество. Его превосходительство Александръ Ивановичъ объ этомъ своевременно доносили по начальству: буря, дескать, и разлитіе рѣкъ, и крушеніе судовъ. Слѣдствіе было произведено, и рѣшеніе воспослѣдовало: предать дѣло волѣ Божіей. А враги назначили переслѣдованіе. Тутъ воли-то Божіей и не оказалось. Понимаете?..

— Что жъ теперь подѣлываетъ нашъ Александръ Ивановичъ?

— Четвертый годъ старается, нельзя ли третьяго слѣдствія выхлопотать. Авось бы опять на волю Божію поворотили...

И въ своихъ дѣлахъ Андрей Тихонычъ точенъ до самыхъ послѣднихъ мелочей. — Любилъ порядокъ.

Верстахъ въ двѣнадцати отъ Бобылева проживалъ въ своей деревушкѣ мелкопомѣстный помѣщикъ Чоботовъ Михайло Алексѣичъ. Разъ въ сентябрѣ прїѣзжаетъ къ нему Андрей Тихонычъ. Помѣщикъ радъ; Андрея Тихоныча всѣ любили. А все-таки, членъ земской полиціи, спрашиваетъ хозяинъ: не по дѣлу ль.

— Я ничего, сударь мой, Михайло Алексѣичъ. По сосѣдству отъ васъ былъ — у Лизаветы Ивановны; и къ вамъ завернулъ «освидѣтельствовать» почтеніе.

Лизавета Ивановна, тоже мелкопомѣстная, жила въ усадѣбкѣ верстахъ въ трехъ отъ Чоботова.

— Ну такъ милости просимъ. Какъ по вашему, за чаекъ, аль прямо за водочку? спрашиваетъ Чоботовъ.

— Благодарю покорно, Михайло Алексѣичъ, я вѣдь на минуточку. Развяжите вы меня Христа ради съ Лизаветой Ивановной... Будьте милостивы.

— Что такое, Андрей Тихонычъ?

— Да вотъ какое дѣло, сударь ты мой. Годъ нынче вышелъ такой: гусей нелегкая больно много уродила. Кто, бывало, прежде цыплятами снабжалъ, нынче все гуся шлетъ, кто прежде свинью привозилъ, и тотъ нынче съ гусями лѣзетъ. Такое, сударь мой, окаянство — просто бѣда. Гуся не охѣешь, птица добрая да расходу много проклятая требуетъ, обжорлива очень. Колотъ теперь рано: и перо слабо, и потроха не жирны, и сала немного.. Откормить къ Казанской да свезти въ губернію, можно будетъ барыши имѣть, да кормить-то, сударь ты мой, чѣмъ станешь?... Самимъ вамъ, Михайло Алексѣичъ, извѣстно, какой нынче на овсы-то урожай. Вовсе ихъ нѣтъ. И прежде-то ко мнѣ немного овса подвозили, а нынче, повѣрите ли вы Богу, воза порядочнаго не собрали.

Ей-богу, право, не лгу... Что мнѣ лгать-то?... Я чело-
вѣкъ простой.

— Такъ что же вамъ, Андрей Тихонычъ?... Овса что
ли велѣтъ насыпать? спросилъ Чоботовъ.

— Какой съ васъ овесъ? съ негодованьемъ вскрикнулъ
Андрей Тихонычъ.— Сохрани Господи и помилуй овсомъ
отъ васъ взять!... Какъ это можно!... А вотъ мучки ржаной
такъ пора бы прислать, Михайло Алексѣичъ. Чать ужъ
обмолотились.

— Не намолоти еще, Андрей Тихонычъ.

— Ну ладно, дѣло не къ спѣху... Такъ вотъ я объ
Лизаветѣ-то Ивановнѣ. Вся у меня на нее надежда была,
думаю, дастъ возиѣз овсеца, гуси-то у меня и откормятся.
Приѣхалъ къ ней въ Трегубово: «такъ и такъ молъ,
сударыня, не погуби гусей, дай овсеца». А она: — Рада
бы радешенька, говоритъ, Андрей Тихонычъ, не пожалѣла
бы для тебя, да вѣдь грѣхъ-отъ, говоритъ, какой у меня
случился, овсы-то еще въ бабкахъ на полѣ, хоть самъ
погляди. «Какъ же, говорю, Лизавета Ивановна, околѣвать
что ли гусямъ-то? Помилуйте, говорю, матушка, колоть
что ли мнѣ ихъ спозаранокъ-то? Изубытчусь вѣдь. Пожа-
луй»... А Лизавета Ивановна: — Поѣзжай, говоритъ, къ
Михайлѣ Алексѣичу, у него овсы смолочены, онъ тебѣ
не откажетъ. — Я ей и такъ и сякъ... Нѣтъ, сударь,
уперлась баба: поѣзжай да поѣзжай къ Михайлѣ Але-
ксѣичу да и все тутъ... Ужъ я ей толковалъ, толковалъ,
никакъ, сударь подъ ладъ не дается. Баба такъ баба и
есть, хозяйства понимать не можетъ.

— Что жъ, сказалъ Чоботовъ, — коли надо, такъ я
дамъ овса.

— Помилуйте, Михайло Алексѣичъ... Да какъ же
это возможно? Какъ же такіе порядки вводить? съ

сердцемъ вскрикнулъ Андрей Тихонычъ, съ мѣста даже вскочилъ.

— Какіе же непорядки, Андрей Тихонычъ?... Не понимаю я васъ, растолкуйте пожалуйста.

— Сдѣлать по вашему, — поля перемѣшать, хозяйство, значить, спутать. Развѣ это порядки? Скажите на милость, порядки это, али нѣтъ?

— Хоть убейте, не могу понять.

— Да развѣ вы не знаете, какъ у меня уѣздъ-отъ подѣленъ? У меня вотъ какъ заведено, сударь ты мой, важно и серьезно началъ Андрей Тихонычъ. — По одну сторону рѣчки Синюхи всѣ господа помѣщики на ржаномъ состоятъ, а по ту сторону на яровомъ. Съ васъ, съ Петра Егорыча, съ Анны Никитишны беру ржаной мукой, а съ Лизаветы Ивановны, съ Егора Пантелеича — овсомъ, гречей, горохомъ. Какъ же мнѣ съ васъ овсомъ-то взять, когда вы во ржаномъ полѣ стоите? Этакъ, батюшка, и концовъ не сведешь... Поля перепутать — хозяйство сбить.

Какъ Михайло Алексѣичъ ни ублажалъ Андрея Тихоныча взять съ него овсомъ, не согласился. Упѣрся, какъ баранъ въ стѣну, рогами, никакихъ резоновъ не принялъ. «Не спутаю хозяйства», да и полно...

Покончили на томъ, что Михайло Алексѣичъ послалъ Лизаветѣ Ивановнѣ овса въ займы, и она, какъ помѣщица яровая, отдала этотъ овесъ Андрею Тихонычу. Когда же, уладивъ дѣло, Михайло Алексѣичъ хотѣлъ послать овесъ на своихъ лошадяхъ въ городъ къ Андрею Тихонычу, тотъ не согласился, и на томъ настоялъ, чтобъ овесъ былъ отвезенъ къ Лизаветѣ Ивановнѣ, а она бы ужъ его въ городъ отправила.

Вотъ какой точный былъ человѣкъ Андрей Тихонычъ.

И всѣ въ Бобылевѣ любили его, и онъ всѣхъ любилъ. Душа была у него самая мягкая, каждому былъ радъ услужить чѣмъ только могъ. Чиновники бывало о немъ: «а нашъ-отъ блаженный! Онъ ничего. — Пороху не выдумаетъ, а человѣкъ тихій». Мужики въ одинъ голосъ: «такого барина, какъ Андрей Тихонычъ, въ вѣкъ не найти. И родитель былъ душа-человѣкъ, а этотъ и того лучше; всякому доступенъ, всякаго по силѣ-возможности милуетъ. Много за него Господа молимъ».

А былъ же и у него врагъ. При всемъ благодушii, при всей кротости не могъ Андрей Тихонычъ говорить про него равнодушно. Это былъ бобылевскій почтмейстеръ Егоровъ.

— Отчего вы не любите Ивана Петровича? спросилъ я однажды Андрея Тихоныча.

— Нельзя мнѣ любить его, Андрей Петровичъ... Онъ — злодѣй мой... Такую бѣду надо мной сдѣлалъ, что представить себѣ не можете. Такая по милости этого подлеца со мной конфузiя случилась, что вспомнить страшно!... Эхидный человѣкъ!.. Самый злошiй, самый жадный!..

«Служенiе свое первоначально имѣлъ онъ въ гусарскомъ полку, по скорости исключенъ за пьянство. И какъ же теперь онъ злословить ихнюю гусарскую службу, даже вчуужь обидно. Увѣряетъ, якобы гусары не кутятъ, — и что у нихъ чуть кто выпьетъ да маленько пошутить, тотчасъ его вонъ изъ полка. Хоть меня, говоритъ, взять — ну что такое я сдѣлалъ? Выпивши, голый я по базару прошелся, и за это — хлопъ — изъ полка вонъ. Всячески злословить. «Какіе, говоритъ, наперсточные кутилы, бабьими наперстками пьютъ». И здѣсь cadaго человѣка обидѣть готовъ.

«На что я? На весь уѣздъ пошлюсь, никто меня ни въ чемъ не примѣтилъ. Такъ нѣтъ, и меня оскорбилъ по

азартной своей нравственности. Да оскорбилъ-то какъ! Безъ ножа голову снялъ.

«Покаместъ я по милости его превосходительства Александра Иваныча на семь мѣстѣ «пріуставленъ» не былъ, проживаніе имѣлъ въ губерніи, а домикъ, что его превосходительство Полинъ Ивановичъ пожертвовали, отдавалъ подъ почтовую контору. Когда жъ переѣхалъ въ Бобылевъ, дому-то срокъ не вышелъ еще. Дѣлать нечего, и отъ своего угла безъ малаго два года въ наемной квартирѣ пришлось проживать, потому контрактъ, можно сказать, вещь священная.

«А я, осмѣлюсь вамъ доложить, хоть на мѣдныя деньги обученъ, но старшихъ уважаю и долгъ почтенія не забываю, для того что воспитанъ въ страхѣ Божіемъ. Душу имѣю памятную, къ благодарности склонную, для того, по христіанскому обычаю, передъ каждымъ праздникомъ, не имѣя возможности, за отдаленностію разстоянія, лично поздравлять его превосходительство, Александра Иваныча, письменно свой долгъ исполню. Посылалъ письма по государственной почтѣ. Придешь, бывало, на почту: Иванъ Петровичъ письмо приметъ, гривенникъ получить — я и спокоенъ. И шло такимъ манеромъ дѣло безъ мала два года.

«Зачалъ меня «оброчнымъ» звать. Встрѣтится гдѣ, во все горло оретъ — черезъ улицу, черезъ площадь-ли — все равно: «здравствуй, оброчный! Красна Пасха на дворѣ, оброкъ неси». А иной разъ даже попрекнетъ: «Эй, ты, оброчный, вѣдь Вознесенью-то опоздалъ, смотри, братъ, въ недоимку со штрафомъ впишу».

«А мнѣ не въ домскъ, что такое слова его означаютъ. Какой, думаю, я ему оброчный? Подъ начальствомъ не состою, зависимости не имѣю: какой же я ему оброчный? Разъ даже въ церкви, послѣ обѣдни, такимъ прозвищемъ

меня обозвалъ. Стали ко кресту подходить... Я, исправляя долгъ почтенія, благородныхъ съ праздникомъ поздравляю, и ему подлецу свидѣтельствую почтеніе... А онъ поклониться-то поклонился, да ослабившись при всѣхъ и бухнулъ: «спасибо, оброчный, за поздравленіе, и за оброкъ спасибо, что не запоздалъ»... Сердце меня взяло! Какъ же это въ самомъ дѣлѣ?... Въ храмѣ Господнемъ, при городничемъ, при исправникѣ, при дамахъ, при всѣхъ благородныхъ, вдругъ меня такимъ манеромъ хватилъ!... Не вытерпѣлъ, сказалъ ему: «милостивый государь мой, говорю, я столповой дворянинъ и потому у васъ на оброкъ состоять не могу, а ваши слова, милостивый государь мой, для меня безчестны». Вспылил тутъ я самъ немножко, обидѣлъ его при всѣхъ: «милостивый государь мой» назвалъ. А онъ, хоть бы что, нисколько не обидѣлся, точно не ему сказано. Да еще говорить: «хоша ты и столповой дворянинъ, а все жъ мой оброчный»... Я отъ него въ сторону пошелъ, думаю: «Господь съ тобой, наругатель ты этакой».

«Подъ конецъ контракта слышимъ — Иванъ Петровичъ у Спиридонова домъ покупаетъ и контору къ себѣ переводить, чтобы, знаете, и наймомъ квартиры не харчиться, и съ казны за контору деньги получать. Меня не прижималъ, съѣхалъ даже до срока.

«Ужъ и отдѣлалъ же онъ домъ-отъ! Хуже харчевни сдѣлалъ его: стѣны сургучомъ измазалъ, полы перегноилъ. Просто, съ позволенія вашего сказать, такая была гадость, что уму непостижимо!

«Вижу, надо поновить. Тутъ, благодаря Бога, его превосходительство Александръ Ивановичъ въ свою вотчину проѣзжать изволили, и по душевному своему расположенію лѣску мнѣ пожаловали, плотниковъ прислали, конопатки, гвоздочковъ и другаго желѣза, сколько требовалось.

Поисчинилъ я крышу, стѣны поисправилъ; думаю, кстати ужъ и полы-то перестелю — плотники даровые. Тронули полы въ большой комнатѣ, гдѣ «пріемная» была, гляжу: половицы-то еще хороши, поосѣли только, щели въ палецъ шириной и больше. Оно, конечно, можно бы ихъ и сколотить, да ужъ видно мнѣ Божеское напоминаніе было. Заколodило въ головѣ: перестели да перестали. Что жъ, думаю, перестелю, теплѣе будетъ, да и черныи-отъ полъ заодно поисправлю, золой его забью, чтобъ не дуло.

«— Сымай, братцы, полы, говорю плотникамъ, а самъ точно подъ какимъ-нибудь предчувствіемъ состою...

«Какъ принялись за топоры, какъ запустили ихъ подъ половицы, какъ пошла у нихъ работа, повѣрите ли?... у меня мурашки по спинѣ. И сердце-то болѣетъ, и въ головѣ-то ровно туманъ... Точно какъ будто сейчасъ растворится дверь, и войдетъ губернаторъ. «А сколько дѣлать? А покажи-ка, распорядительный»!...

«Вышелъ на дворъ освѣжиться. Слышу, плотники про бумаги толкуютъ. «Брось, говорить старшій, опослѣ все спалимъ».

«Я въ окну.

«— Что, молъ, у васъ тутъ такое?

«— Да вотъ, говорятъ, больно много бумаги подъ поломъ-то насовано... Надо быть, въ эту щель совали.

«— Давай, говорю, сюда. Чтò такое?

«Высыпали они мнѣ за окошко ворохъ страшенный.... Угодники преподобные!... Все-то письма, все-то письма!....

«Которы распечатаны, у которыхъ и печати цѣлы. Одна печать — письмо не тронуто, пять — вскрыто. На адресахъ куши не великіе: цѣлковый, два, три, къ солдатамъ больше, въ полки.

«А плотники подбидываютъ да подбидываютъ. Сотъ

пять накидали... Господи Боже мой!... Нѣтъ же у чловека совѣсти, и начальства не боится.

«Сталъ я ворохъ разбирать, а самого какъ лихоманка треплетъ. Думаю: злодѣй-отъ вѣдь безъ разбора письма подѣ полъ сажалъ... Ну, какъ я на государственный секретъ натѣнусь... Червь какой нибудь, нуль этакой, какой-нибудь непремѣнный, да вдругъ въ высшія соображенія проникнетъ!... Что тогда?... Пропалъ аки шведъ подѣ Полтавой! Охъ ты, Господи, Господи!...

«А вѣдь никто какъ Богъ. Сказано «на кого воззрю? токмо на смиреннаго». Такъ иное дѣло. Государственныхъ-то секретовъ и не было!

«Батюшки!... Мое письмо!... Къ его превосходительству!... Варомъ меня такъ и обдало!... Лучше бѣ государственный секретъ узналъ!... Злодѣй, злодѣй!

«Разъ, два, три, четыре... всѣ шестьдесятъ восемь, всѣ до одинаго! Иродъ ты этакой!...

«Хоть бы одно распечаталъ! Любопытства-то даже не было. Безчувствіе-то какое вѣдь!.. Слеза меня прошибла... Вотъ оно «оброчный»-отъ!... Гривенники-то бралъ, а письма подѣ полъ да подѣ полъ... Значить, я ему въ самомъ дѣлѣ передъ каждымъ праздникомъ по гривеннику оброку носилъ.

«Пропадай они гривенники!... Его-то превосходительство, Александръ-отъ Иванычъ, что могутъ про меня сказать? «Неблагодарное животное», вотъ что могутъ сказать!... Какъ же это въ самомъ дѣлѣ?... Безъ малаго два года и ни одного почтенія!... Господи, Господи!...

«Собралъ я письма, связалъ въ узелокъ: маршъ въ нову контору.... Иванъ Петровичъ въ засаленномъ, сургуломъ залитомъ халатѣ письма принимаетъ — день-отъ почтовый былъ... Онъ было мнѣ: «здравствуй, оброчный!»

«А я:

«— Свиныя ты, свинья, Иванъ Петровичъ! Бога не боишься, и стыдъ забылъ.

«А онъ:

«— Чѣмъ ты, оброчный, обидѣлся?

«Я письма-то на столъ, и говорю: «это что?»

«А онъ и въ конфузю не пришелъ, только спросилъ:

«— Аль полы перестилаешь?...

«— Просьбу, говорю, подамъ, подь законъ подведу тебя.

«Зло-то меня, знаете, очень ужъ взяло.

«А онъ хоть бы бровью моргнулъ.

«По маломъ времени, однако, заговорилъ:

«— А я, говорить, допрежде тебя рапортъ пошлю, что молъ, оставилъ я, при переѣздѣ на квартиру, въ домѣ титулярнаго совѣтника Подобѣдова постъ-пакетъ съ донесеніями къ разнымъ министрамъ, пакеты съ надписью «секретно» да сто тысячъ казенныхъ денегъ... И онъ-де, титулярный совѣтникъ Подобѣдовъ, тотъ постъ-пакетъ похитилъ... Что тогда скажешь? А?

«Я такъ и обомлѣлъ. Вижу, дѣло-то хуже секретовъ.

«Хотѣлъ изловчиться: «у меня, говорю, свидѣтели есть».

«А онъ:

— Плотники что ли? Такъ я, говорить, ихъ отстраню, потому что они у тебя въ услуженіи. На это, братъ, статья есть.

«Вижу, нѣтъ у человѣка стыда въ глазахъ... Плюнулъ, пошелъ вонъ.

— Какъ же теперь поздравляете Александра Ивановича-то? спросилъ я.

— Сотскихъ изъ суда гоняю.

Петербургъ.

1857.



ИМЕНИННЫЙ ПИРОГЪ.



ИМЕНИННЫЙ ПИРОГЪ.

Это было еще задолго до крымской войны...— Въ одной изъ степныхъ губерній, въ захолустномъ городѣ Рожновѣ, пришлось мнѣ прожить по одному дѣлу больше мѣсяца.

Однажды въ воскресный день послѣ обѣдни, когда «благородные» обыватели богоспасаемаго града Рожнова, приложась ко кресту, поздравляли другъ друга съ праздникомъ, уѣздный стряпчій Иванъ Семенычъ Хоринскій подошелъ ко мнѣ.

— Сдѣлайте такое одолженіе, говорилъ онъ съ какими-то торжественными ужимками, — удостойте чести мой пирожокъ; Антонъ Михайлычъ будутъ, Степанъ Васильичъ, Михайло Сергѣичъ. Сдѣлайте такое одолженіе, удостойте!... Сегодня я именинникъ.

Поздравивъ именинника, я обѣщался быть у него непременно.

— Только ужъ нельзя ли пораньше, Андрей Петровичъ: мы вѣдь люди простые, не столичные, привыкли рано. Сдѣлайте милость, теперь же, прямо изъ церкви.

Затѣмъ, посетившись среди «благородныхъ», Иванъ Семенычъ въ алтарь пошелъ приглашать духовника своего, рожновскаго протопопа, отца Симеона. Мимоходомъ тронулъ за плечо купца Дерюгина, торговавшаго бакалеями,

виномъ и другими жизненными потребностями и занимавшаго на ту пору должность городского головы. Дерюгинъ оглянулся, именинникъ что-то шепнулъ ему, и голова съ сіяющимъ лицомъ поклонился стряпчему въ поясъ.

Погода была прекрасная. «Благородные» пѣшкомъ пошли къ Ивану Семенычу. Шелъ городничій Антонъ Михайлычъ, шелъ исправникъ Степанъ Васильичъ, шелъ судья Михайло Сергѣичъ, шелъ «непремѣнный» Егоръ Матвѣичъ, шелъ почтмейстеръ Иванъ Павлычъ, шли и другіе обоего пола «благородные». — Двѣ бородеи применили къ бритому сонму чиновныхъ людей: одна украшала красное, широкое лицо Дерюгина, другая густымъ лѣсомъ разрослась по румянному лицу касимовскаго купеческаго брата Масляникова, бывшаго прежде цѣловальникомъ, а теперь управляющаго рожновскимъ виннымъ откупомъ.

Расходившіеся изъ церкви мѣщане и разночинцы почтительно снимали шапки и низко кланялись шествующему сонму властей, но никто не удостоился отвѣтнаго поклона. Не гордость, не чванство причиной тому. Попадись благородный одинъ на одинъ любому мѣщанину, непремѣннобъ отвѣтилъ ему поклономъ и дружелюбно поговорилъ бы. Но, шествуя въ сонмѣ властей, какъ поклониться?... Нельзя!...

Именинникъ встрѣчалъ гостей на крылечкѣ. Шумной толпой ввалили они въ залу, а тамъ столы ужъ уставлены яствами и питіями, задорно подстрекавшими зрѣніе, обоняніе и вкусъ нахлынувшихъ гостей.

Люди мелкой сошки: столоначальники или, какъ звали ихъ по старинѣ, «повытки», городской голова, магистратскій и думскій секретари, учителя со штатнымъ смотрителемъ, отецъ дьяконъ, остались въ залѣ. Чинно разсѣвшись по стульямъ, скромно, вполголоса вели они бесѣду о новѣйшихъ происшествіяхъ въ городѣ Рожновѣ: о томъ, какъ въ ушатѣ съ помоями затонула хохлатенькая ку-

рочка матушки протопопицы, какъ бабушка-повитуха Терентьевна, середь бѣла дня заглянувъ въ нетоплѣнную баню, увидала на полѣхъ кибимору, какъ повытчива духовнаго правленія Глоріанскаго кладбищенскій дьяконъ Гервасій засталъ въ самую полночь въ своемъ огородѣ, купно съ дѣвицей Капитолиной Гервасіевной. — Говорили, обсуждали, а сами съжадностью поглядывали на предстоявшую трапезу.

Гости первой статьи, ранга высшаго: городничій, исправникъ, протопопъ, управляющій откупомъ, судья, «непремѣнный», засѣдатели уѣзднаго суда, почтмейстеръ, два секретаря изъ судовъ земскаго и уѣзднаго, казначей, винный приставъ продолжали шествіе въ гостиную, а тамъ на диванѣ сидѣла разряженная Катерина Васильевна, супруга Ивана Семеныча, съ Анной Алексѣевной городничихой да съ Марьей Васильевной исправницей. У дивана возлѣ матери стояли два сына Ивана Семеныча, одинъ лѣтъ девяти, другой восьми, оба въ красныхъ рубашечкахъ, обшитыхъ бѣлыми шнурами. Дико смотрѣли мальчишки: старшій мрачно ковырялъ пальцемъ въ носу, а младшій, увидя издали протопопову бороду, разинулъ ротъ, собираясь задать исправную реву. Онъ не замедлилъ, братишка завторилъ ему, и Катерина Васильевна, схвативъ сыновей за руки, увлекла ихъ въ дѣтскую, и минутъ черезъ пять воротилась къ гостямъ, оправляя помятое платье.

Чай подали. Хоть русскій человѣкъ до чаю охочъ, но, въ ожиданіи будущихъ благъ, гости пили его не до поту лица. Вскорѣ хозяинъ пригласилъ сидѣвшихъ въ гостиной перейти къ залу — водочки выкупать.

— Да ты бы сюда велѣлъ тащить, молвилъ Иванъ Павлычъ почтмейстеръ, хвалившійся передъ тѣмъ, что онъ всего Вольтера наизусть вытвердилъ. Почтмейстеръ всѣмъ говорилъ «ты, и оттого всѣ думали, что онъ вольнодумецъ и вѣруетъ не въ Бога, а въ Вольтера. Иванъ Павлычъ гордился тѣмъ.

— Помилуйте, Иванъ Павлычъ, съ явнымъ замѣшательствомъ отвѣтилъ ему имениникъ, тѣнувъ пальцемъ по направленію къ дивану.

Надъ диваномъ висѣлъ писанный масляными красками портретъ пожилаго господина въ мундирѣ, съ красной лентой черезъ лѣвое плечо и съ двумя звѣздами. Длинный, горбатый носъ и глаза на выкатѣ подъ наморщенными, щетинистыми бровями сурово глядѣли изъ ярко позолоченной рамы.

— Эѣзъ чего струсилъ! захохоталъ почтмейстеръ. — Не живой, авось не укуситъ!...

— Все-таки подобіе, сдержанно молвилъ имениникъ. — Вамъ что?... Вы вѣдь Вѳлтеръ, а мы христіане.

— Да-съ, могу сказать!... —самодовольно отвѣтилъ, поглядывая на меня, Иванъ Павлычъ. — Могу сказать, что Вѳлтера знаю... Ты бы Иванъ Семенычъ, хоть «Оду на разрушеніе Лисабона» раскусилъ, такъ и не сталъ бы призраковъ бояться, — продолжалъ онъ, указывая на портретъ. — Призракъ вѣдь?... А?

— Полноте вамъ!.. неспокойно проговорилъ имениникъ, увлекая нечесаннаго Вѳлтера къ столу съ графинами и графинчиками. — Вы бы лучше вотъ выкушали.

— Можно! отвѣтилъ почтмейстеръ, и прошелся по водочкѣ.

— Славная икорка! замѣтилъ городничій, набивая ротъ хлѣбомъ, вплотную намазаннымъ свѣжей зернистой икрой. — Изъ Саратова?

— Изъ Саратова, отвѣтилъ имениникъ.

— Хорошая икра. Что бы тебѣ, Маркелычъ, такую держать? сказалъ Антонъ Михайлычъ стоявшему у притолки городскому головѣ.

Почтительно подойдя къ «хозяину города», голова съ низкимъ поклономъ и плутовской усмѣшкой промолвилъ:

— Не сходно будетъ, ваше высокородіе. Сами изолите знать, какой здѣсь расходъ.

— Мы бы стали брать, вотъ Степанъ Васильичъ, Алексѣй Петровичъ, Иванъ Семенычъ, всѣ...

— Нѣтъ, ужь увольте, ваше высокородіе. Ей-богу, несходно.

Правъ былъ голова: несходно ему было хорошую вещь въ лавкѣ держать. Икра за прилавкомъ не залежалась бы, въ день либо въ два расхватали бъ ее «благородные» — на книжку. А это значить: «пиши долгъ на двери, а получка въ Твери».

— Пирогъ поданъ!... возгласилъ именинникъ. — Андрей Петровичъ, Антонъ Михайлычъ, милости просимъ. Иванъ Павлычъ, а повторить?

— Можно, отвѣтилъ почтмейстеръ, и повторилъ въ пятый либо въ шестой разъ. Ученикъ Вѳлтера придерживался русскаго, о виноградномъ отзывался презрительно, называя его свекольникѣмъ.

Гости перваго сорта вокругъ стола усѣлись, мелкая сошка пили и ѣли стоя, барыни съ Катериной Васильевной удалились въ ея комнаты. Нельзя жъ при кавалерахъ прихлебывать настоечки да наливочки.

Зашла бѣсѣда о желѣзныхъ дорогахъ. Стоявшій за стульями штатный смотритель съ приличной осторожностью осмѣлился доложить, что было бъ хорошо и даже необходимо для отечественнаго просвѣщенія провести желѣзную дорогу въ Рожновъ. Городничій закинулъ назадъ голову и, съ презрѣньемъ взглянувъ на смотрителя, молвилъ:

— Ишь чего захотѣлъ!

Штатный смотритель поперхнулся кускомъ пирога и съ глухимъ кашлемъ, наклоняясь и закрывая ротъ салфеткой, торопливо вышелъ въ переднюю.

— А что жь?... Недурно бы было, сказать исправникъ.— Съ Волги живыхъ стерлядей сюда бы возили.

Исправникъ, по собственному его выраженію, имѣя «характеръ гастрономическій», держалъ повара, привезеннаго изъ Москвы, и смотрѣлъ на обѣдъ какъ на цѣль человеческой жизни.

— Часты будутъ наѣзды изъ губерніи, отвѣтилъ городничій.—Изъ мундира не вылѣзай. Да и наекладно.

— Правда, подтвердилъ сонмъ благородныхъ. Согласился и гастрономъ-исправникъ.

По угламъ разговоры шли дѣловые. Только и слышно было:

— Къ вамъ послано было отношеніе, на это отношеніе вы отвѣчали...

— А по указу губернскаго правленія...

— Недоимка выросла страшная, хоть ты тутъ тресни, ничего не подѣлаешь...

— А казенная палата и посылаетъ указъ...

— Ну, и заключить его въ тюремный замокъ!

И за столомъ разговоръ съ желѣзныхъ дорогъ на дѣла перешелъ.

— Дѣятельностью могу похвалиться, говорилъ исправникъ.— Загляните когда-нибудь къ намъ въ земскій судъ, Андрей Петровичъ,—посмотрите... Тридцать шесть тысячъ исходящихъ!.. И до этакого числа, могу сказать, я довелъ. При покойникѣ Алексѣѣ Алексѣичѣ рѣдкій годъ двадцать тысячъ набиралось. При моей бытности, значить, въ полтора раза дѣятельность умножилась. Дѣлъ теперь у меня... Ардаліонъ Петровичъ! крикнулъ онъ черезъ столъ секретарю земскаго суда. — Сколько у насъ дѣлъ?

— По суду? басомъ спросилъ секретарь.

— И по суду, и у становыхъ, всего сколько?

— Тысяча восемьсотъ шестьдесятъ девять дѣлъ въ

первому числу показано, пробасилъ Ардаліонъ Петровичъ и хлопнулъ на-лобъ рюмку хересу.

— Возьмите вы это, Андрей Петровичъ, тысяча восемьсотъ шестьдесятъ девять дѣлъ. Среднимъ числомъ хотъ по двадцать листовъ на дѣло положить... вѣдь это... двадцать да шестнадцать.... семнадцать.... вѣдь это тридцать семь тысячъ листовъ безъ малаго. Да еще мало я кладу по двадцати листовъ на дѣло. Такъ изволите ли видѣть, какова у насъ дѣятельность!...

Слова исправника просьбицу означали: когда, дескать, увидите министра, скажите ему: «есть молъ, ваше высокопревосходительство, въ Рожновѣ исправникъ, Степанъ Васильчъ, отличный исправникъ, дѣятельный, привелъ уѣздъ въ цвѣтущее, можно сказать, положеніе».

А вечеромъ на сонъ грядущій такъ исправникъ мечталъ: «Скачетъ отъ губернатора нарочный, скачетъ, скачетъ, прямо ко мнѣ. «Пожалуйте, говорить, къ губернатору для объясненія по дѣламъ службы». Ёду, разумѣется, немедленно, являюсь... А губернаторъ на шею ко мнѣ. «Поздравляю, говорить, поздравляю, Степанъ Васильчъ, поздравляю!» А самъ крестикъ изъ пакета вынимаетъ, къ мундиру мнѣ припикиваетъ. Я, разумѣется, въ плечо его превосходительство, руку ловлю... Не даетъ. «Лучше, говорить, я тебя въ губы»... Заманчиво, чортъ возьми! Ей-богу, заманчиво!... Какой бы объдище задалъ!... Какъ свиней кормятъ пареной рѣпой, такъ бы всѣхъ закормилъ я трюфелями!... Пироговъ бы стразбургскихъ выписалъ, омаровъ... На каждого по пирогу да по цѣльному омару!... Такими бы дюшесами столъ изукрасилъ, что кто бъ ни взглянулъ, такъ бы и обомлѣлъ».

Пиршество межъ тѣмъ продолжалось. Именинникъ торопливо перебѣгалъ отъ гостя къ гостю, упрасивая ровно

Богъ знаетъ о какой милости побольше покушать. Напрасно онъ хлопоталъ, и безъ того гости охулки на руку не клали. Исчезло со столовъ пять кулебякъ съ вязигой да съ семгой, исчезъ чудовищный осетръ, достойный украсить обѣденный столъ любого откупщика; исчезли бараньи котлеты съ зеленымъ горошкомъ и даровые рябчики, напикованные не вполнѣ свѣжимъ домашнимъ саломъ. Все исчезло въ безднѣ «благородныхъ» утробъ... Со славой тѣ утробы поспорили бы съ утробами поповскими... Про нихъ, къ общему удовольствію гостей, рожновскій Вѳтеръ, обращаясь къ отцу протопопу, сказалъ: «сидитъ попъ надъ Псалтырю, другой попъ съ нимъ рядомъ. Чтѣ бъ означало, спросилъ одинъ, «бездна бездну призываетъ»? Другой отвѣчаетъ: «это, говоритъ, значить: попъ пона въ гости зоветъ».

Изъ-за стола встали грузны. Вѳтеръ хотѣлъ было домой идти, но, отыскивая картузъ, сѣлъ нечаянно на стулъ у окошка и тотчасъ заснулъ. Духовенство ушло, вслѣдъ за нимъ и мелкая сошка.

Оставшіеся завели рѣчь про губернаторскую ревизію, потомъ заговорили о портретѣ, висѣвшемъ въ гостинной именинника.

— Расскажи, Иванъ Семенычъ, про портретъ-отъ, сказалъ городничій.

— Да вы вѣдь ужъ знаете, Антонъ Михайлычъ, не смѣло отозвался Иванъ Семенычъ.—Зачѣмъ же повторять?

— Да вотъ нашъ гость дорогой, Андрей Петровичъ, не знаетъ.

— Эхъ, вскрикнулъ Иванъ Семенычъ, махнувъ рукою.— Не понять Андрею Петровичу!... Мы вѣдь люди простые, степняки, не петербургскіе... Нѣтъ ужъ, Антонъ Михайлычъ,—пуцай его висить!.. Богъ съ нимъ...

Мы жъ теперь маленько подгуляли... Нехорошо въ такомъ видѣ про такіа дѣла говорить.

Неотступныя просьбы поколебали имейинника. Тихо подошелъ онъ къ гостиной, осторожно притворилъ дверь и усѣлся въ кружокъ. На лицѣ его замѣтно было душевное волненіе. Положилъ онъ широкія ладони на колѣна, свѣсилъ немного голову и, помолчавши, вполгблоса началъ рассказывать:

— Его превосходительство Алексѣй Михайлычъ Ободуевъ, нашъ губернской предводитель, — его, Андрей Петровичъ, вы конечно, имѣете честь знать, — изволили лѣтъ пять тому назадъ въ Рожновскомъ уѣздѣ съ аукціона купить заложенное и просроченное имѣніе гвардіи поручика Княжегорскаго, село Княжово съ деревнями... Въ томъ селѣ домъ былъ старый-престарый, комнаты — сараи, потолки со сводами, стѣны толстыя, ровно московскій Кремль. Въ стары-то годы, знаете, любили строиться прочно, чтобъ строенью вѣку не было. Толсто, несуразно, зато прочно выходило.

Домъ у Княжегорскаго былъ запакощенъ хуже не-знайчего. Когда въ нашей губерніи вторая бригада восьмой дивизіи стояла, онъ его подъ военный постъ отдавалъ И стѣны, и полы, и потолки въ такомъ видѣ послѣ христолюбиваго воинства остались, что самому небрезгливому человѣку стоило только взглянуть, такъ бывало цѣлый день тошнить... И въ такомъ-то домѣ — слышимъ — его превосходительство, Алексѣй Михайлычъ, желаетъ полѣтамъ проживать. Оченно ему понравилось мѣстоположеніе Княжова.

Съ диву пали. «Какъ же это, думаемъ, его превосходительство Алексѣй Михайлычъ, особа обращенія деликатнаго, воспитанія тонкаго, въ вертепѣ станетъ жить?» Однако жъ года черезъ полтора его превосходительство,

можно сказать, восьмое чудо сотворили: изъ запакощеннаго дома такой, могу вамъ доложить, соорудили, что хоть бы въ Петербургъ возлѣ государева дворца поставить. Зимніе сады, цвѣтныя стекла, бронзовыя рѣшетки, карнизы, изъ бѣлаго камня сѣченныя. Не домъ — чертоги!

Такъ и ахаютъ всѣ, а его превосходительство Алексѣй Михайлычъ изволятъ говорить: «подождите, то-ли еще будетъ». И выписали они изъ Риги нѣмца — Карла Иваныча, чтобы онъ Княжовскій домъ живописью украсилъ. Приѣхалъ Карлъ Иванычъ, а былъ онъ нѣмецъ настоящій, ни единого то-есть слова по-русски не разумѣлъ. Послѣ наторѣлъ, а на первыхъ порахъ ровно по-лоумный былъ: ты ему говоришь дѣло, а онъ выпучить глаза да головой мотаетъ. Смѣшной былъ нѣмецъ!

Чего только онъ не натворилъ: потолоки расписалъ, нагихъ Венеръ, Купидоновъ и другихъ языческихъ боговъ намалевалъ, и всѣ-то они вышли у него народъ здоровенный, матерой, любо-дорого посмотреть!

Живучи въ Княжовѣ, Карлъ Иванычъ въ Рожновѣ частенько бывалъ.

Подружился я съ нимъ, когда онъ по-русски сталъ понимать. Мастеръ наливки дѣлать и все по рецептамъ. И меня тѣми рецептами снабдилъ. Наливочки, смѣю полагать, изряднехоньки. Андрей Петровичъ, сливяночки не прикажете ли, али вотъ поляниковки!... Деликатесь, могу доложить!...

Однажды приѣзжаетъ нѣмецъ въ городъ, прямо ко мнѣ.

— Что, говорю, Карлъ Иванычъ, за чѣмъ Богъ принесъ?

— Дѣльце, говоритъ, Ифанъ Симонишъ; есть.

— Какое дѣльце?

Пошелъ нѣмецъ рассказывать. .

Дѣло вотъ какое было. Въ ихней Нѣмечинѣ, въ самой то-есть въ настоящей Нѣмечинѣ, въ Ревелѣ, сродникъ померъ у Карла Иваныча. и ему доводилось наслѣдство получить. А какъ получить—не знаетъ. По дружбѣ взялся я ходатайствовать, довѣренность взялъ у него и пошелъ въ Нѣмечину бумаги писать. Возни много было, нѣмцы—народъ ремесленный: законовъ не разумѣютъ... И присутственны-то мѣста у нихъ не какъ у людей: «обергерихты» да «гутманы», самъ чортъ не разберетъ!... А Карлъ Иванычъ горячка: ему бѣ въ одинъ день наслѣдство взять безо всякой переписки. «Нѣтъ, говорю, братъ, шалишь, не въ порядкѣ будетъ, ты повремени, а я стану писать какъ слѣдуетъ». На силу могъ урезонить. Наставивши его на должный порядокъ, безъ малаго полтора года велъ его дѣла. Выслали напослѣдокъ Карлу Иванычу изъ Ревельской Нѣмечины шестьсотъ цѣлковыхъ.

Зарадовался. На козыхъ своихъ ножкахъ такъ и подпрыгиваетъ, рученки такъ и потираетъ...

— Сколько, говорить, надо, Ифанъ Симонишь, благодарности?

А я ему:

— Богъ съ тобой, Карлъ Иванычъ!... Съ ума ты что ли спятилъ... Я хлопоталъ по дружбѣ, денегъ не возьму.

А онъ:

— Да мнѣ, говорить, совѣстно, Ифанъ Симонишь.

Хорошій былъ человекъ, даромъ что Нѣмецъ, совѣсть зналъ.

— А коли, говорю, совѣстно, такъ подари картинку своего писанья.

Такъ и запрыгалъ... Руку мнѣ пожимаетъ, меня же благодарить, что картину у него потребовалъ... Слезы

даже на глазахъ выступили. А не тому радъ, что деньгами мнѣ не заплатили. «Мнѣ, говорить, то дорого, что вы, Ифанъ Симонишъ, искусство любите».

А я ему:

— Ужъ тамъ, братъ, люблю ли я, нѣтъ ли, а картинку-то мнѣ подай.

— Есть, говорить, у меня «Разбойникъ Венеціанскій», младенца рѣжетъ, да есть, говорить, «Итальянское Утро», да есть, говорить, губернаторскій портретъ.

Разбойника взять поопасился. По должности неприлично... Стряпчій... У царскаго-то ова да вдругъ разбойникъ въ домъ заведется?... Хоть и не русскій, а все нехорошо... Опять же супруга каждый годъ тяжела бываетъ, неравно на послѣднихъ часахъ взглянетъ на «Разбойника» да испужается... Портретъ взять, думаю, будетъ не по чину, смѣяться бы не стали.— «Какая-нибудь, дескать, пиголица, уѣздный стряпчій, а тоже подобіе его превосходительства у себя имѣетъ». Давай, говорю, «Итальянское Утро». На томъ и рѣшили.

Добрая недѣля прошла, а «Утра» нѣтъ какъ нѣтъ... Сталъ я подумывать, не надулъ ли меня Нѣмецъ, по губамъ только не помазалъ ли? Однакожь, нѣтъ, везутъ изъ Княжова ящикъ аршина два длины, полтора ширины. Вотъ оно «Утро»-то!... Честный человѣкъ, не надулъ.

Жену кликнулъ... Гляди, молъ, «Утро» привезли. Дѣти прибѣжали.

— Папаса, папаса, голосатъ, это пастила что-ли?

— Нишкните, говорю, какая тутъ пастила! Тутъ «Итальянское Утро»: солнышко восходить, коровки идутъ, пастушокъ на свирѣлкѣ играетъ.

Ребятишки такъ и запрыгали; одинъ кричитъ: «папаса, мнѣ коловку!» другой голосить: «папаса, пасуська!»

Какъ вскрылъ да поставилъ я картину на столъ, такъ даже ахнулъ.... Этакой ты безстыжій, Карлъ Ивановичъ! Къ женатому человѣку да такую пакость!... Утра-то на картинѣ вовсе нѣтъ: стоитъ молодая дѣвка въ одной рубахѣ, руки моетъ, рубашенка съ плечъ спущена, все наружи, рядомъ постель измятая... И другое житейское — все, тутъ же!

Жена какъ взвигнетъ да всплеснетъ руками. Плюнула на картину, говоритъ:

— Срамникъ ты, срамникъ этакой, Иванъ Семенычъ!.. На старости лѣтъ пакостями вздумалъ заниматься!... Я, говоритъ, отцу Симеону пожалуюсь, задалъ бы тебѣ на духу хорошенъкаго нагоняя, эпитимью наложилъ бы. А меня, покажѣсть эта мерзость въ домѣ, ты и не знай.

Ушла, и дверью хлопнула.

А ребятишки пальцами въ картину тычутъ, кричатъ: «кормилка! кормилка!» А кучеръ Гришка, что ящикъ въ комнаты вносилъ, сзади стоитъ, ухмыляется да бормочетъ себѣ подъ носъ: «ровно, кума Степанида».

— Вонъ всѣ пошли! крикнулъ я.

Остался одинъ передъ «Утромъ», разглядывать сталъ... Бѣсъ и ну смущать... Глаза масляные, съ поволокой, зубы бѣлые, сама дородная; смугла, за то грудиста, а волосы смоль, какъ есть смоль черные.

Гляжу, гляжу, а самъ чувствую, какъ грѣхъ-отъ на душу лѣзетъ. Мурашки по спинѣ... Дышишь — задыхаешься, въ сердце ровно горячей иглой кольнуло тебя. Разбѣжались глаза... Хорошо намалевано!.. Да гдѣ жъ «Утро-то итальянское?»

Вспомнилъ, что въ законѣ, въ бракѣ то-есть состою — нечего, значить, на чужую красоту глаза пялить... Какую Богъ послалъ — той и держись, а на чужую не смѣй

зариться, грѣшныхъ мыслей не умножай!... Такъ Господь повелѣлъ.... Грѣховодникъ ты, грѣховодникъ, Карлъ Ивановичъ! Вотъ оно въ тихомъ-то болотѣ черти живутъ. Тихоня, скромникъ, бывало на вурносую, рябую стряпку взглянетъ, такъ весь зардѣетъ, а вотъ чѣмъ занимается!...

Жену кой-какъ усовѣстилъ, резоны ей представлялъ всякіе: даровому-де коню. матушка, въ зубы не смотрятъ, а тебѣ, говорю, опасаться нечего, дѣвка не живая.

Степанидой попрекнула. А я ей:

— Степанида, говорю, матушка, вещь живая, и ты сама знаешь, что я теперь—ни-ни. А это, говорю, картина, вещь бездушная, грѣха отъ нея случиться не можетъ.

Такъ да этакъ, уговорилъ Катерину Васильевну повѣсить картину въ гостиной.

Повѣсили. Только сталъ я замѣчать, что моя Катерина Васильевна невеселѣ ходить; каждый разъ, что ни пройдетъ черезъ гостиную, плюнетъ. Иной разъ всплакнетъ даже. Станешь что-нибудь говорить съ лаской, она: «ступай, говорить, въ гостиную, тамъ у тебя «Итальянское Утро».

Раздоръ семейный, несогласіе!.. Ахъ ты нѣмецъ ока-
янный!...

Рождество Христово подошло, съ визитами всѣ. Мужчины пріѣдутъ—съ «Утра» глазъ не сводятъ, а барыни—хоть святыхъ вонъ неси. «Человѣкъ вы немолодой, Иванъ Семенычъ,—корятъ меня,—малыхъ дѣтей имѣете, а такой соблазнъ въ честной домъ внесли... Бога не боитесь!..» И ни одна, бывало, мимо картины не пройдетъ, чтобы не плюнуть!... А небось, какъ у его превосходительства Алексѣя Михайлыча въ Княжовѣ балы бывають, такъ изъ угольной отъ Аполлоновой статуи нашихъ барынь плетью не отгонишь.

Житія не стало отъ окаяннаго «Утра». Отецъ Симеонъ

началить сталъ: «грѣхъ, говорить, въ одной комнатѣ со святыми иконами богомерзкое изображеніе держать.»

Жаль было картинки. Не бросить же!... Ежели въ гостиной нельзя держать, перенесу ее въ заднюю, — маленькая тамъ у меня горенка есть, для прохлады...

Хуже стало. Весь Рожновъ заговорилъ, что царское око въ потаенный развратъ ударился! Отецъ протопопъ заходилъ, строго выговаривалъ.

«Провались ты, думаю, окаянный нѣмецъ, со своимъ «Итальянскимъ Утромъ»! Заколотилъ его въ ящикъ, и назадъ въ Княжово. «Давай, пишу Карлу Ивановичу, губернатора».

О ту пору, какъ я «Утро» отправлялъ, его превосходительство господинъ губернаторъ у насъ въ Рожновѣ на ревизіи былъ. Приѣхалъ грозный, и уѣхалъ грозный. Такой робости задалъ, такъ всѣхъ понастроилъ, что только Господи ты Боже!... Во все самъ входилъ: и сукно на столахъ охаялъ, и коверъ, говорить, по закону долженъ быть... Замѣтилъ, что законы не за замкомъ лежать, что стулья поломаны, на заднюю лѣстницу даже ходилъ. Всѣмъ досталось, а мнѣ изволилъ сказать: «ты ни за чѣмъ не смотришь, ничего не видишь!» Такъ и сказалъ... Ей-Богу!

Думаю: «Ну, какъ нѣмца да продернеть на портретъ... Какъ угораздитъ его, чортова сына, безъ орденовъ изобразить. Повѣсить нельзя будетъ его превосходительство. Хуже «Итальянскаго Утра» выйдетъ.

Везутъ ящикъ. Тутъ я ни жену, ни дѣтей не позвалъ, вдвоемъ съ Гришкой ящикъ вскрывали... Ахъ ты, нѣмецъ окаянный!... Звѣзду намалевалъ, а ленты нѣтъ... Да еще во фракѣ изобразилъ начальника-то губерніи!.. А у фраката, можете себѣ вообразить, лацканъ больше чѣмъ ползвѣзды закрываетъ.

А сходствія много; и смотритъ грозно, и руку за жилетъ. Такъ вотъ, кажется, сейчасъ и скажетъ: «а ты чего смотришь, дуракъ?»

Повѣсилъ я портретъ въ гостиной надъ диваномъ. Спервоначалу у насъ въ домѣ все посмирнѣй пошло; и жена меньше ругается, и развратомъ не попрекаетъ. Кто ни придетъ, всякій, бывало, съ почтеніемъ взираетъ. Одинъ Иванъ Павлычъ, ну да онъ что?... Вѣлтеръ такъ Вѣлтеръ и есть.

Заварилось той порой казусное дѣло. Окружной съ откупщикомъ не поладилъ, каши ему наварилъ. Изъ-за выставокъ дѣло пошло. Знаете, выставка пятидесятидневная, а сидятъ съ виномъ круглый годъ. Окружной взерошился, дѣло поднялъ. Произвели слѣдствіе, въ уѣздный судъ представили, плохо откупщику. Самъ прискакалъ... Заметался во всѣ стороны: «отцы, говоритъ, родины, выручайте». Съ окружнымъ на мировую, съ нами тоже.

Только-что уѣхалъ онъ отъ меня, стою въ гостиной, считаю благодетню. Поднялъ глаза, варомъ меня обдало! Его превосходительство глаза такъ и выпучилъ. «А! мошенникъ, попался!... Въ моемъ виду берешь!... А по Владиміреѣ хочешь?... А?...» Руки съ деньгами я за себя, самъ думаю: «а въ самомъ дѣлѣ, неловко въ присутствіи его превосходительства, яко бы благодарность получать. Оно, конечно, не въ самоличности, однако жъ подобіе».

Да съискоса и глянулъ на портретъ... диво, ей богу!... — Не страшно.

«Однако жъ, думаю, что жъ это за оказія?» Сталъ замѣчать:—никто не боится портрета, даже и ребятишки. Старшій-отъ у меня побойчѣе, безъ робости въ гостиную ходитъ, запрыгаетъ на одной ножкѣ передъ портретомъ, спуститъ рукава съ рученокъ, да и кричитъ во все горло: «Альмянинъ, альмянинъ, больсеносой альмянинъ!»

— Какой, крикну ему, армянинъ?—Это начальникъ, ты долженъ имѣть къ нему уваженіе.

А онъ прыгаетъ да твердить: «Не нацальникъ—альмянинъ! Не нацальникъ — альмянинъ»... Да все на одной ножеѣ, да все на одной ножеѣ. Сѣкъ два раза—неймется.

Цесарцы ¹⁾ въ Рожновъ пріѣхали, моя Катерина Васильевна и влиени ихъ... Бабье дѣло, имъ бы хотѣ поглазѣть на нарядныя вещицы. Разложили цесарцы товары въ залѣ. Жена и ну приставать: купи да купи ей браслетку да брошку. Я сначала будто не слышу, а какъ надоѣла, вызвалъ ее въ гостиную, сталъ урезонивать.

— Образумься, говорю матушка! Пристало ль тебѣ, говорю, браслеты да брошки носить? Вѣдь ты ужъ не молоденькая!...

Какъ ругнетъ меня!.. Да разъ, да другой, и пошла, и пошла.

— Что ты, говорю, матушка, раскудахталась? Хотѣ бы его превосходительства постыдилась!

А Катерина Васильевна какъ захохочетъ, такъ даже и покатилась.

— Дуракъ, говоритъ, ты, дуракъ... Какое это начальство? Это, говоритъ, тряпка малеванная!... Это, говоритъ, вотъ что...

Да какъ харкнетъ прямо въ носъ его превосходительства.

¹⁾ Цесарцами назывались мелкіе торговцы, развозившіе по городамъ и помѣщичьимъ деревнямъ товары и гѣкарства. Они назывались и „венгерцами.“ Это были словаки, много между ними было и жидовъ, прикидывавшихся словаками. Лѣтъ сорокъ или болѣе тому назадъ, вслѣдствіе злоупотребленій жидовъ, особенно по продажѣ гѣкарствъ, иногда даже ядовъ, торговля эта была стѣснена до того, что вскорѣ цесарцы у насъ совсѣмъ перевелись.

Я такъ и ахнулъ... А какъ прошло время, думаю, что жь это въ самомъ дѣлѣ? Не похоже развѣ?

Сталъ больше замѣчанія держать. Что за шутъ, прости Господи... Никакой робости передъ портретомъ... Что такое?... До того дошло, что иной разъ послѣ пирушки голова развинтится, — тряпку съ уксусомъ приложишь, травничкомъ опохмѣлишься, да принеся подушку въ гостиную, положишь ее на диванъ, да въ халатѣ подъ портретомъ и ляжешь. Лежишь да посматриваешь, иной разъ даже скажешь мысленно: «Ну что? Ну вотъ я и пьянъ, и въ судъ не пошелъ, а ты ничего не можешь сдѣлать, даромъ что губернаторъ». То-есть, я вамъ доложу, ни малѣйшей робости. Тутъ только я догадался, что портретъ-отъ былъ привезенъ на другой день послѣ того, какъ его превосходительство намъ копоты задалъ. Со страху-то на первое время онъ грозно смотрѣлъ и уваженіе къ себѣ вселялъ, а какъ дѣло-то поулеглось, и портретъ-отъ приглядѣлся, робости и не стало.

Не ловко дѣло. Ребятишки подростаютъ, и ежели мальчишки съ малолѣтства не будутъ уважать начальство, что выйдетъ изъ нихъ, какъ выростутъ?... Сохрани Господи и помилуй отъ такого несчастія! Взялъ я отпускъ дѣнь на четырнадцать, въ губернію поѣхалъ. Портретъ съ собой.

Тамъ узнаю, что его превосходительство новой монаршей милостію взысканъ, Владиміра второй степени большаго креста получить удостоился. Портретъ-отъ, значитъ, я и встати привезъ, другую звѣзду надо пририсовать.

Живетъ у насъ въ губерніи Иванъ Лазаревъ, Цараповскій отпущенникъ. Живописью кормится: вывѣски по городу пишетъ и Божьимъ милосердіемъ отчасти промышляетъ, иконы то-есть пишетъ, и хоша запиваетъ, однако богомазъ изъ наилучшихъ. — Портреты, окромѣ

царскихъ да его превосходительства, теперь пересталъ писать; портретная-де работа совсѣмъ подошла и совсѣмъ, почитай, перевелась съ тѣхъ поръ, какъ угораздило Нѣмца какого-то штуку выдумать: посадить человѣка передъ ящикомъ, портретъ въ ящикѣ самъ готовъ. Ни дать, ни взять, какъ комедянты яичницу въ шляпѣ стряпаютъ. Нечистая-ль сила тутъ малюетъ, другое ль что, только эти ящики, говоритъ Иванъ Лазаревъ, насущный хлѣбъ у нашего брата отбили... Вѣдь на вывѣскахъ да на Божьемъ милосердіи далеко, говорить, не уѣдешь.

Я къ нему, къ Ивану Лазареву. Пріятеля-то, Карла Иваныча, въ нашей губерніи тогда ужъ не было, въ Нѣмечину уѣхалъ. Говорю Лазареву: «вотъ, братецъ ты мой, портретъ его превосходительства, припиши ты другую звѣзду, въ мундиръ наряди и въ ленту, да въ лицѣ величія и строгости подпусти. За одно ужъ и золотую раму спроворь.

Поладили за тридцать цѣлевыхъ кругомъ.

— Смотри же, говорю, не попорти, работа нѣмецкая.

— Помилуйте, говорить, батюшка Иванъ Семенычъ. Намъ нѣмецка работа нипочемъ. Бывала въ нашихъ рукахъ самая даже итальянская. Не самоучкой дошли до искусства, покойникомъ бариномъ изъ годовъ Ступину въ академическую школу былъ отданъ. Десять лѣтъ, сударь, въ Арзамасѣ выжилъ! Рафаэля можемъ писать.

— Къ тому я тебѣ говорю, Иванъ Лазаревъ, что руки-то у тебя больно трясутся.

— Это, говорить, ваше благородіе, отъ пьянства. Запоемъ пью. А вы не сумлѣвайтесь; хоша рука и дрожитъ, однакожь на губернаторскихъ портретахъ шибко набита. Такъ я ее, сударь, набилъ, что вотъ хоть сейчасъ, въ вашемъ виду зажмурюсь и портретъ напишу:

въ ростъ, такъ въ ростъ поясной, такъ поясной. — Очепно много заказываютъ.

Ждалъ я недолго. Несетъ Лазаревъ портретъ. Передѣлалъ на диво. Своимъ добромъ хвалиться не велятъ, а тутъ ужъ просимъ извиненія.... Хорошъ! утаить нельзя.

Какъ принесъ его Иванъ Лазаревъ — взглянулъ я, и глаза опустилъ.

— Спасибо, говорю. — Вотъ твои деньги, вотъ еще полтинникъ на водку. Одолжилъ!....

— Питеръ, не губернаторъ, говоритъ Иванъ Лазаревъ, отступивъ шага на три и закинувши голову.

— Именно, говорю, хотъ въ Питеръ такой портретъ.

— Громы, говоритъ, мечетъ грозный зѣвъ *).

— Грозенъ, говорю, дѣйствительно. И зѣвъ, говорю, у его превосходительства очень грозенъ. Зарычитъ на ревизіи — душа въ пятки уйдетъ. Ну, говорю, можно тебѣ чести приписать, Иванъ Лазаревъ, руки у тебя золотыя. Жаль только, что руки-то золотыя, да рыло поганое. Зачѣмъ не въ мѣру пьешь?

— Эхъ, завей горе веревочкой!... Прощайте, батюшка Иванъ Семенычъ. Теперь за ваше здоровье запилю Ванька, загуляю.

Чтѣ ни знаю живописцевъ, до вина очень охочи. Хотъ и Карла Иваныча взять: бывало такъ нарѣжется, что и русскому не сѣмѣтъ! А изъ господскихъ, что отдають въ ученіе живописному, все давятся побольше; баринъ

*) Иванъ Лазаревъ въ Арзамасѣ у Ступина [учился минерологіи, знатъ про Зевса и Юпитера. Иванъ Семенычъ, не получивъ классическаго образованія, полагають, что ему онъ про Петербургъ да про губернаторскій зѣвъ говорить.

учить, учить человѣка, а какъ только выученный малый поступить въ барскій домъ, тотчасъ и задавится. Ну, и убытокъ.

Привожу домой обновленный портретъ, вѣшаю на прежнее мѣсто. Тишина райская пошла. Жена ни гугу, а дѣти разревутся, нянька прямо ихъ въ гостиную. Покажетъ на портретъ, скажетъ: «а вонъ бука-то!» Ребенокъ и стихнетъ.

Сами изволите видѣть: и величіе, и строгость, и важность, все. И двѣ звѣзды, и лента черезъ плечо.

Случится въ судъ опоздать, такъ я изъ спальной черезъ кухню, а мимо портрета не могу. Не вынесу, ей-богу, не вынесу!

Да не я одинъ... Помните, Антонъ Михайлычъ, какъ въ прошломъ году я полученіе безпорочной пряжки праздновалъ. Этакъ же вотъ собрались всѣ у меня, Андрей Петровичъ, только вечеромъ. Послѣ ужина затѣяли жженку варить. Середь гостиной столъ поставили, свѣчи вынесли, зажгли жженку. Только вдругъ вотъ Антонъ Михайлычъ какъ закричитъ: «Убери, Иванъ Семенычъ, убери поскорѣй!...» Взглянули, а отъ пламени-то личико его превосходительства такъ и морщится, такъ и хмурится. Пошелъ я къ Катеринѣ Васильевнѣ, взялъ драдемамовый платокъ и съ благоговѣніемъ завѣсилъ портретъ.

— Да, сходствіе большое, замѣтилъ, затыгиваясь жуковымъ, Антонъ Михайлычъ.

— Мечта! замѣтилъ исправникъ.

— Хороша мечта, возразилъ городничій.— А въ прошлую ревизію какъ за мосты да за гати кого-то пудрили? Тоже мечта была?

— Нѣтъ, Степанъ Васильичъ, подхватилъ именинникъ, — тутъ не мечта. На что Иванъ Павлычъ, и тотъ

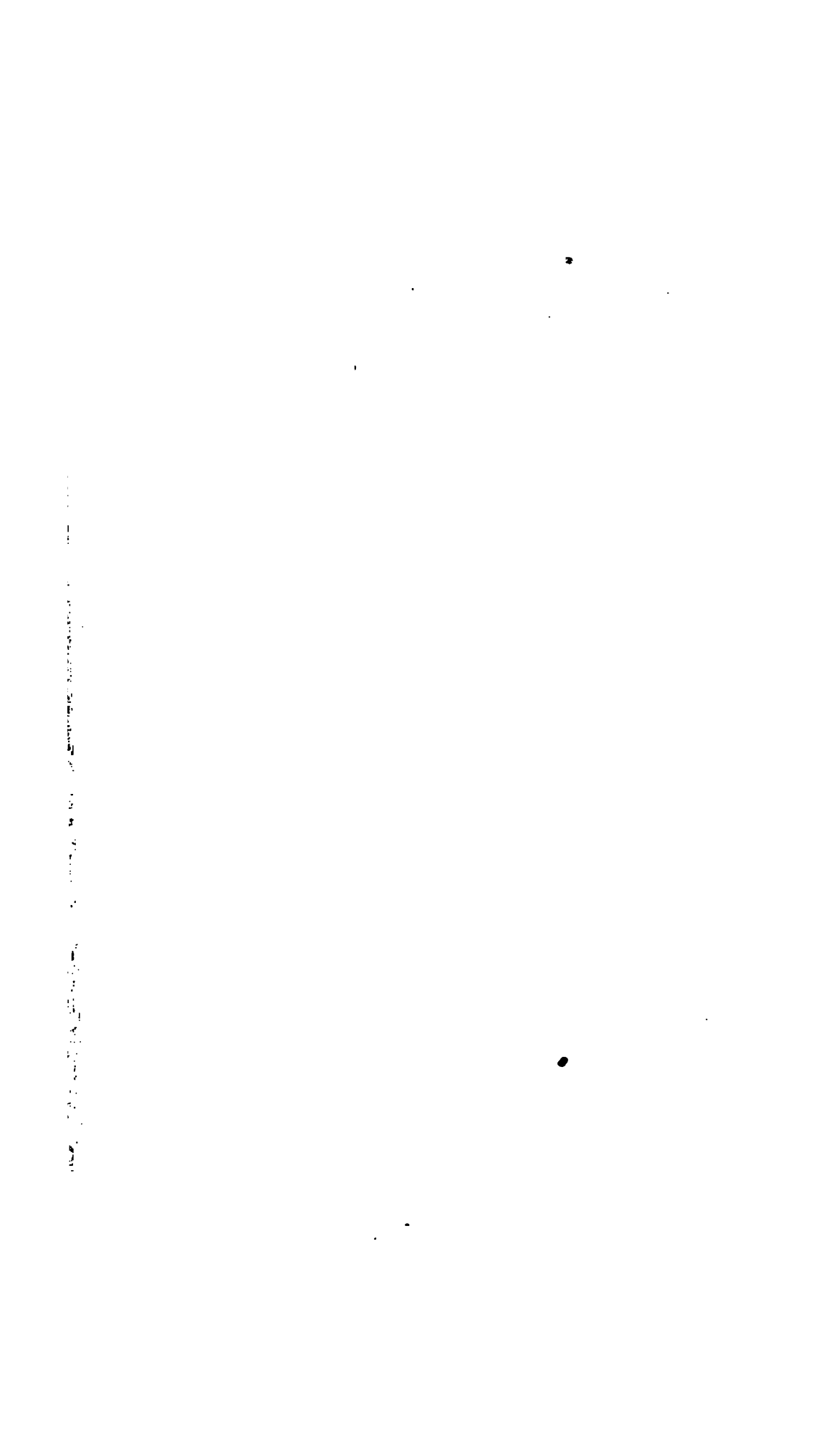
передъ портретомъ горла зря не распускаетъ. Да гдѣ онъ?

Оглянулись: Вѳтеръ, сидя на стулѣ и склонивъ на окно буйную голову, спалъ богатырскимъ сномъ. Пять экстръ приди, десятка два эстафетъ прїѣзжай,—не добудятся.

— Свалило,—мотнувъ головой, замѣтилъ городничій.

Петербургъ.
1859.

HA CTABLIH.



НА СТАНЦІИ.

Надвигалась грозовая туча; изрѣдка сверкала молнія, порой раскатывался громъ въ поднебесьи... Сталь накрапывать дождикъ, когда пріѣхаль я на Рѣшинскую станцію.

Станціонный домъ сгорѣлъ, на постройку новаго третій годъ составляется смѣта: пришлось укрываться отъ грозы въ первой избѣ.

Крестьяне въ полѣ на работѣ. Въ избѣ восьмилѣтняя дѣвчонка качаетъ люльку, да сѣдой старикъ шлею чинить.

— Богъ на помощь, дѣдушка!

— Спасибо, кормилецъ!

— Чтѣ работаешь?

— Да вотъ шлею чиню. Микешка, мошеникъ, намедни съ исправникомъ ѣздилъ, да пѣсь его знаетъ, въ кабакъ-ли въ Еремийнѣ заѣхалъ, въ городу-ль у него на станціи озорникъ какой шлею изрѣзалъ... Чтѣ станешь дѣлать!... Нѣ-смѣхъ, извѣстно, что нѣ - смѣхъ. Видятъ, парень хмѣльной, ну и потѣшаются, супостаты... Шибко сталъ зашибать Микешка-то, больно шибко. Бѣда съ нимъ да и полно.

— Что онъ тебѣ?... Сынъ али внукъ?

— Какое сынъ! Въ работникахъ живетъ.

— Зачѣмъ же ты пьяницу въ работникахъ держишь?

— А какъ же его не держать-то?... Его дѣло сирот-

ское — сгинуť можетъ человѣкъ... А у меня въ дому все-таки подъ грозой. У него-же мать старуха, вонъ тамъ на задахъ въ кельѣнѣ живетъ. Ей-то какъ же будетъ, коль его прогону?... Она, сердечная, только сыномъ и дышетъ.

Пережидая грозу, долго толковалъ я съ Максимычемъ — такъ звали старика. Зашла рѣчь про исправника. Максимычъ его расхваливалъ.

— Исправникъ у насъ баринъ хорошій, самый подходящий, говорилъ онъ. — Не то, чтобы драться, какъ покойникъ Петръ Алексѣичъ — царство ему небесное! — словомъ никого не обидитъ. Славный баринъ — дай Богъ ему здоровья — все творить по закону. А покойникъ Петръ Алексѣичъ — лютой былъ, такой лютой, что не приведи Господи. Звѣрь, одно слово, звѣрь. А нынѣшній, Алексѣй-отъ Петровичъ, баринъ тихій, богобоязненный: вотъ третій годъ доходитъ — волосомъ никого не тронулъ. А самъ весь въ кавалеріяхъ, а на правой рѣчь двухъ перстиковъ нѣтъ: на войнѣ, слышь, отсѣкли.

Вотъ ужъ третій годъ сидитъ онъ у насъ въ исправникахъ, и все по закону поступаетъ. Уложенна книга всегда при немъ. Чуть какую провинность за мужикомъ примѣтитъ, тотчасъ ему ту провинность въ Уложенной сыщеть и дать вычитать самому, а коли мужикъ неграмотный, пошлетъ за грамотѣемъ, не то за дьячкомъ аль за дьякономъ, аль и за попомъ. — Велитъ статью вслухъ прочитать, растолкуетъ ее, да что по статьѣ слѣдуетъ, то и сдѣлаетъ, а каждый разъ маленько помилуетъ. Вѣдь во всякой статьѣ и большой есть взыскъ, и маленькій: такъ Алексѣй Петровичъ, дай Богъ ему здоровья, все маленькій кладетъ... И всегда судитъ на людяхъ, сотскіе каждый разъ всю деревню собьютъ, чтобы всѣ видѣли, чтобы всѣ слышали, какъ онъ судъ и расправу даетъ. «Терпѣть, говоритъ, не могу творить судъ въ тайнѣ, пуцай, говоритъ, весь міръ знаетъ,

что я сужу по правдѣ, по закону, по совѣсти...» И точно... Всегда взыскъ дѣлаетъ, какъ въ Уложенной книгѣ батюшка царь написалъ... И завсегда маленько побавить взыскуто.. Отецъ родной, не баринъ!.. Всѣ имъ довольны остаются, Бога благодарятъ за такого исправника.

Спервоначалу, какъ наѣхалъ, мужички, какъ водится, сложились было всей вотчиной: хлѣбъ-соль ему поднесли и почестъ. Хлѣбъ-соль принималъ: «отъ хлѣба, отъ соли, говоритъ, грѣхъ отказываться, и потому я, по Божьему велѣнью, его принимаю, а взятокъ и посуловъ брать не могу, а потому и вашей мнѣ не надо. Не такой, говоритъ, я человекъ, служилъ, говоритъ, Богу и великому государю вѣрой и правдой, на войнѣ кровь проливалъ и не одинъ разъ жизнь терялъ. Стало-быть, взятками мнѣ заниматься нельзя, мундира марать я не долженъ. А законъ, говоритъ, буду надъ вами наблюдать строго: у меня, говоритъ, чтобы все, какъ по стрункѣ ходило. Напередъ приказываю, чтобы въ каждомъ домѣ весь законъ исполнялся. Не то, говоритъ, держите ухо востро. Напередъ говорю: строго взыщу, какъ по закону слѣдуетъ, взыщу. Мнѣ, говоритъ, что? Притѣснять мужика и отъ Бога грѣхъ, и по своей душѣ не могу, потому что вѣкъ свой въ военной службѣ служилъ. А что законъ предписываетъ, содержать буду крѣпко и супротивъ закона не единому человеку понововки не дамъ».

На такія рѣчи осмѣлились мужички спросить Алексѣя Петровича: про какіе же это законы изволить онъ рѣчь вести. «Про всѣ, баеть, законы говорю, сколько ихъ ни на есть, чтобы всѣ исполнялись до единого».

Мужики опять осмѣлились доложить:

— Мы-де, ваше высокоблагородіе, законовъ не разумѣемъ. Люди мы не мятые, грамотѣ не знаемъ, законовъ не читали, и въ острогѣ мало которые изъ нашей вот-

чины сидѣли.— Тамъ, слышь, законамъ-то старые тюремные сидѣльцы всѣхъ обучаютъ...

На это слово молвилъ Алексѣй Петровичъ:

— Милые вы мои мужички! Есть въ нашемъ Россійскомъ государствѣ такой законъ, что невѣдѣніемъ законовъ отрицаться не можно: стало быть, вы, ничего еще не видя, передо мной супротивность закону сдѣлали, коли говорите, что законъ вамъ неизвѣстенъ... На первый разъ прощаю... Суди меня Богъ да великій государь — беру грѣхъ на душу; а впередъ держите ухо востро. Да помните у меня: ежели кто осмѣлится ко мнѣ со взятками подойти аль съ почестью, такъ я распоряжусь по-военному: до полусмерти запорю. Слышите-ли?

Замялись мужички. Обидно, знаешь, стало: первое дѣло — почестью побрезговать, а они сто цѣлковенькихъ со всякимъ было усердіемъ; другое дѣло, больно ужъ темныя рѣчи загибаетъ. Сразу-то разумныхъ его рѣчей и вдомекъ взять не могли.

Шлетъ онъ, по маломъ времени, напередъ себя разсильныхъ... Святъ, святъ, святъ Господь Богъ Саваоѣ!... торопливо крестясь, прервалъ рѣчь свою Максимъ, когда яркая молнія чуть не ослѣпила насъ, и въ ту жъ минуту съ трескомъ и будто съ пушечными выстрѣлами загрохоталъ громъ надъ нашими головами.

— Ай, Господи, батюшка! Въ полѣ-то кого не зашибло-ли, — скорбно проговорилъ Максимычъ, немножко оправившись... И мало помолчавъ, вполгблоса продолжалъ рѣчь свою про исправника:

Шлетъ Алексѣй Петровичъ по всѣмъ волостямъ, по всѣмъ вотчинамъ повѣститъ, новый дескать исправникъ ѣдетъ, въ каждомъ бы дому по закону все было. А что такое по закону, — ни бумагой, ни рѣчью того не приказываетъ. Приѣзжаетъ къ намъ въ деревню Рѣжино. — Дѣ-

ло-то было зимой, передъ масляницей; чуть ли не въ самую широку субботу *). Во всякомъ дому побываль, на что келейны рады, и тѣ исходилъ, ни единой кельенки не проминиваль. А у самого въ рукахъ Уложенная.

Къ первому зашелъ къ Захару Дмитричу: изба-то у него съ краю. Вошелъ, какъ слѣдуетъ, только въ шапкѣ и, снявши ее, на столъ положилъ. По нашему, по крестьянскому, это бы грѣшно, а по вашему закону, по-господски то-есть, можетъ такъ и надо. У Захара дѣдушка слѣпенькой есть — лѣтъ девяносто слишкомъ старичку. Сидѣлъ онъ той порой на кути. И съ нимъ поговорилъ Алексѣй Петровичъ, про стары годы разспросилъ, и про то, уважають-ли его внучата, доволенъ-ли ими. Съ хозяйкой поговорилъ, за досужество въ избѣ похвалилъ и все нашелъ по закону, въ порядкѣ. Да выходя изъ избы, сталъ на гóлбець **) и заглянулъ на печку.

— Зачѣмъ, говоритъ Захару, рогожа-то на печи?

— А вотъ, батюшка, ваше высокоблагородіе Алексѣй Петровичъ, слѣпенькій-отъ дѣдушка-то спитъ на эвтомъ самомъ мѣстѣ. Ему рогожка-та и подослана.

— Ну, говоритъ Алексѣй Петровичъ, это дѣло не ладно, этого законъ не позволяетъ.

— Да вѣдь, батюшка, ваше высокоблагородіе, проговорилъ Захаръ, на печи-то горячо живетъ, безъ рогожки-то старецъ спину сожжетъ... Безъ рогожки никакъ невозможно.

— Пушай, говоритъ, дѣдушка на полатахъ спитъ, а рогожу на печи держать законъ не дозволяетъ.

— Да ему, батюшка, ваше высокоблагородіе, на полати-то и не взлѣзть. И на печку-то съ грѣхомъ лазить. Наме-дни упалъ, сердечный, да таково расшибся, что думали

*) Суббота передъ масляницей. Самые большіе базары по селамъ.

**) Деревянный пристѣнокъ у печи.

рѣшится совѣмъ, за попомъ даже бѣгали. Дѣло-то его вѣдь больно старое.

— На полати не взлѣзеть, такъ на лавкѣ вели ему спать, а рогожи на печи не держи: законъ запрещаетъ.

— Какъ же это возможно, ваше высокоблагородіе, сказалъ Захаръ. — Гдѣ жъ это видано? Гдѣ жъ слѣпому старцу и быть, какъ не на печи? Дѣло его старое: на лавкѣ холодно. Да и нельзя, батюшка Алексѣй Петровичъ. По нашему, по крестьянскому — старшему въ семьѣ на печи мѣсто. Какъ же самъ-отъ я съ женой на печи развалюсь, а дѣдушку на лавку положу? Такое дѣло сдѣлать: и въ здѣшнемъ свѣтѣ отъ людей покоръ, и на страшномъ судѣ Христосъ отвѣта потребуетъ.

— А когда такъ, говоритъ Алексѣй Петровичъ: такъ постели дѣдушкѣ на печь тюфякъ, да только чтобъ не сѣномъ былъ набитъ, не соломой, не мочалой, потому что все это запрещено. Набей его конской гривой, либо пухомъ.

— Съ нашими-ли достатками, батюшка, ваше высокоблагородіе, такіе тюфяки заводить?... Чѣмъ пуховый тюфякъ справлять, лучше на тѣ деньги другу лошаденку купить.

— Какъ знаешь, говоритъ Алексѣй Петровичъ: — я вѣдь тебя не неволю. Только смотри у меня: впередъ берегись. Теперь я съ тебя по закону не великое взысканіе возьму, а ежели вдругорядъ на печи рогожу найду, взысканіе будетъ большое. Помни это. Было, вѣдь, кажется, вамъ всѣмъ приказано, чтобы всѣ готовы были, что законы я буду содержать крѣпко. Разсылнаго нарочно присылалъ... А вамъ все ни-почемъ! Не пеняйте же теперь на меня... Грамотѣ знаешь?

— Господь умудрилъ, говоритъ Захаръ.

Алексѣй Петровичъ ему Уложенную въ руки.

— Читай вотъ въ этомъ мѣстѣ, говорятъ. Читай вслухъ.

Вычитываетъ Захаръ: «кто порохъ да сѣру, селитру да

солону аль и рогожу на печи держать будетъ, съ того денежное взысканіе отъ одного до ста рублей».

Взвыль Захарушка, увидавши такой законъ. Самъ видить, что надо будетъ разориться. Все заведеніе продать и съ избой вмѣстѣ, такъ развѣ-развѣ сотню цѣлковыхъ выручишь. Вотъ-тѣ и рогожка!

Повалился въ ноги Алексѣю Петровичу, хозяйка тоже, ребятишки заголосили, а дѣдушка хотѣлъ было поклониться, да со-слѣпа лбомъ на ведро стукнулся, до крови расшибся. Лежитъ да охаетъ.

— Помиосердуйте, батюшка, ваше высокоблагородіе, голосить Захаръ: — вѣдь это выходитъ, что мнѣ за рогожку надо всѣмъ домомъ рѣшиться... Будьте милостивы!... Мы про такой законъ, видить Богъ, и не слышали... Отъ простоты... Ей-богу, отъ одной простоты, ваше высокоблагородіе.

Алексѣй Петровичъ на то крѣтко да таково любовно промолвилъ:

— Невѣдѣніемъ закона, братецъ ты мой, отрицаться не повелѣно. На это тоже законъ есть.

— Да гдѣ жъ я, вопить Захаръ, сто цѣлковыхъ-то возьму? Люди мы несправные, всего третій годъ, какъ съ братьевьями раздѣлились.

Такъ вѣдь вотъ какой добрый баринъ-отъ, дай Богъ ему доброе здоровье! — Другой бы не помиосердствовалъ, сказалъ бы: «вынь да положи сто цѣлковыхъ», и говорить бы много не сталъ; а онъ только десятью цѣлковыми удовольствовался... Добрая душа, правду надо говорить!

Пошелъ Алексѣй Петровичъ отъ Захара въ Игнатію Зиновьеву. Изба то рядомъ. Ну и тамъ все этакъ же. Обошелся чинно, ласково, безобидно... Святъ, святъ,

святъ Господь Саваоѣ, исполнь небо и земля величества славы Твоея!...

Опять ярко-синяя молонья, опять страшный громовой ударъ. Старикъ со страхомъ крестился, ребенокъ визжалъ, дѣвчонка со страху подъ лавку запряталась.

Оправившись, Максимычъ такъ продолжалъ рѣчь свою:

— А хоша у Игнатя тоже рогожка на печи была, да услышавши про бѣду у сосѣда, на дворъ ее выкинулъ. Алексѣй Петровичъ противнаго у него не примѣтилъ, да выйдя изъ избы, полѣзъ на чердакъ.

— А гдѣ, говорить, у тебя кадка съ водой, гдѣ, говорить, швабра?

— Какая кадка, батюшка, ваше высокоблагородіе? спрашиваетъ Игнатій.

— А ради пожарнаго случая, говорить, которую велѣно ставить. Гдѣ она?

Игнатій ему:

— Мнѣ, батюшка, ваше высокоблагородіе, по разводу, на пожаръ съ ухватомъ ходить. И на доскѣ, что у воротъ прибита, ухватъ намалеванъ. Про кадку да про швабру впервой слышу.

— Какъ впервой? Да вѣдь у тебя должна же быть кадка съ водой на чердакѣ?

— А на что жъ она потребуется, осмѣлюсь спросить васъ, батюшка Алексѣй Петровичъ? Дѣло теперь зимнее: вода въ кадкѣ замерзнетъ, какая жъ отъ нея польза будетъ? А шваброй-то что тутъ дѣлать, когда Божьимъ гнѣвомъ грѣхъ случится? Теперь на крышѣ снѣгу-то на аршинъ. Да и лѣтомъ, коли за грѣхи несчастный случай доведется, не со шваброй мнѣ на крышѣ сидѣть, а скорѣе бѣжать на пожаръ съ ухватомъ. И на доскѣ намалевано, что съ ухватомъ. А ежель по сосѣдству за-

горится, такъ ужъ тутъ, батюшка, ваше высокоблагородіе, не до швабры, не до ухвата: тутъ скорѣй за свое добришко хватисься, чтобъ на задворицу его для береженья повытаскать.

— Да ты много-то, милый мой, не растабарывай, говоритъ Игнатію Алексѣй Петровичъ.— Не я выдумалъ, чтобъ кадка да швабра у тебя на чердакѣ была. Царское повелѣніе, закономъ предписано. На-ка вотъ, читай.

— Да я, батюшка, слѣпой человѣкъ: грамотѣ не обученъ.

Велѣлъ грамотника призвать. Тотъ же сердечный Захаръ пришелъ. Подалъ ему спервоначалу Алексѣй Петровичъ двѣнадцатый томъ.... Такъ, кажись, законъ отъ прозывается.

— Читай, говорить, вслухъ.

Вычитываетъ Захаръ, что у всякаго крестьянина на чердакѣ надо быть кадекъ съ водой и швабрѣ.

— Фу, ты прорва какая! А мы и не вѣдали!

Послѣ того Алексѣй Петровичъ Захару Уложенну въ руки. Показываетъ статью.

— Читай, говорить, да погромче, чтобы всѣ слышали.

Вычитываетъ Захаръ:

«Коли у хозяевъ домовъ нѣтъ въ готовности на случай пожара сосудовъ съ водой, съ того брать по закону отъ пятидесяти копѣекъ до пяти рублей».

У всѣхъ руки такъ и опустились, для того, что ни у кого на чердакахъ ни кадокъ съ водой, ни швабры и даже никакой посуды, про какую Захаръ вычиталъ, съ роду не бывало.... Ко всякому мужику Алексѣй Петровичъ потрудился на чердакѣ слазить. Всѣ передъ закономъ остались виноваты.

Что-жь ты думаешь, кормилецъ? Вѣдь доброй-отъ какой! Законъ ужь велить пять цѣлковыхъ за ту провинность взять, а онъ, дай Богъ ему добраго здоровья, только по зелененькой со двора справилъ... Такой баринъ, такой добрый, что весь свѣтъ выходи—другаго не найдешь. Дай Господи ему многолѣтняго здравія и души спасенія!... Хорошій, хорошій человѣкъ...

— Лошади готовы, сказалъ вошедшій мужикъ. — За смазочку бы старостѣ надо...

— Прощай, дѣдушка!...

— Прости, родной, прости!... Дай Богъ тебѣ благополучно!

— Такъ хорошъ у васъ Алексѣй Петровичъ? спросилъ я его еще разъ на выходѣ.

— Расхорошій-хорошій, отвѣчалъ Максимычъ:—такой хорошій, что не надо лучше.

Гроза промчалась.... Свѣжо, благовонно... Стрѣлой летѣли добрые кони вдоль по уѣзду, что такъ благоденствовалъ подъ отеческимъ управленьемъ добраго Алексѣя Петровича.

Петербургъ.
1859.

BB 434033.

ВЪ ЧУДОВЪ.

(Б ы л ь *).

Быть въ Нижнемъ Новгородѣ и не видать Ивана Кондратьича Рыбникова было все равно, что быть въ Римѣ и не видать папы. А видѣть Ивана Кондратьича можно было каждый Божій день: по-утру въ депутатскомъ дворянскомъ собраніи, а вечеромъ въ дворянскомъ клубѣ. Тридцать три года прослужилъ онъ депутатомъ, и чуть ли не пятьдесятъ лѣтъ былъ членомъ клуба.

Бывало, усядемся съ нимъ возлѣ бильярдной; человѣка два, три изъ неиграющихъ въ карты подсядутъ, и пойдутъ у насъ нескончаемыя розсказни. Разъ зашла бесѣда за-полночь; говорили про старинныя псарни, про медвѣжью охоту. Кто-то разсказалъ о нечаянной встрѣчѣ одного помѣщика съ лѣснымъ бояриномъ, Михайломъ Ивановичемъ Топтыгинымъ. Помѣщикъ, совсѣмъ безоружный, чудомъ спасся отъ когтей разъяреннаго звѣря. Толковали о томъ, что долженъ былъ испытать помѣщикъ въ обществѣ мишеньки... Иванъ Кондратьичъ молча прошелся разъ другой по комнатѣ и, остановясь передъ нами, мойвилъ:

*) Дѣйствительный разсказъ покойнаго Ивана Кондратьича Рыбникова.

— Со мной хуже было!

Всѣ знали, что Иванъ Кондратьичъ не охотникъ.
Удивились.

— Гдѣ жъ это, Иванъ Кондратьичъ?

— Въ Чудовѣ, Новгородской губерніи.

— Какъ же это случилось? Расскажите, пожалуйста!

— Пожалуй—теперь можно.

— Пожалуйста, пожалуйста, Иванъ Кондратьичъ!

— Я еще молодъ былъ, началъ Иванъ Кондратьичъ, двадцать съ небольшимъ мнѣ тогда было. Теперь по новымъ порядкамъ, человѣкъ въ двадцать лѣтъ—совершенный, умнѣе стариковъ, а въ наше время—молокососомъ считался.... Да.... Однако я ужъ тогда и дворянству послужилъ, и въ отставку выйти успѣлъ. Завелись лишніе деньжонки — дай слетаю въ Москву, погляжу, что за Москва бѣлокаменная.... А она въ ту пору отстраивалась послѣ французскаго разоренья.... Собрался, поѣхалъ. И встрѣтился я въ Москвѣ съ нашимъ помѣщикомъ, съ Андреемъ Петровичемъ Привлонскимъ. Онъ тогда въ откупъ вошелъ: сначала дѣла у него пошли хорошо, своя винокурня была, а потомъ спуталось какъ-то: взысканія пошли, споры да иски — скверное дѣло. Оттого и жилъ онъ въ Москвѣ: въ сенатѣ хлопоталъ.

Встрѣтились мы съ нимъ, обрадовались.... Обѣдали я какъ-то у него. Вдвоемъ обѣдали. Андрей Петровичъ и сталъ мнѣ откровенно про свои дѣлишки рассказывать:

— Вотъ бѣда-то, говорить:—здѣсь у меня все на-мази, а въ Петербургъ до-зарѣзу надо съѣздить — справки тамъ пособрать да барашка въ бумажѣ кой-кому сунуть. Самому отлучиться нельзя, пожалуй, все дѣло испортить. А вѣрнаго человѣка нѣтъ. Хоть волкомъ вой!

Толкуемъ этакъ, того другаго перебираемъ, кого бы

можно въ Петербургъ послать. Тотъ тѣмъ не годится, другой другимъ, а ѣхать — послѣ-завтра.

— Знаешь ли что, Иванъ Кондратьичъ, говоритъ Андрей Петровичъ.

— Что? спрашиваю.

— Сдѣлай дружбу — съѣзди!

— Легко сказать: съѣзди, отвѣчаю ему... Да какъ ѣхать-то?

— Не твоя бѣда: на мой коштъ поѣдешь.

— Не въ коштъ сила, говорю. Деньги что! Я и самъ думалъ на Петербургъ посмотрѣть. А то возьмите, что въ Петербургѣ я не бывалъ, приѣду какъ въ лѣсъ: никого не знаю, за дѣло взятыся не умѣю. Чтобъ не испортить какъ-нибудь.

— Объ этомъ, говоритъ, не безпокойся. Дамъ письма въ пріятелямъ, все у тебя пойдетъ, какъ по маслу. Мнѣ нуженъ ты только для вѣрности.... А на тебя во всемъ полагаюсь: дѣло сосѣдское.

— Сосѣдское-то оно, сосѣдское. Только вѣдь я въ отъѣздахъ никакого толку не смыслю. Особенно по заводу, тутъ ужъ ни бельмеса не понимаю. Испортить боюсь. Вотъ что.

— Ицѣу пошлю съ тобой.

А это — жидъ былъ, на заводѣ винокуромъ служилъ. Жидамъ строго было тогда запрещено въ столицахъ проживать.

— Развѣ, говорю, онъ здѣсь? Вѣдь запрещено....

— Мало-ль что запрещено! Не одна сотня жидовъ на Москвѣ живетъ, хоть и запрещено.

— Безъ паспорта?

— Зачѣмъ безъ паспорта? Съ паспортомъ, только паспортъ-отъ у него припрятанъ. Не на виду, значить...

— Какъ же въ полиціи-то?

— Мой дворовый человекъ — и вся недолга.

— А въ Петербургъ-отъ какъ же его? Тамъ, вѣдь, на счетъ паспортовъ еще строже московскаго.

— Здѣсь Ицка мой, въ Петербургѣ будетъ твой.

— Не досталось бы?

— Не ты первый, не ты и послѣдній.

Поладили. На другой день поутру привели лошадей. Ицко на облучекъ, а я въ дормезъ Андрея Петровича. Отличный дормезъ: вѣнской работы. Покатили шестерикомъ. Баринкомъ ѣхалъ.

Въ Петербургѣ прожилъ больше мѣсяца. Что нужно было обдѣлалъ хорошо. Поѣхалъ съ Ицкой въ обратный путь.

Вечеркомъ пріѣхали на Чудовскую станцію. Ямщикъ лихо подкатилъ дормезъ къ подъѣзду «путеваго дворца», — такъ назывались тогда станціи по новой, только-что выстроенной шоссейной дорогѣ изъ Петербурга въ Москву. Домъ большой, каменный, у подъѣзда фонари горятъ. Проѣзжающихъ нѣтъ, только парная тележка стоитъ. Лошади, значить, будутъ.

Былъ октябрь на исходѣ: я прозябъ, даромъ что въ дормезѣ сидѣлъ; сильно подмораживало. Вышелъ изъ экипажа, иду по лѣстницѣ — освѣщена. Вотъ, думаю, какъ бы вездѣ такія станціи были, ѣздить бы сполѣгоря. А то по нашимъ мѣстамъ избушки на курьихъ ножкахъ: тѣсныя, грязныя, а клоповъ да таракановъ видимо-невидимо.

Вхожу въ комнату — большая, мебель прекрасная. У притоли смотритель въ струнку вытянулся.... «Экой порядокъ!» думаю.

— Лошадей! приказываю смотрителю, а самъ подаю ему подорожную. — Шестерикомъ! Да дормезъ надо подмазать. Распорядись, любезный, а я покажѣсь у тебя чаю напьюсь.

Тогда просто было: станціоннымъ смотрителямъ блгородные «ты» говорили.

Смотритель подорожную взялъ, а самъ ни съ мѣста. Иду дальше. Передъ диваномъ — большущій столъ. На немъ маленькій самоварчикъ. Пьетъ чай какой-то старикашка, сухой, сердитый, съ кудреватыми волосами, въ сѣренькомъ сюртукѣ. Такой неприглядный. «Должно быть, изъ земскаго суда», думаю... Подошелъ я къ столу, шапку положилъ, шарфъ съ шеп размоталъ — то же на столъ. Обернулся, вижу: смотритель какъ вкопанный.

— Лошадей! говорю.

Молчитъ смотритель, ровно солдатъ во фрунтѣ.

Я опять къ столу. Поворотился задомъ къ старику, опять иду къ смотрителю.

— Что жъ, говорю, оглохъ ты что ли?

Смотритель налѣво кругомъ и скорымъ шагомъ маршь за дверь.

— Что, молодой человѣкъ? Откуда ѣдешь? сердито прогнусилъ старикъ.

Въ наше время старые люди молодыхъ тыкали: это обиднымъ не считалось. Сухо отвѣтилъ я:

— Изъ Питера.

— Что жъ ты, мой другъ, самъ-отъ петербургскій?

— Нѣтъ!

— Откуда-жъ?

— Изъ Нижегородской губерніи.

— Помѣщикъ?

— Помѣщикъ.

— Гм!... Богатый?

— Съ меня станеть.

— То-то: шестерикомъ ѣздишь!... Въ карманѣ - то видно густо.

— Чухотка.

ПЕЧЕРСКИЙ. РАЗСКАЗЫ.

— Не по-чахоточному ѣздишь. Здѣсь вѣдь прогоны большіе.

— Это ужь мое дѣло,—говорю,—а самъ думаю: «что это онъ присталъ ко мнѣ?»

— Чайку не хочешь-ли? спрашиваетъ.

— Да вотъ смотритель, каналья, до сихъ поръ не распорядился. Я самъ хотѣлъ здѣсь чай пить.

— Пьемъ вмѣстѣ: у меня пареной травки въ чайникѣ много. Выпьютъ же даромъ.

— Пожалуй... — сказалъ я. — Да вотъ прежде смотрителя надо хорошенько повернуть.

Подойдя къ окошку, отворилъ я форточку и крикнулъ: «смотритель»!

Разъ крикнулъ, два крикнулъ, три крикнулъ: ни духу, ни послушанія. Ровно всѣ вымерли. А слышно: чуть-чуть копошатся.

— Что горячишься?—гнусить старикъ. — Аль крѣпко надо спѣшить? Зазноба что ли?

— Некуда мнѣ спѣшить, а досадно, что смотритель порядка не знаетъ: проѣзжающихъ нѣтъ, а онъ лошадей не даетъ... Вамъ, вѣдь, парочку?

— Да, парочку. Я все на парочкѣ ѣзжу.

— Что жь это онъ? И глазъ не кажетъ!—съ досадой говорю я про смотрителя.

— Не кипятись. Успѣешь, мой другъ. Выпей-ка лучше чайку стаканчикъ.

И вынувъ изъ обитаго тюленьей шкурой погребца граненый стаканъ, налилъ чаемъ и придвинулъ ко мнѣ.

— Съ прикуской пьешь, али въ накладку?

— Въ накладку.

— Какъ же тебѣ не въ накладку? Богаты! Помѣщикъ!— И положилъ сахару въ мой стаканъ.

— А что, мой другъ,—спросилъ онъ, немного помолчавъ,—служишь что ли?

— Теперь не служу.

— Что жъ такъ?

— Да такъ, по грамотѣ о вольности дворянства. «Хочемъ—служимъ, хотимъ—нѣтъ».

— Гм! Что жъ подѣлываешь?

— Да ничего не дѣлаю.

— Ужъ будто и ничего? Въ Петербургъ-отъ зачѣмъ ѣдиль?

— Не по своему дѣлу,—отвѣчаю, прихлебывая чай.

— По чьему же?

— Сосѣда по деревнѣ—Приклонскаго Андрея Петровича.

— Что же у него за дѣла?

— Самыя поганья,—говорю: по откупамъ да по заводу винокуренному.

— Гм! Что жъ за дѣла такія?

— Хорошенько-то и не знаю. Мое дѣло было справки взять да кой-кому руки смазать.

— Что жъ, смазалъ?

— Смазалъ.

— И пошло дѣло?

— Еще какъ пошло-то!

— Гм! А гдѣ смазывалъ?

— Извѣстно гдѣ! И сказалъ гдѣ смазывалъ.

— Гм! И взяли?

— Еще бы не взять?

— И не поморщились?

— Не ежа, чать, въ руки-то совалъ, а деньги. Зачѣмъ же морщиться?

— Гм! Выпей еще стаканчикъ.

— Выпью. А самъ-то вы откуда будете? спрашиваю я у него.

— Педаальный. Тоже помѣщикъ

— Повгородскій?

— Новгородскій. Вотъ недалеко отсюда деревнюшка у меня есть.

— А ѣдете откуда?

— Неподаlesку отсюда по дѣлишкамъ ѣздилъ... А какъ твое имячко святое?

— Иванъ.

— По батюшкѣ-то какъ звать?

— Кондратьичъ.

— А фамилія какая?

— Рыбниковъ.

— Какъ же это ты, другъ мой, Иванъ Кондратьичъ— дѣльцо-то сладилъ? Говорятъ, винное дѣло мудреное. Развѣ самъ прежде кабацкой частью занимался?

— Не бывалъ я по кабацкой части и не буду... Не дворянское дѣло... Да что это однако здѣсь за смотритель? Вотъ я поверну его по своему!

И пошелъ-было къ дверямъ.

— Да ты крикни опять его въ форточку. Авось услышитъ,— спуститъ старикъ.

— И въ самомъ дѣлѣ,—молвилъ я.

Кричалъ, кричалъ я въ форточку, и грозилъ смотрителю, и ругался— отвѣта нѣтъ какъ нѣтъ. А подъ окномъ шушукуютъ.

— Ицка! крикнулъ я.

Молчатъ.

— Ицка! Ицка!

— Что у тебя тамъ за Ицка такой? спрашиваетъ старикъ.

— Жиденокъ.

— Какъ жиденокъ?

— Да такъ жиденокъ. Жидомъ родился, такъ и значить жидъ.

— Гм! Что-жь онъ тутъ дѣлаетъ?

— Да со мной ѣдетъ.

— И въ Петербургъ былъ?

— И въ Петербургъ былъ.

— Жидъ-отъ?

— Да! А что?

— Паспорта развѣ не спрашивали?

— Зачѣмъ паспортъ? Пцка у меня за крѣпостнаго двороваго человѣка.

— Гм! Какъ же это ты, Иванъ Кондратычъ, на такое дѣло рѣшился?

— Отъ чего жъ не рѣшиться? Не я первый, не я послѣдній. А я бы еще стаканчикъ выпилъ.

— Пей, Иванъ Кондратычъ, пей, мой другъ!

И старикъ налилъ мнѣ еще стаканъ чаю.

— Ну, что, какъ у васъ въ губерніи?

— Ничего, слава Богу!

— Урожай хорошій?

— Порядочный.

— Въ вашей губерніи народъ зажиточный, мужики богатые?

— Исправный народъ, отвѣтилъ я. Не то, что здѣсь.

— А здѣсь развѣ тебѣ не нравится?

— Нѣтъ, не нравится.

— Чѣмъ же не нравится?

— Да какъ же это! Всѣхъ мужиковъ въ солдаты хотятъ поворотить. Штабовъ да казармъ вокругъ Новгорода настроили—одно только стѣсненіе... Мужику дай просторъ, онъ и будетъ исправенъ. А это на что похоже?

— Что-жь тутъ нехорошаго?—спросилъ старикъ, не-

множко насупившись. — Молодъ еще ты, сударь, такъ разсуждать!... Надъ этимъ дѣломъ работали умы государственные.

— Чор та съ два!... Государственные умы!... Еще здѣшній, а не знаете, что тутъ Аракчеевъ всѣмъ ворочаетъ.

— Такъ Аракчеевъ по твоѣму не государственный человѣкъ?— глухо и какъ бы съ одышкой прогнусилъ старикъ.

— Далеко кулику до Петрова дня!... Да что объ этомъ дьяволѣ толковать! Налейте-ка лучше еще стаканчикъ. А я васъ за то отличной пуляркой угощу. Вотъ только Ицкъ кликну.

— Не суетись, мой другъ. Подожди— успѣешь. Вѣдь намъ съ тобой торопиться некуда. Потолкуемъ пока.

— Зачѣмъ же изъ пустаго въ порожнее переливать да время даромъ терять?... Закусимъ и маршъ: вы въ деревню, я въ Москву бѣлокаменную.

— А что-жъ, Иванъ Кондратьичъ, въ вашей-то губерніи, безъ Аракчеева, развѣ легче житье-то?

— У насъ, батюшка, свои Аракчеевы есть... Чинами только не выше, а то бѣ и почище его были.

— Кто-жъ это такіе?

— А хоть исправники, напимѣръ... Что они теперь творятъ!... У мертваго волосъ дыбомъ станеть.

— Что-жъ такое?

— Да хотя бы на счетъ березокъ. Какому-то чорту пришло въ голову березками дороги обсаживать.

— Эта мысль тоже графа Аракчеева!

— Должно быть, что такъ... Хорошему человѣку придетъ-ли на умъ такая штука? Теперь мужикъ лѣтомъ, чѣмъ бы на пашнѣ работать, береги каждую березку, окапывай ее, очищай; подсохонетъ — новую сади... Листъ на которой чуть пожелтѣетъ — поливай ее, либо новую сади

Одна покормка земской полиціи чего станетъ?...—Березки-то, извѣстно дѣло, не выростутъ, а по двадцати копеекъ съ дерева ужь собрано.

— Куда же?

— Извѣстно куда! Не намъ съ вами.

— Земска полиція?

— А то кто-же?

— Гм! Сильно берутъ?

— Да какъ-же и не брать-то?... Свѣтъ на томъ стоитъ. Всѣ берутъ.

— Неужли всѣ?

— Да кто-жь врагъ себѣ, кто откажется? Въ Петербургѣ самъ царь живетъ, да съ меня взяли-же; а у насъ вдалекѣ и Богъ простить.

— Гм! Такъ ты, другъ мой Иванъ Кондратьичъ, давеча сказалъ, что у васъ въ губерніи свои Аракчеевы есть. Значить, по-твоему, и Аракчеевъ взятки беретъ?

— Взятокъ не беретъ, за то съ мужиковъ по три шкуры деретъ.

— Гм! Не хочешь ли еще чайку-то?

— Нѣтъ. Я вотъ за пуляркою схожу. Спитъ мой жидъ, должно быть.

Накинулъ я шинель, шапки не взялъ: оставилъ ее на столѣ, возлѣ старика. Вышелъ я изъ комнаты, сошелъ внизъ.

— Гдѣ, говорю, смотритель?

— Здѣсь, ваше благородіе, отвѣчаетъ онъ.

Смотрю: подлѣ тележки стоитъ. А въ тележку лошади заложены отличнѣйшія.

— Что жъ лошадей?

— Сейчасъ, ваше благородіе. Позвольте только графа отправить.

— Какого графа?

— А графа Аракчеева.

— Гдѣ онъ?

— А чаемъ-то васъ потчивалъ!

Поднимаюсь наверхъ тихохонько. Отворилъ дверь, сталъ у притолки. Руки по швамъ.

Аракчеевъ попрежнему сидитъ на диванѣ, погребецъ запираетъ. Взглянулъ на меня.

— Аль со зрителемъ поговорить?— спрашиваетъ.

Открылъ я ротъ. Хватъ, языкъ-отъ не ходитъ.

— Подъ сюда. Иванъ Кондратьичъ!

И ноги не дѣйствуютъ.

Самъ подошелъ ко мнѣ, положилъ руку на плечо, и гнуситъ:

— Вотъ тебѣ, молодой чсловѣкъ, урокъ. Съ незнакомыми языка не распускай. Говори подумавши. Чего хорошо не знаешь, про то судить не берись... Да и жидовъ въ столицу не вози... Прощай, другъ мой!... Да заруби на носу: про что мы съ тобой говорили, про то знають только ты да Аракчеевъ. Помни же это!

И ушелъ. Слышу, тележка покатила по шоссе. Тотчасъ крикъ да говоръ пошелъ на улицѣ.

До самой смерти Аракчеева никому не смѣлъ я заикнуться про нашу встрѣчу. Твердо помнилъ, что вѣрно было на носу зарубить. Съ Аракчеевымъ шутить было нельзя — Сибирь не своя деревня.

Раздался клубный звонокъ.

— Ну, прощайте, господа: звонокъ. Штрафа платить не намѣренъ, сказалъ Иванъ Кондратьичъ и ушелъ изъ клуба.

Петербургъ.
1862.

КА
СКОГО
ПОРКА

КНИГОПРОДАВЦЕМЪ-ТИПОГРАФОМЪ М. О. ВОЛЬФОМЪ ИЗДАНО:

Ключниковъ. Марено. Романъ. 2 т. Ц. 2 р.

Крестовскій. (псевдонимъ). Большая медвѣдица. Романъ въ пяти частяхъ. 2 т. въ 8 д. л. Ц. 3 р.

Крестовскій. Романы и повѣсти. Части 7 и 8. Въ 16 д. л. Ц. 2 р.

Майковъ. Стихотворенія. Изд. третье. 3 т. въ 8 д. л. Ц. 4 р. 50 к.

Маркевичъ. На поворотѣ. Два романа. Т. I. Марина изъ Алаго-Рога. Современная быль. Т. II и III. Забытый вопросъ. 3 т. въ 8 д. л. Ц. 4 р. 50 к.

Милюковъ. Царская свадьба. Былина о государѣ Иванѣ Васильевичѣ Грозномъ. Въ 16 д. л. Ц. 1 р. 25 к.

— Разсказъ изъ обыденнаго быта. Ц. 1 р. 50 к.

Масальскій. Лейтенантъ и поручикъ. Быль времени Петра Великаго. 2 т. въ 8 д. л. Ц. 1 р. 50 к.

Мицкевичъ. Конрадъ Валленродъ. Гражина. Двѣ поэмы. Переводъ Бенедиктова. Съ 80 большими иллюстраціями по рисункамъ Тытѣвича. Въ 6. 8 д. л., на ватманской бумагѣ, въ парижскомъ переплетѣ съ золотыми тисненіями и портретомъ на стали. Ц. 5 р. Безъ переплета, на велецовой бумагѣ. Ц. 2 р. 50 к.

Мещерскій. Женщины изъ петербургскаго большаго свѣта. Оригинальный романъ. Изданіе третье. 3 т. въ 16 д. л. Ц. 4 р.

— Лордъ-аностоль въ большомъ петербургскомъ свѣтѣ. Повѣсть. 4 т. въ 16 д. л. Ц. 6 р.

— Одинъ изъ нашихъ Бисмарковъ. Фантастическій романъ въ трехъ частяхъ. Изданіе второе. 2 т. въ 16 д. л. Ц. 3 р.

Османъ-Бей. Женщины въ Турціи. Очерки турецкихъ нравовъ. Въ 12 д. л. Ц. 60 к.

— Турки и ихъ женщины, султанъ и его гаремъ. Въ 8 д. л. Ц. 1 р. 50 к.





Stanford University Libraries

3 6105 124 446 373



PG

3337

M45A15

**Stanford University Libraries
Stanford, California**

Return this book on or before date due.

--	--	--

